

ЖАН ЛОМБАР

АЮННЯ



ЖАН ЛОМБАР

АГОНИЯ





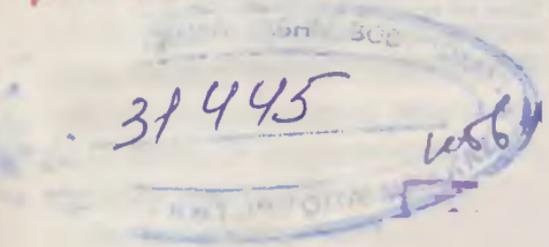
821.133.1 8.0
974

ЖАН ЛОМБАР

АГОНИЯ



1974
ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО



МОСКВА
«БУК»
«ИЗДАТЕЛЬ»
1994

ББК 84.4. Фр.
Л. 74

Исторический роман

Оформление
Капустин Е.Ф.
Алексеева Ю.Ф.

Редактор
Белусова С.Б.

Корректор
Миронова Л.В.

Роман «Агония» — один из незаслуженно забытых гениальных шедевров мировой литературы, который мы с огромным удовольствием возвращаем читателю.

ISBN 5-87988-006-0

Л $\frac{4703010100}{P81(03)/94}$ 02 без объявл.

© «БУК», 1994
© Оформление Капустин Е.Ф.,
Алексеева Ю.Ф., 1994

ПРЕДИСЛОВИЕ

В прекрасном предисловии, которым Поль Маргерит украсил новое издание «Византии», он на нескольких сильных и сжатых страницах сказал о Жане Ломбаре все, что следовало сказать. С увлечением друга и проницательного критика он изобразил Жана Ломбара как человека и как писателя. Поэтому мне остается добавить очень немного.

Жан был из рабочей среды и сам создал себя. Я хочу, между прочим, добавить одну истину. Чем дальше мы идем вперед, тем чаще все, выделяющееся из всеобщей заурядности, силой мыслительной или социальной своей силой, исходит из народа. Именно в народе, еще целомудренном, несмотря на разврат, в который его вовлекают, сохранилась древняя мощь нашей расы. Все аристократии умерли. Наши буржуазные круги, обессиленные роскошью, терзаемые непомерными аппетитами, плодят отпрысков, не способных к труду и творчеству. Жан Ломбар, утонченный поразительной работой ума, сохранил в себе от пролетариата твердую веру народа, его здоровый энтузиазм, грубое упорство и простодушную веру в благодетельную справедливость будущего. И это по-

могло ему достойно прожить жизнь, слишком короткую по числу лет и слишком долгую и тяжелую по той борьбе с нуждой и страданиями, которые он претерпел.

Мне было больно, что Анатолий Клаво, добросовестный и честный ученый, в котором Нормальная Школа не могла подавить смелости и широты ума, отнесся настолько сурово к Жану Ломбару, что безоговорочно не признал его большой и беспощадный талант.

Пусть он прочтет *Агонию!*

Может быть, Клаво был неприятно поражен варварским, буйным, безумно-многоцветным стилем, выкованным из специфических терминов, словно заимствованных из всяких словарей по античной древности. Но он признает, что, несмотря на недостаток вкуса и отсутствие меры, в этом стиле есть широкий размах и великолепная звучность, стук брони и мечей, стремительный бег колесниц, даже терпкий запах крови и диких зверей, запах времени, которое воскрешает Ломбар. Клаво признает в особенности ту силу человеческих видений, своего рода исторической галлюцинации, благодаря которой Жан Ломбар понял и восстановил картину умирающей цивилизации Рима эпохи Элагабала. Произведение величественное и жестокое, великолепное в своем единообразии... Вереницы людей проходят в судорожных движениях оваций, в суровых ликах воинских колонн, в волнующих ритуалах бесстыдных религий, в стремительном вихре восстаний. Это безумно и мрачно, полно криков и печали: целая нация теней, вызванных необузданной фантазией из небытия минувшего.

Агония — это Рим, завоеванный и оскверненный сладострастными и свирепыми культами Азии; это непристойный триумфальный въезд 15-летнего императора — прекрасного Элагабала — в золотой митре, с румянами на щеках, окруженного сирийскими жрецами, евнухами, нагими женщинами и юными фаворитами; это — поклонение Черному Камню, идолу, объединяющему в себе два пола, гигантскому священному Фаллосу, вознесенному на престол во всех дворцах и храмах среди изумительной проституции императриц и принцесс, неистовая похоть обезумевшего народа, колоссальное, все разрушающее неистовство, проявляющееся в избиениях христиан, в яростных криках цирка и в пожарах.

Не следует, однако, думать, что Ломбар ограничивается описанием храмов, архитектуры, кровавых церемоний и изображением странных обрядов и гнусных нравов. Конечно, писатель одновременно и ученый. Он знает все мельчайшие архитектурные детали, которые украшали какой-либо угол того же триклиния — зала в доме богатого римлянина, знает название драгоценной ткани, которая едва прикрывает наготу женщин и юношей; он не проходит мимо ни одного документа, ни одного характерного явления, воскрешающего былое. Но в этом изумительном ученом, который воссоздает целый калейдоскоп эпохи, скрыт глубокий мыслитель. Он наблюдает и разъясняет человеческие страсти на отдаленном и еще не вполне ясном фоне истории, умеет очеловечить вечными истинами образы людей в золотых византийских доспехах и в длинных азиатских одеяниях Азии. И так жаль, что этот бытописатель, который

будто читает тайны на стертых камнях храмов и в сердцах людей, не мог закончить свою *Аффамею*, эту социальную книгу, где в ужасающих красках запечатлелась бы история и нашего времени.

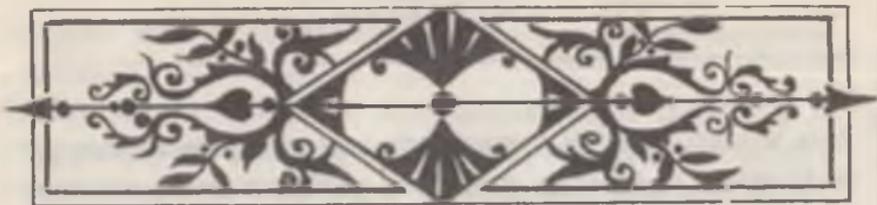
Агония будет иметь такой же успех, как имела *Византия*, быть может, еще больший — как произведение более сильное в своем построении, более многоречивое и разнообразное и с более дикими сценами эротики. Ломбар, отличавшийся фанаатическим трудолюбием и будучи человеком великой душевной чистоты, однако не отступал перед смелыми картинами, потому что он хотел постичь правду жизни до самых ее глубин, не боясь при этом развенчать ханжество одних или подействовать возбуждающе на других. Увы! Он не познал заслуженной радости победы, а в своей творческой судьбе вкусил только часы и дни тяжелых разочарований.

Печальны те житейские условия, в которых действуют писатели наших дней... Отвратительно меркантильная пресса превратила произведения их гения в объект рекламы и с сейфами, полными золота, заставляет мастера идти к ней на поклон. Критика безучастна и связана по рукам и ногам... Невежественная публика не знает, кого слушать, и потому инстинктивно тянется к расчетливым глупцам... Этого достаточно для процветания ничтожества и гибели истинных талантов... Следует также сказать, что толпа беллетристов тесна, груба и эгоистична. Крики боли и призывы отчаяния исчезают в общем вопле. Каждый за себя! Других они не знают; всем некогда. Есть время только подумать о своих интересах, о своей выгоде и, в конечном счете о своей жизни, за которую, собственно, и идет борьба. Пишется слиш-

ПРЕДИСЛОВИЕ

ком много книг, и сорные травы, которые никто не вырывает и семена которых разбрасывают во все стороны переменчивые ветры, заглушают дивные цветки подлинного искусства. И знаменательно, что среди кладбищ недолговечных книг время от времени воскресает чье-нибудь творение и по гранитным ступеням бессмертия восходит к признанию, прославив имя своего создателя. Среди таких имен — и имя Жана Ломбара!

*Октав Мирбо.
25 сентября 1901 года.*



Теодору Жану

*Тому, кто с некоторыми другими,
несмотря на неприязнь и неблагодарность,
остался другом прежних дней.*

Жан Ломбар

*...Зверь, которого ты видел, был, и
нет его, и выйдет из бездны, и пойдет
в погибель; и удивятся те из живущих
на земле, имена которых не вписаны
в книгу жизни от начала мира, видя,
что зверь был, и нет его, и явится.*

«Апокалипсис», XVIII, 9.

КНИГА ПЕРВАЯ

I



Корабль равномерными ударами весел бороздил сапфировое пенящееся море, и красный парус едва округлялся в царящей вокруг тишине, ее не нарушал никакой звук: ни призывы экипажа, ни песня гребцов на рядах скамеек под мерный такт жезла гортатора; а путешественники, облокотясь о борта судна, мечтали безмолвно.

То были: римлянин, два грека, кипрский купец, александриец, несколько италийцев, возвращающихся из восточных портов. Хотя и утомленные долгим путешествием, остановками по берегам, ночами, про-

тескшими под мерцающие знаки звезд, они привыкли любить это море, с которым теперь предстояло расстаться с сожалением. И поэтому перед их глазами еще виднелись города на утесах и берегах, храмы, моря, пересеченные островами, сожженными солнцем и истерзанными бурями, — краски всех оттенков, от серебристо-белого до огненно-красного попеременно с синим и зеленым.

Под взглядом прореты, который на носу корабля следил за горизонтом, одни матросы налегли на реи, другие натягивали парус, и корабль с прямо стоящими римскими знаменами, которые капитан-магистр приказал укрепить на палубе, запрыгал по волнам к еще не видимому берегу.

Море, бледное, зеленое, темно-синее, было усеяно стаями длиннокрылых птиц. Небо, совсем белое на горизонте и лазурное в зените, испещренное медленно плывущими облаками, раскинулось беспредельной пустотой, и морская гладь дышала печально торжественной тишиной, спокойной грустью, почти чарующей.

Коснувшись песчаного дна, корабль, высоко подняв носовую часть, остановился на миг. Тогда гортатор поднял жезл, и содрогнувшиеся на скамьях гребцы возобновили свою песню в ритме, более резком, более неровном.

И несла равномерно стали подниматься и опускаться, унося корабль на вздымающейся пене мелочной белизны, под резкими движениями руля в руке кормчего-губернатора — в красной войлочной шапке на голове.

Теперь путешественники беседовали медленно под очарованием путешествия и в предчувствии ско-

рого берега, возвещаемого уже несколько иной качкой, чем была в открытом море. Магистр, сидя на своем троне, подавал знаки матросам; невольники, появляясь из квадратных люков, выбрасывали на палубу товары, тюки тканей и кож, сундуки, украшенные медью и слоновой костью, круглые ящики с книгами в свитках, сильно пахнувшие благовония.

С открытой головой и шеей, в шелковистой лаццерне поверх короткой туники и узкой субукулы с рукавами, Атилий, стоя, смотрел на приближающуюся землю. На его пальцах были кольца с рубинами и сапфирами, сандалии из красной кожи у ступни украшались серебряными солнцами; тонкая рыжевато-белокурая борода волнисто окаймляла лицо, озаренное зеркальным светом его глаз, черно-фиолетовых, красивого разреза; и их блеск противоречил общему выражению лица — ни изнеженный, ни мужественный, скорее инертный.

Мадех направился к нему. Он был в азиатской желтой волочащейся одежде, с широкими рукавами с черными полосами, в митре на завитых кудрях, на ногах коричневые сандалии с ремнями, идущими от подошвы и обвивающими лодыжки ног, в ушах золотые кольца, а на груди, покрытой холстом с красными и желтыми полосами, амулет — черный камень в виде конуса.

Берег, покрытый тенью деревьев, восстал в розоватом свете; целый город выступал из горла скал, с храмами, арками, желтыми домами, массой зелени, лесами пиний, взъерошенных вдали, а на подходе к нему — рейд, наполненный судами с цветными парусами, покоящими свою тень на округлой ростре. Другие суда шли под парусами. Горожане в туниках

и в белых развевающихся тогах стремились к набережным; дети бежали к воде по берегу, на котором мелкие камни светились на мягком песке, а в мощном шуме голосов, окруженные клубами пыли солдаты — целая манипула — звеня мечами и прямоугольными щитами о свои кирасы и железные ножи, выходили с форума.

Между доками голос гортатора, повеселевший, слышался вместе с песнью гребцов; на палубе, теперь совсем оживленной, отдавал приказания магистр; губернатор с кормы отвечал прорете, сидевшему на носу судна, а пассажиры готовились сойти на берег. Двое греков с роскошными черными бородами слушали рассказ кипрского купца, избравшего жестами свою ссору с невольником, а александриец — короткий, толстый, в полосатой коричневой одежде с калаприкой, с опущенными крыльями на голове — отвел в сторону Мадеха, почтительно, осторожно, угадывая в нем жреца Солнца.

— И ты тоже, и ты идешь в Рим; как и я, как Аристес и Никодем, эти греки! Твой господин кажется печальным, тогда как мы все рады увидеть город, омываемый Тибром, но не имеющий очарования Александрии. Знаешь ли ты Александрию? Если я иду в Рим, то для того чтобы сравнить его с моим городом, куда я вернусь скоро, потому что Рим — не правда ли? — место погубительное для людей, желающих остаться благоразумными, каким должен быть я, Амон.

И так как он продолжал говорить многоречиво и даже дернул его за широкий рукав, чтоб привлечь внимание, то Мадех покачал головой и отошел от

него к Атиллию; тот по-прежнему, глядя перед собой, стоял неподвижно на палубе корабля, который вели теперь на буксире два небольших судна в порт Брундузиума, еще загроможденный камнями и сгнившими судами, которые некогда велел здесь затопить Цезарь. Обрисовывалась близость города: рыбаки чинили свои сети на берегу, усеянном обломками досок; в глубине открытой маленькой бухты плотники строгают мачты и доски; на высоких кормах причаленных к берегу кораблей сушились одежды, рабы с лоснящимися торсами, с напряженными мускулами наполняли камнями пространство между двумя стенами мола, терзаемого волнами, и глыбы, падая, звенели.

Атилий и Мадех сели в барку с кормовой фигурой, придававшей ей сходство с гигантской лирой, и поплыли среди скопления кораблей. Тут были и триремы с короткими мачтами, годные для войны, с рядами ритмично движущихся весел; катафракты с палубой и афракты без палубы; только-только пришедшие купеческие суда или готовящиеся отплыть; легкие актуарии, служившие для быстрых переходов или для поисков; фазелы, которые приходят из Кампании и имеют форму веретена; кашеры и келоксы, совсем круглые гаулы, курбиты в форме корзин, гиппагоги для перевозки лошадей; наконец, неутомимые либурны, которые встречались всюду и победно поднимали свои паруса во всех портах Римской Империи.

К лодкам путешественников стали примыкать другие лодки: продавцы тканей и фруктов, кричащие о своих товарах; посланцы от гостиниц, почти все греки; хозяйки проституток с ужасно накрашенной

старой кожей, приглашающие остановиться в лупанарах Брундузиума.

Атиллий оставался безмолвным. Но Мадеху, на миг ожившему, грезился его родной сирийский городок, откуда увлек его римский легион, покаравший восстановление азиатов и разлучивший его с другом, незабвенный облик и имя которого исчезли от него, быть может, навсегда... Потом легион отдал его богатой семье Атиллиев; один из их предков был префектом Рима, и они, разделяя судьбу Мезы, бабки Элагабала, сделались совсем азиатами... Сестра Атиллия, которой он тоже прислуживал и маленькие жестокие руки которой часто причиняли ему боль, эта сестра была теперь при Сэмиас, матери юного и чарующего Императора, уже посвященного Солнцу. Весь Эмесс видел его в длинной и сверкающей одежде жреца из пурпура златотканого, в тиаре и драгоценных геммах! Он, Элагабал, сын Сэмиас, поклонился Солнцу, как символу жизни, все наполняющей, все одушевляющей и скрывшей свою силу в Черном Камне, силу мужского начала; и Мадех так же, как и многие другие, принес жертву Богу, отдав себя Атиллию, потому что мужская любовь, в религиозном значении, была его посвящением сирийскому культу.

С нежностью Мадех смотрел на Атиллия, давшего ему свободу, и эти летучие воспоминания не вызвали в нем и тени сладострастного чувства. Он думал о том, что юный Элагабал шел в Рим после победы в Эмессе, вместе с Сэмиас и Мезой, со свитой жрецов и загадочными магами, с целой армией детей Востока и римских семей, присоединившихся к его делу, и что ему, Мадеху, предстоит необычная жизнь вместе

с Атиллием, которого новый Император послал к сенату известить о его восшествии на престол. Насколько отраднее было бы небо Эмесса и дворец его господина, выходящий на аллею кактусов, с садами на террасах из красной земли, наполненных цветами — громадными, как луны, лотосами, розами, лилиями! Ленивый телом, но гибкий умом, он был склонен к грезам, как все люди Востока. И потому деятельность Рима его пугала, и он инстинктивно предпочел бы жизнь там, с тихими наслаждениями и покоем, с жертвоприношениями Солнцу — сирийскому богу в образе Черного Камня, финикийскому богу Хелу, критскому богу Алелиосу, гальскому Белену, ассирийскому Белу, греческому Гелиосу и римскому богу Соль, которого Империя отныне будет чтить под именем Элагабала...

Город, к которому они подошли, своими узкими улицами и домами из красного и желтого кирпича напоминал сеть, испещренную квадратами форумов и садов, дворцов с колонадами, арками, бронзовые барельефы которых сияли на ярком солнце, термами с портиками, храмами, двумя казармами с трофеями на красных и желтых пилястрах, гостиницами и лавками утвари, тканей и припасов, необычайно оживленными издали. Город кишел деловыми италийцами, иные из них взвешивали в ладонях образцы зерна; моряками, с песнями выходившими из термопол — харчевен, где они пили подогретые напитки; патриции, направлявшиеся в бани в сопровождении шумной свиты паразитов — неотвязных сотрапезников-прихлебателей. Богатые матроны пряли, лежа в закрытых носилках, оконца из слюды которых ярко блестели; вольноотпущенники проталкивались среди

рабов, перед которыми они выказывали свою гордость, и среди медленно гуляющих граждан, перед которыми они снова становились смиренными; купцы громко разговаривали; среди белых тог и полосатых туник с бахромой или с пурпурной каймой жрецы своей длинной одеждой, фиолетовой, желтой или красной, подметали тротуары вышиною в фут; мерно покачивали своими грудями проститутки с набеленной шеей, ярко покрашенными губами и бровями, соединенными в одну линию антимином; и дети — голые от бедер до ступни, в одной только куртке, изодранной на плечах, на груди и на животе — бегали и подставляли ножку иностранцам в деревянных, очень высоких сандалиях, обращавших на себя внимание колыханием их открытых округленных частей тела.

Атилий и Мадех прошли через перекресток, вымощенный острыми камнями и покрытый корками лимонов и дынь, мясистыми ломтями тыкв рядом с валявшимися тут же алыми стручками перца. Вокруг открыты были лавки, украшенные мозаиками и фресками, с именами владельцев, выписанных большими красными буквами над сводом двери. Из будочной шел дым от горячего очага; два осла вращали жернова, и движение их по кругу постоянно было перед глазами, чередуясь с печальными фигурами животных, их прямыми ушами над глупыми мордами. В красильной работницы мяти ногами ткани в чане и чесали сукно для плащей, а хозяин нагружал на человека, мокрого от пота, корзину, из которой текла краска. В стороне, в полусвете мастерской, выступали формы нагих тел, расположенные на полках и привязанные к стенам. Ваятель размещал

31445

идолов, маски из обожженной глины и бюсты с застывшей судорогой на лице. На углу перекрестка учитель школы, бедно одетый в шерстяную тунику с заплатами, писал мелом на короткой аспидной доске находясь среди учеников, тупо запинаящихся в латинских текстах. В это время подошла женщина с хнычущим ребенком; она поручила его педагогу, почтенный взор которого остановился на миг на ученике, и бросила ему несколько мелких монет, тотчас же опущенных им в пояс туники, вздувшейся в этом месте над худобой его живота, по-видимому, пустого.

II



менитый гражданин Брундузиума ожидал Мадеха и Атиллия к себе в дом, обширный, греческого стиля, стоящий близ стен и на некотором возвышении над городом; туда они взошли по ступеням лестницы, охраняемой двумя грубыми каменными львами с

гривами в завитках, как у вавилонских львов. Волоча за собой цепь, приковылавшую его к жилищу, выходящему в сени, привратник позвал номенклатора, а тот доложил Туберо. Почтенный гражданин крепко поцеловал губы и руки Атиллия и извинился, что принимает его в домашней одежде для отдыха: в свободной и длинной тунике и в плоских сандалиях. Время было уже за полдень, и гнетущая, как свинец, жара царила, погружая дом в тяжелую сонливость.

— Ты не уедешь завтра в Рим, — сказал Туберо, провожая через немые комнаты дома Атиллия и Мадеха к баням в глубине сада, наполненного зелеными и рыжими растениями, деревцами и густыми кущами, пересеченными солнечными тропинками; оттуда послышался крик. Подвешенный к ветви дерева с привязанным к ногам железным грузом невольник подвергался бичеванию веревками с острыми крючками на концах. Спина его покрылась пятнами точно мрамор; бедра покраснели от крови, которая струилась по земле; он закрыл глаза и перестал кричать, потому что первый крик стоил ему слишком больших ударов; он кусал себе нижнюю губу, страшный, со слюной во рту; а рабы, сидя вокруг на корточках, дико смеялись.

Но Туберо увлекал дальше своих гостей, показывая им свои владения с самодовольством выскочки; и не вполне очнувшись от своей сиесты — послеобеденного отдыха, — отирал пот на лбу краем своей ярко-красной длинной одежды, едва касавшейся жирных складок кожи на ногах, волочивших желтые сандалии по песку аллея.

В саду, с розовыми лаврами и рожковыми деревьями, были тенистые уголки, осененные листвою, сочившейся в летней жаре; неподвижные массы буксов и розмаринов, подстриженных в виде урн, пирамид, больших латинских букв, египетских домиков и канделябров чередовались вдоль дорожек, пересеченных ручейками в низких берегах. Было там необычайное множество мраморных и бронзовых статуй, почти соприкасающихся локтями в сравнительно узком пространстве: гладиаторы, ораторы в тогах, увенчанный лаврами император, пол-

ногрудая Венера; затем бюсты на подставках; несколько киосков возле бьющих фонтанов, изливавшихся терракотовыми утками, застывшими в вазах; наконец, трельяжи и беседки из разметавшейся зелени с каменными скамьями под солнцем, сжигающим густую траву газонов.

В просветах между деревьями и кустами виднелся ближний берег с городскими строениями — виллами с белыми и розовыми террасами, принадлежащими богатым гражданам, за ними прямые полосы дорог, по которым тянулись нагруженные повозки, запряженные быками, а дальше — клочки синего моря и на нем ростры одномачтовых судов с равномерным движением их коротких весел снизу вверх и сверху вниз.

Рабы раздели Атиллия и Мадеха в кальдарии и облили их водой, выделявшей голубоватый щелочной осадок, который выявил неясные очертания мозаики пола. Фригадарий привлекал их к себе своим бассейном, и они погрузились в него. В лепидарии их натерли скребками и горячими полотенцами после того, как умастили маслами и мазями, очистили ногти и вылили на их руки и ноги целые фиалы благовоний, а волосы натерли сирийской эссенцией. Затем на них надели синтесис — мягкие белые туники без рукавов, предназначенные для иностранцев.

Именитый хозяин, расставшийся с ними на время их купания, вернулся вместе с двумя гражданами Брундузиума, и номенклатор поспешил возвестить:

— Эльва и Мамер желают поприветствовать чужестранцев, твоих гостей.

Он обращался к Туберо, который посмотрел на Атиллия и равнодушно сказал:

— Это мои клиенты; я приказал их позвать к ужину, коему скоро наступит время.

Эльва был очень высок, с костистым лицом, остриженной коротко головой, отвисшей нижней губой и маленькими глазами под веками в складках, как у жабы. Мамер — толстый, бородатый, с животной ленивой тучностью, походил на слюнявого гиппопотама.

Они медленно последовали за Туберо и его гостями в атрий, где их ожидала жена хозяина со своими невольницами — гречанками и африканками. Атрий был вымощен красным мрамором, его бассейн, устроенный под квадратным отверстием потолка, освещался солнечным лучом, который скользил внизу по зеленому гранитному плитусу стены, разделенной пилястрами. Шерстяные занавеси с изображением химер, варварской окраски, затканые фиолетовыми полосами, закрывали входы и соседние комнаты — кубиккулы, обрамленные стенными фресками: ландшафтами, морскими видами, танцовщицами, порхавшими среди колонн, и амурами, державшими за узду коней, уносящихся вдаль.

Жена именитого хозяина, Юлия, встала, ее тень заколыхалась на колеблющейся воде бассейна; на поверхность всплыли две миноги, глаза которых, полные как бы жажды человеческого тела, остановились на Мадехе и на его амулете, блестящем на солнце. Потом, поклонившись, она со своими женщинами ушла, шелестя широкими одеждами и звеня украшениями.

Брундузийцы — и Туберо с ними — очень громко стали говорить о событиях, волновавших Империю, о смерти Макрина и его сына Диадумена Увенчан-

ного, прозванного так по сплетению жил на его лбу в виде короны; и об Антонине Авите, сыне Сэмиас и, может быть, незаконном сыне Каракаллы, названным Элагабалом, потому что он был жрецом Солнца. Один из граждан растерянно качал головой:

— Боги Италии исчезнут ради Черного Камня, которому поклоняется Антонин; он и нас заставит поклоняться этому Богу в своем лице.

И с важностью они ожидали, что скажет Атилий, приехавший с Востока, посланец Элагабала. Атилий, не колеблясь, стал защищать Черный Камень, означавший Жизнь и ее Начало. Что такое жизнь? Она исходит от Солнца, все оплодотворяющего, поднимающего рост семян и распространяющего их через атмосферу, изображаемого в своей силе органом размножения — фаллосом; и иначе быть не может. Могут ли сравняться с ним другие боги, греческие, римские, египетские и персидские, Митра Изиды и Зевс рогоносец? Не потому, чтоб он отвергал этих богов, но как они ничтожны перед Черным Камнем, Черным Конусом в форме мужского органа, изображающим всецело жизнь! Ныне Империя нашла определенную форму символа Единой Жизни и завоевала себе высшее божество в образе Черного Камня Эмесса, и почему не покинуть переходные формы других богов, менее ясно выразивших эту идею?

Все, что он говорил, казалось бундузийцам таким туманным, что они покачивали головами, угадывая богохульство, но не улавливая, в чем оно выражалось.

— Что такое Единая Жизнь? — продолжал Атилий. — В самом начале жизнь единополая совершала зачатие и рождала сама собой; мир был бессилен

испытать счастье со времени разделения полов; поэтому совершенство состояло в слиянии рождающих сил в Единство. В этом истинное значение символа Черного Камня, и поклонение ему Антонин Элагабал, пятнадцатилетний Император, хочет установить в Риме, куда он стремится под солнцем дней и звездами ночей!

В ответ на его утверждение один из двух граждан, кривой, глядя на него единственным глазом, почти круглым, качая склоненной головой, сказал:

— Ах, чувствую я, убьет нас всех этот Император со своим Востоком и со своим Богом, который есть только камень; со своим культом, который хочет нас возвратить в Единство. Но это его Единство, оно также и твое, — нет, никогда Рим не примет его добровольно! Он убьет Рим, твой Император! Он убьет нас всех своим культом, который отнимет жизнь ради поклонения Жизни!

В словах Аспренаса, этого брундузийца, была такая отчаянная ненависть к Востоку и противоестественным извращениям, которые виделись в Единстве Черного Камня сквозь таинственные слова Атиллия, что другой гражданин, человек благоразумно умеренный, заговорил, придерживая на животе ровные складки тоги:

— Ты думаешь, Рим примет восшествие Антонина и допустит к себе его толпы людей Востока, желающих подчинить себе Запад? Конечно, нет!

— Рим примет все, — ответил Атиллий. — Восток станет выше Запада, Черный Камень победит все, и от его победы родится Андрогин!..

Он произнес это мечтательно, едва отрешаясь от своих отвлеченностей, опустив одну руку, а другой

держа складку своего синтесиса и бросив на молчавшего Мадеха глубокий, но быстрый взгляд, странно нежный.

Уже темнота наступила в доме Туберо; он обернулся, с презрительной гримасой, к Эльве и Мамеру, замыкавшим собой группу гостей:

— Послушай, Эльва, ты, умеющий пить горячую воду, как вино, и ты, Мамер, прыгающий подобно слону, двигайтесь к триклинию. Кто из вас съест и выпьет больше?

Мамер подпрыгнул на одной ноге, держась за другую своей жирной рукой, быстро повернулся и побежал с каким-то кудахтаньем к столовой, а Эльва, следуя за ним, ослабилась в своей гнусной улыбке.

Невольники ставили на стол металлическую посуду с выпуклыми украшениями, с львиными лапами на ножках, зияющими посреди триклиния; сложенное из камня ложе в виде подковы, примыкавшее к столу, было покрыто пышными подушками. Другие рабы осветили залу четырьмя канделябрами с несколькими лампами, укрепленными вершиной своей оси на треножнике, и бронзовой люстрой, подвешенной к потолку.

Юлия возлегла на ложе; легкая цикла из тонкой ткани, широкая и длинная, едва скрывала ее тело; грудь была открыта; волосы причесаны в форме груши, на шее бирюза, золотой браслет без цепочки на левой руке. Ей едва было тридцать лет; это была крепко сложенная брюнетка с подрисованными ресницами и накрашенными губами, придававшими ее лицу наглое выражение. Туберо развалился справа от нее, Атиллий и рядом с ним Мадех — слева, Потит

и Аспренас на другом конце триклиниума; Эльва и Мамер на скамьях.

Облокотясь левой рукой на подушки, свободную руку они протягивали к столу, на который рабы поставили серебряное круглое блюдо. Вино было подано в амфоре с двумя ручками; его пили из высоких чаш на ножках или из хрустальных диатрет, с узором по кругу из драгоценных камней — редкость в Брундузиуме. Чтоб лучше высказать свою важность и пренебрежение, Туберо велел подать Мамеру большую чашу горячей воды, которую тот выпил залпом с большим удовольствием.

Они ели устриц, печеные яйца, оливки, бобы, грибы, колбасы и рыбу, подававшуюся на различных блюдах, а паразиты-сотрапезники, получавшие подачку, смотрели глазами, изображающими поддельное восхищение.

Среди ужина Юлия переложила ногу, обнажив ступню, обутую в белую сандалию с загнутым носком, и при этом движении сквозь разрез ее циклы стала видна розовато-белая кожа бедра.

Рабы принесли на длинном агатовом блюде жареного павлина, и Туберо воскликнул:

— Рим мог бы мне в этом позавидовать! Ни у кого не найдется ничего подобного!

Держа нож с ручкой из слоновой кости, приплясывая и изгибая стан, медленно приближался структор; придерживая одной рукой свой шерстяной амикт, он, покачиваясь, другой рукой резал птицу и быстро подвигал куски на край блюда; Аспренас и Потит скромно рукоплескали его искусству.

Пили разное вино: кекубское, фалернское, каленское, фармийское, наливая его в кратеры. По временам

Туберо, под видом воздаяния богам, проливал несколько капель на стол, который тотчас же отирали губкой.

Послышались звуки кротал и кимвалов, щипки струн египетских тамбурахов и греческих лир, трепетание цистр и воркование флейт. И появились женщины в развевающихся одеждах — они стали ожидать знака. Это было во время третьей части ужина, когда подавались плоды, печенья и иноземные вина; их пили из чаш с двумя ручками, опущенных в большие бронзовые кратеры с эмалью. Для лучшего пищеварения ужинавшие повернулись друг к другу спиной, вытянув ноги: Туберо громко рыгал, Аспренас и Потит тупо смотрели, Юлия все больше открывала бедро, бросая взгляды на Атиллия, тихо разговаривавшего с Мадехом. Паразиты поедали кушанья, оставленные всеми, и в зале струился дым от ламп, начинавших чадить.

После медленной прелюдии женщины обошли вокруг триклиния, изворачиваясь бедрами, вытягивая ноги, как будто становясь от этого более высокими. Потом одни из них продолжили играть, причем все ту же мелодию, а другие начали танцевать, сближаясь и развевая свои тонкие одежды, поднимая их до головы и открываясь при этом от шеи до бедер. И, полуобнаженные, они кружились в сладострастном вихре под звуки кротал и кимвал, под крики флейт, смех цистр, звон тамбурахов и лир. Затем они удалились неровными шагами, сопровождаемые финальными звуками, среди которых флейта выражала остроту жгучего наслаждения; а за ними последовали Эльва и Мамер, которых выгнал толчками ноги Туберо, точно опьяневший, и они побежали через темные коридоры и атрий в

сени, при громком смехе Юлии и тупом самодовольстве Потита и Аспренаса; последний смотрел на эту сцену своим единственным круглым глазом, печальным и тревожным.

Туберо велел поставить для Мадеха и Атиллия бронзовое ложе в одной из комнат, которую он им показал, отодвинув край занавески. А затем он пошел вслед за Юлией, которую окружили женщины с ее ночными одеждами в руках. Аспренас и Потит направились домой в сопровождении рабов с фонарями. Дом погрузился в ночное спокойствие, едва нарушавшееся звуками лиры, которую одна из музыкантш настраивала в глубине кубикул, стенаниями подвергнутого бичеванию раба, доносившимися извне, стуком ключей, запиравших тяжелые двери в глубоких нишах.

III



ушное утро при восхитительно ясном небе поднималось над Брундузиумом, окутывая его волнующимся туманом, который едва рассеивался под лучами восходящего солнца. У дверей дома Туберо ожидал цизий, двухместная повозка на двух колесах, запряженная му-

лами, которые помчали Атиллия и Мадеха на окраину города, а затем на Аппиеву дорогу, ведущую сюда из Рима. На туманящихся полях шумно двигались быки, запряженные в громоздкие плуги, и раздава-

лись крики рабов, которые выглядывали из-за кустов, чтобы посмотреть на проезжающих. Изредка погонщик, апулиец, спрыгивал с мула и бежал рядом с колесами, осыпая своих животных ударами бича, и его ярко-красная одежда резко отличалась от темной шерсти животных.

В таверне у дороги, где они остановились в полдень, люди ели, сидя на скамейках; солдат вертел в руках каску, а в углу бродячий цирюльник брил путешественника, который часто подносил руку к подбородку, наверное, порезанному бритвой. Все обернулись, чтобы лучше разглядеть Атиллия, но в особенности Мадеха; его митра, развевающаяся одежда в цветных полосах с широкими рукавами и конусообразный амулет вызвали перешептывание окружающих.

Оба грека и александриец, с которыми они расстались накануне, ели вместе за низким столом; черные бороды двух первых были против круглого лица александрийца, слушавшего их с восторгом. Угадав простака в наивном, хотя и осторожном Амоне, греки с красноречием, свойственным их нации, издеваясь над ним, осыпали его рассказами, тут же ими придуманными. И бороды их самодовольно чернели, когда они уверяли:

— В Риме есть женщины с шелковыми и золотыми волосами, растущими естественно благодаря одному божественному камню, который они глотают во время своих месячных. Их стригут, но они продолжают расти. Срезанные волосы сажают в порошок из золота и оникса. И тогда рождается цветок, который и есть божественный камень. Таким образом, все связано между собой. Так хочет великий

Зевс! — Аристес хитро мигнул Никодему, который в свою очередь изощрялся:

— Что ты рассказываешь! А вот я видел, — обычное дело! — как Тибр породил в полнолуние слонов, зеленых, как тисовое дерево!

Ни тот, ни другой не были в Риме.

После легкой еды Атиллий и Мадех уехали вместе с Амоном и обоими греками; Амон в двухколесном карпенте, нагруженном огромным деревянным сундуком, а двое других в бастерне — повозке в виде носилок, запряженных мулами со звонкой упряжью. Они проехали несколько белых городов с низкими домами, с виноградниками на крышах; потом несколько поместий, где обнаженные до пояса рабы со скованными цепью ногами рыли каналы или били деревья жердями, отрясая фрукты. Послышалось пение. Это шли быстрым шагом солдаты с дротиками, пиками и щитами; впереди на лошади центурион. Толпы бедных людей: корзинщиков, сапожников, кузнецов, целые семьи эфиопских плясунов и укротителей змей, везли на повозках с кожаным верхом и колесами без спиц все свое имущество, своих жен и детей с татуировкой на лбу. Иногда матери шли пешком, согнувшись под тяжестью детей, которых несли на спине в мешках из грубой шерсти, и оттуда виднелись только смеющиеся лица и маленькие подвижные руки.

После Капуи начались равнины, пересеченные каналами, орошавшими земельные участки. Пастухи Кампании, едва прикрытые кожаной одеждой, пасли стада серых овец, тянулись пастбища с оградами из укропа, богатые фермы италические со множеством слуг и животных. Изредка, с любопытст-

вом дикарей, приподымались кочевники, отдохавшие на обочинах дороги, и пальцами указывали на путешественников.

Дорогу, мощеную плитами из лавы, бороздило множество повозок: цизии, бастерны, рэды, карпенты, эседы, сарраки, закрытые и открытые носилки всякого рода. Чтобы укрыться от солнца, путешественники располагались под акведуками или на склонах рвов, покрытых опаленной зноем травой. Вся эта толпа приходила в шумное движение, когда из соседних лесов, оживленных храмами, появлялись жрецы Доброй Богини и плясали, точно белые и красные видения. День наполнялся звоном цистр и тамбурахов, воплями священного беснования — потом эти звуки угасали, как бы растворяясь в тишине.

Ожидаемый вскоре приезд Антонина Элагабала вызывал общие разговоры, в особенности близ Рима. Люди Востока не скрывали своей радости. Их было много, они ехали из всех краев Африки и Азии, — из Мавритании, Ливии, Египта, Малой Азии, Персии, Вавилонии, Мидии, — с разными пожитками на всевозможных повозках. Жители Запада: кельты, старые италики, иберы, лигуры, даки, любящие только идеальных богов, отвлеченные принципы и первоизданную силу, — с огорчением видели, что им противопоставляют богов сладострастия, смешивают оба пола и воздвигают не Женщину-Производительницу, с чем бы их углубленная в себя душа еще могла бы согласиться, но обожествление Начала Жизни под видом материализованного фаллоса. Эти заблуждения были им непонятны, так как в их глазах женщина есть существо отдающееся и таинственно чистое в

акте зачатия, слишком священном и потому всегда сокровенном.

В часы временных остановок, объединявших всех путешественников, завязывались горячие споры. Оба грека, скептики и ироники, смеялись, а египтянин давал простор своему красноречию. Он открывал нежные стороны своей души; его круглое лицо расцветало при воспоминаниях о родной стране, об упорно живущих легендах, восстающих против пороков, которые можно предвидеть в учении о Жизненном Начале, об идиллической любви на берегу Нила под взорами священного Ибиса, при звуках флейт и изогнутых тамбурахов, о любви к молодым египтянкам в легких одеждах, приходящим за водой с амфорой из красной глины.

Восставали не только против Черного Камня, Бога Элагабала, кого так горячо защищал в Брундузиуме Атиллий перед друзьями Туберо, но также и против Крейстоса, Бога христиан. Евреи и между ними один высокий и высохший, как мумия, человек по имени Иефуннэ, направлявшийся в Рим вместе с семьей, старались возложить на него ответственность за гибель своего народа.

Почему Крейстос допустил все народы к общению вместо того, чтобы призвать только их, добрых евреев? Если бы он это сделал, они бы не стали мучить его! Амон, беседовавший с Иефуннэ, качал головой, так как, напротив, космополитизм Крейстоса был ему по душе.

Этот Иефуннэ, отец многих детей и, между прочим, тонкой бледной девушки с глазами серны, окаймленными черными кругами, этот Иефуннэ заставил египтянина разговориться и узнал, зачем тот направ-

ляется в Рим. Еще цветущий в свои пятьдесят лет, Амон нашил состояние, торгуя египетской чечевицей, и его горячей мечтой было посмотреть столицу мира, а затем, удовлетворив все свои желания и вернувшись в Александрию, жениться на молодой египтянке, которая любила бы его. И так как на его круглом бритом лице отражалась мечта о молодой супруге, которой лишила его трудовая юность, проведенная в закупке чечевицы и отправке ее на барках во все концы света, то дочь еврея Иефунна бросала на Амона долгие взгляды из повозки, в то время как Иефуннэ, казалось, не замечавший этого, рассматривал арку египтянина, деревянный ящик, быть может, заключавший бесчисленное множество золотых солидов, нажитых пятидесятилетним путешественником.

Атиллий и Мадех достигли Анксуара: их взорам открылась сверкающая цепь белых скал над портом; толпа носильщиков, выгружавших глиняную посуду и металлы; множество быстроходных либурн и кораблей с рострами и без рост, весельных или парусных; иностранцы, прибывшие с юга Италии, из Сардинии или Испании, чтоб присутствовать в Риме при въезде Элагабала. Об этом все говорили, и звуки голосов, варварские звуки, долетали до Атиллия, принявшего важный вид, и до Мадеха, который смотрел на него, склонив смуглое надушенное амброй тело и овальное лицо с миндалевидными глазами и соединенными черной чертой бровями, обрамленное короткими вьющимися волосами. Мысль Атиллия, прежде инертная, работала теперь под наплывом внезапного вдохновения, вызванного оживлением на Аппиевой дороге, по

которой стремился народ Римской Империи. Безумный проект культа Черного Камня Элагабала, который увлек его величием своего замысла, уже рисовал перед ним очертания храмов Солнца, более высоких, чем храмы Зевса и Сераписа и стены Вавилона, и этот Черный Камень должен возвышаться непоколебимо, украшенный алмазами, изумрудами и топазами, при звуках флейт, азор, нобал, арф, среди плясок и пения. Ради него он, Атиллий, вступит в борьбу с богами всех концов земли, и неустанным стремлением мужского пола к мужскому он упразднит женский пол или, вернее, двуполость человечества и поможет созданию в недрах творения Андрогина — самодовлеющего существа, совмещающего в себе оба пола, и установит Единство жизни там, где царила двойственность.

Но, подобно нежному растению, этот проект в своей сути был чем-то глубоко интимным, поэтому тревожил обычно спокойное состояние духа Атиллия, привыкшего там, дома, пребывать в сладком оцепенении и отдаваться грезам, близким к неземным. Он выработал в себе в Эмессе философию бессознательного, которая была связана со страстной жестокостью по отношению к Мадеху; в нем он думал найти воображаемого Андрогина. Глубокий эгоизм Атиллия поддерживал в нем душевное равновесие, которое теперь рисковало быть нарушенным в начинающейся по его внушению жестокой борьбе Элагабала против других верований. Он чувствовал: в самом сердце Рима могуче разрастается упорное безумие религиозных пристрастий, и сам он, пропитанный этим ядом, будет не в силах вырваться из его плена. Во что тогда обратится нить глубоких страс-

тных дней, протекших в тишине вместе с Мадехом, которого он сделал бесполом, почти до конца истощенным, но не ведающим о своей физической слабости.

Вечер объял дорогу, и близость ночи смущала чувства запоздалых путников. Дома Анксуара, оставшиеся позади за прямыми стенами, сливались в общую массу, как куски горной смолы; порт сверкал желтыми отблесками, в которых плясали лунные лучи. Все угасало, и в общем угасании едва различались крики погонщиков ослов, стук копыт мулов, фыркание быков, выходящих из Понтинских болот, и голоса путешественников, отыскивающих убежище в небольшом городе.

Утро коснулось неба, покрытого тяжелыми тучами; их разрывали красные лучи тусклого солнца. Аппиева дорога пересекала Понтинские болота; на лево — зелень дюн, направо — голубая стена Аппенин Лациума. Воды сверкали среди зарослей тростников и асфodelей, в которых топтались быки; густая трава колыхалась под внезапными порывами ветра. Восходящее солнце бросало косые отблески на волнистую поверхность каналов; над хижинами угольщиков поднимались колонны дыма; храмы из травертинского мрамора вырезались своими розовыми линиями на фоне холмов, на их вершинах виднелись обнаженные торсы вольских пастухов; с недалекого моря доносились отрывистые звуки, сливавшиеся с криками возниц на дороге.

По мере приближения к Риму увеличивался наплыв путешественников. Лектики провинциалов; бастерны женщин; запряженные быками бесколесные траги, похожие на сани; бенны — гальские по-

возки с ивовым кузовом, иногда украшенные серебряными бляхами; телеги, запряженные парой, тройкой и четверкой лошадей; простые повозки, нагруженные кладью, везли людей Востока и Запада, римских граждан и нумидийских землевладельцев, семьи фигляров, евреев, чиновников, которых привлекал приезд Антонина Элагабала. Толпы невольников, взятых в каких-то неведомых войнах, шли быстро, подгоняемые палкой надсмотрщика; собаки лаяли на темнокожих мавританцев, гнавших перед собой верблюда, который сгибался под тяжестью сидящих на нем женщин и детей.

Прошел день, и они уже ехали вдоль берегов озера Неми и Альбы, осененных тенью каштанов, выросших на земле, образовавшейся из пепла и пуццолан. Наконец, впервые серые очертания Рима обрисовались на горизонте! Дорога потянулась среди гробниц гордой архитектуры, источенных солнцем и белых на синем фоне окрестностей, среди гробниц, на которых были имена Септимия Севера, Геты, Галлена, Сенеки и Цецилии Метеллы. Вилла Коммода, скончавшегося менее чем четверть века тому назад, привлекла к себе внимание Амона, которому захотелось обойти ее вокруг; а за ним пошла и Иефунна, тревожно следившая за каждым движением его дипломата. Но Никодему вздумалось позабавиться, и он крикнул Амону из глубины своей бастерны, откуда виднелся только клочок его черной, как уголь, бороды:

— Не ходи туда, не ходи! Тень Коммода преследует египтян, которых он не любил при жизни.

Амон, одновременно болтливый, наивный и трусливый, немедленно вернулся. Иефунна тотчас же

пошла опять за отцом, глаза которого на миг блеснули при взгляде на сундук, оставленный в повозке александрийца.

Вдали пенился Тибр, то скрываясь, то вновь появляясь в дрожащем сиянии. Сливаясь, синели горы, и резко выделялись дороги, фермы и виллы, мосты, группы сосен и кипарисов.

Одно и то же восклицание вырвалось из всех грудей, взволнованных близостью столицы:

— Рим!

Белое видение все росло и росло в дымчатом тумане. И это, действительно, был громадный, дивный Город!

Тогда поднялись крики. В особенности волновались иностранцы, заветной мечтой которых было увидеть Рим. Они вставали в своих повозках, приподымались в седлах, избегали на возвышения, чтобы лучше видеть Город, крыши, дома, арки, портики, колонны, цирки, горреи, нимфеи которого сверкали розовыми и желтыми отблесками. Африканские фигляры поочередно брали друг друга на плечи, и даже маленький мавританский караван со своим верблюдом не отставал от других. Слышались переливы инструментов. Каждую, возникающую перед ними часть Рима приветствовали на всех языках, и все сердца бились при виде Города, который скоро поглотит эту толпу, пришедшую со всех концов мира. Атиллий и Мадех не говорили, не улыбались. Атиллию сквозь Рим виднелся Эмесс. Мадех же под влиянием внезапного беспричинного и острого предчувствия положил руку на свой черный амулет, как бы боясь, что его отнимут.

IV



предмestье, на правой стороне Тибра, дома с изрытыми стенами, покрытыми желтой известью или стуком, некоторые в несколько этажей, загромождали узкие улицы, темные, как улицы восточных городов. Сырые углы площадей, в которые изредка золотой

лентой проникал солнечный луч, скользнувший с крыши, закоулки, украшенные нишами в гирляндах, где хранили неподвижные изваяния богинь и богов. Повсюду теснились низкие лавки с выставленными товарами; в мясных на железных жердях висели части туш и огромные бычьи сердца; в булочных рядами красовались круглые и выпуклые хлеба. Чуть дальше расположились мастерские по производству сандалий, кожаных и деревянных ботинок, по изготовлению светильников из давленной меди и лаковой глиняной посуды, блестевшей в полумраке. На окнах с деревянными решетками развевались куски материй, а на веревках, по стенам, висело множество позванивающих изделий.

На пустынном участке земли, на берегу Тибра, стоял небольшой домик с отверстием в крыше, откуда клубился черный дым; а перед домом, в узком садике, весело цвели гелиотропы и розы. В глубине его было устроено подобие сарая, заваленного кусками глины, квадратными кирпичами, вазами этрусского стиля, расписанными лампами, сапогами, сушившимися на

полках. В углу, у двери, зияло круглое жерло потухающей печи.

Краснолицый мужчина с волосами в мелких завитках, в разорванном шерстяном плаще, с обнаженными до плеч руками и голой грудью вертел гончарный круг. На узкой горизонтальной доске глина размягчалась и превращалась в продолговатые вазы, стройные, как распустившиеся лилии, или в круглые блюда, или овальные амфоры с остроконечным основанием. Другой человек, худой и темноволосый, сидя на скамейке из пальмовой плетенки, расписывал вазы кистью, окуная ее в горшки с краской. Он украшал их черными и красными геометрическими фигурами, изображениями богов и изгибающихся борцов, группами колесниц, несущихся в лазоревом пространстве.

Несколько поодаль третий гончар прикреплял ручки к вазам и резал большие куски глины, которые бросал вращавшему круг.

Этот работник насвистывал какую-то грустную мелодию, сопровождая ее скрип гончарного круга и глядя только на глину, размягчавшуюся и оживавшую в его руках.

Ничто не останавливало работы гончаров, окутанных летучей солнечной пылью, а сквозь нее на желтом фоне густых ветвистых лесов виднелись, как в мираже, гелиотропы и розы, большие цветы и листья, склонившиеся к земле, как складки одежды. Через плетень из сухих тростников, отделявших мастерскую от дома, на работающих мужчин смотрел, опираясь на большую кривую палку, старик, едва прикрытый стянутым в талии холстяным плащом, в шляпе из рыжей шерсти на седых и очень длинных волосах,

спадающих к самой бороде. Он был худ и высок, с красными кругами вокруг глаз, с тонкими губами с желтой, покрытой рубцами кожей, на которой выступали узловатые жилы. Ноги его были босы.

Он стоял, молча, и ждал.

Краснолицый гончар поднял голову.

— Магло! — воскликнул он. — Это ведь Магло, которого мы все ожидаем?

И он быстро оставил гончарный круг, который издал резкий свист. Двое других прекратили работу.

Гончар отворил старику дверь, тот вошел, протянул к ним руку и пробормотал несколько слов. Они опустились на колени, затем встали, а Магло, озабоченный и усталый, сел на скамью.

— Отец, ты ел? — спросил гончар, глядя на него со вниманием и заботливостью сына. Магло ответил:

— Да, да! Я ел, я сыт!

Все трое проявляли к нему умильную почтительность и не перебивали его. Опершись подбородком на палку, старец пристально смотрел на землю:

— Пройти Галлию и Италию, переплыть реки, пройти горы, не жалея свою старость, страдать от голода, холода, жары, побоев, обид и насмешек — и все это для того, чтоб увидеть Рим и впасть в его мерзость. Это тяжело, тяжело!

Он выпрямился во весь рост и угловатым жестом протянул палку, указывая ею на Рим.

— Предсказываю, предсказываю! Если никто не уничтожит эту блудницу, которая отдается сынам Востока, то все погибнет. Гниль ее распространится по земле — и горе, горе всем!

Двое содрогнулись. Но Геэль, тихо сжимая руку старца, заставил его сесть и быстро сказал:

— Да, мы уничтожим ее, отец! Число наших братьев все растет. Но нам нужно время, чтоб разжечь огонь, который поглотит ее совершенно!

Он спокойно смеялся и другие вторили ему хором, как бы желая успокоить пришельца, который продолжал:

— Что это за часть города, где блудницы зазывают прохожих? Я видел, как мужчина обнажил женщину. Я видел, как юноши ласкали развратников и осквернялись с ними. Я видел старух, деливших ложе с малолетними. Это конец всех концов, этого достаточно, чтоб солнце закрыло свой лик.

— Ты прошел по Субурской улице? — робко спросил гончар.

— Эта улица — путь погибели, — быстро сказал Магло. — Подоignite эту груду гнилья, которая заразит народы!

— Просвещение светом истины идет вперед, отец! — уверял Геэль после некоторого молчания, надеясь внести мир в душу старца, гнев которого смущал его. — Нас немало в Риме, чающих пришествия Агнца, и мы многого ждем от новой власти, возникшей на Востоке; она подготовит сердца для Крейстоса.

— Восток, Восток! — воскликнул Магло, — разве это не Вавилон!

— А Вавилон — это Рим, — ответил Геэль, снова улыбаясь. — У нас есть бедняки и блудницы в несчастии.

Старец быстро встал:

— Мне говорили, мне говорили! — застонал он. — Вы, живущие в Риме, вы не гнушались гнилых плодов, от которых сами сгниете.

— Мы собираем семена везде, где их находим, — сказал Геэль. — Взгляни на моих работников: Ликсио, фригиец, приговоренный к распятию на кресте за убийство своего господина; Ганг, кампаниец, которого прокуратор разыскивает за кражу, — оба они скрывались от чиновников, и я приютил их. Им нечего здесь бояться: это братья.

Магло внимательно посмотрел на Ликсио и Ганга. Геэль смиренно, но уверенно продолжал:

— И я сам, уроженец Сирии, разве я не был за Евфратом, в разлуке с братом моим Мадехом, быть может, умершим, быть может, рабом, кто знает?.. И разве не нахожусь я под угрозой закона Империи за поджог города?

— Увы, увьи!.. — произнес Магло и замолк.

К нему возвращались чистые грезы, которые наполняли его душу светом в его пещере в Альпах перед снежной картиной гор, перед синими горизонтами, холодными водами, струящимися в лощинах, где краснеют морщинистые лесные яблоки и черника прикрывает гнезда юрких ящериц. Старость застала его девственным.

И перед его глазами стоял образ властной Майи, запечатлевшийся в его мозгу и унаследованный от его предков, скандинавских Гельветов. А еще виделось ему бледное лицо Богочеловека, попирающего пятою семь голов греха: сладострастие, блуд, изнасилование, скотоложество, содомию, прелюбодеяние и растление. Молва о его святости дошла по Роне до Лиона, проникла за море и постучалась в двери Рима, куда призывали его поклонники Крейстоса. И направленный к Геэлю одним из далеких учеников, он пришел, чтобы при жизни увидеть Рим и для того

чтобы еще сильнее укрепилась в нем вера. И какое разочарование постигло его!

— Ты останешься здесь, — сказал Геэль, радостно улыбаясь. — Я прикажу приготовить тебе ложе, потому что ты у своих.

В эту минуту решетчатая дверь отворилась. Магло вскрикнул:

— Она! Это погибель! Та, что я видел сегодня утром.

Неприступный и суровый, он хотел удалиться, но маленькая ласковая ручка завладела его рукой и к ней прильнули чьи-то губы.

— Да, я знаю, ты прошел мимо моей двери, и я тебя позвала. Но не все ли равно! Геэль сказал мне, что я прощена.

Магло смутился, слегка смягчившись; он машинально начертал крестное знамение над головой молодой женщины, которая бросилась к нему. Низкая митра была надета на ее голове; волосы приглажены на висках, брови соединены черной чертой; в ушах тускло блестели бронзовые кольца; груди колебались под светло-желтой полотняной суббукулой, высоко подпоясанной; сандалии завязаны на обнаженных икрах; на щеках — слой меловых белил. Серебряная пряжка с головой Медузы скрепляла на ее плече паллу, незатейливо открытую под мышкой.

— Довольно, довольно, Кордула, — строго крикнул Геэль, заметив замешательство Магло.

Кордула поднялась в смущении, но все же поднесла к носу Геэля четырехугольную душистую ладанку.

— Понюхай! Мне подарил ее один человек. Это как будто мирра и вербена.

И она убежала, промелькнув золотистым видением в ореоле тонкого аромата вербены, смешанном с липким запахом лупанара.

Геэль сильно покраснел и пробормотал:

— Разве можно сдерживать этих женщин? С ними надо быть добрым и снисходительным, потому что они нас любят, а Крейстос не был врагом любви.

— И ты любишь их, любишь их тело? — спросил Магло, сдерживая себя.

Послышался шум приближающихся голосов, и в гончарную мастерскую вошли человек двенадцать мужчин и женщин, которые поздоровались за руку и торжественно поцеловали друг друга в щеку. Они пришли ради Магло, зная, что в этот день он должен прибыть к Геэлю. У него они часто собирались; это были христиане, объединенные одним и тем же видом причастия в общее трогательное братство; лишь только изредка в него вносили разногласие различные споры о догматах.

Лексио и Ганг прекратили работу. Геэль усадил пришедших на низких плетенках из ивы с берега Тибра, посреди кусков глины и ваз, на которые луч солнца падал золотой пылью. Когда, поцеловав сухие пергаментные щеки Магло, пришедшие упросили его говорить, то он медленно, но звучным голосом, стал рассказывать им про христианские церкви в Галлии, которые он посетил, покинув Гельвецию. Хотя проповедь веры была там на тернистом пути, благодаря некоторым народностям, враждебным Агнцу, зато Рим смутил его своими лупанарами, открытыми для всех, беспутством его обитателей, которое смрадными потоками и душевным мраком покрывало оскверненный мир! И он

заплакал, ударяя палкой оземь; затем, откинув назад широкие поля своей шляпы, встал, грозя протянутой рукой и выставив вперед большие голые ноги. В его грозных словах Рим являлся в виде злого зверя, несущего на хребте своем все грехи, и ему хотелось бы жестоко преследовать его, убить его своей палкой и зарыть в ту грязь, в которой он привычно пресмыкался. Но тут прервал его один из христиан, молодой человек горделивой внешности, с загорелой шеей, коротко остриженный, с продолговатым, тонким и умным лицом; черные глаза придавали этому тридцатилетнему человеку особое обаяние, отражая красоту его души, горящей необычайной оживленностью. Короткая остроконечная борода дополняла его апостольский облик, полный человеколюбия. Он был одет в простую тунику из грубой шерсти, заботливо заплатанную, и в деревянные сандалии на босу ногу. Звали его Заль. Он заговорил:

— Агнец не хочет, чтобы средоточие мира и престол его грядущей славы терпели поношение от нашего брата из Гельвеции. Из той гнили Рима вырастет божественный цветок Крейстоса!

Прочие взглянули на Магло, ошеломленного на миг, он возразил:

— Рим, Рим, это гниль!

Он повторил это глухо, как бы перед видением лупанаров Субуры и все еще изумленный внезапным вмешательством Залья; а тот уверенно продолжал защищать Рим, уже не смущаясь святостью Магло и чувствуя, что в нем слабеет его прежняя вера в одинокую чистоту Крейстоса. Тогда чей-то голос сказал:

— Величие Крейстоса царит над всем и может возникнуть из всего!

Христиане склонились перед той, что произнесла эти слова. То была женщина двадцати пяти лет, выразительная и пылкая в каждом движении, с величественной внешностью патрицианки, отрекшейся от мира; без драгоценностей, без румян и белил, одетая строго в белую столу с прямыми складками; палла закрывала ее трепещущие плечи, на которые падали подвижные пряди черных волос, вырвавшиеся из-под повязок на слегка наклоненной голове. Другой христианин выступил вперед:

— Наша сестра Севера права. Но это величие бестелесно, оно есть чистый дух, как и тот, от кого оно исходит!

Говоривший эти слова был высок, худ и уже зрелого возраста — сорока лет. На нем была черная туника, волосы были плохо острижены, и его бритое лицо изобличало человека, которого терзают тайные страсти. Он обладал резким голосом, что придавало ему возможность быть убедительным в определенных христианских кругах — он выступал в манере догматика, закрывая глаза, высоко держа подбородок над прямым воротом и презрительно относясь к тому, что о нем говорят и думают другие вероучители. Хотя они и считали его знатоком апологетики и человеком с широким кругозором, все же не стеснялись иногда обнаружить в нем какой-нибудь порок, недостойный христианина, вследствие чего Атта — так его звали — был вне сходов и интимных собраний верующих каким-то жалким, нуждающимся паразитом, льстивым перед сильными и готовым продать Веру за несколько золотых или даже за несколько кусков

хлеба и сардин. Но он оберегал себя от подобных обвинений, еще не предъявлявшихся ему в грубой форме и, чтобы лучше защититься, держал себя, как приверженец официальной церкви христиан-политиков, богатых и ловких, поддерживавших под наблюдением римского епископа Калликста, — а до него, Зефирина, — только отдаленную связь с более скромными, смиренными, тихими и братствующими общинами церквей, к которым принадлежали те, кто был у Геэля, и сам Геэль.

Эти церкви колебались между различными толкованиями учения, настолько свободными и уступчивыми, что они приближали их к некоторым обрядам политеизма или, по крайней мере, к некоторым политеистическим идеям для объяснения божественной силы, олицетворенной для них в образе Крейстоса. Многие объединялись по национальности, и это отличало их от политических общин, с более резко выраженным интернациональным характером. За исключением Северы, римской супруги одного патриция, давно уже удалившегося от дел Империи и императоров, которую влекла к Залю, — как остроумно выражались, — любовь к Крейстосу; за исключением Атты, путем борьбы водворившегося среди них, быть может, во властолюбивых целях, все те, кого соединило у Геэля присутствие Магло, были детьми Востока: Персии, Фригии, Понта и Халдеи, и потому они чувствовали еще несознаваемое ими самими, но ощутимое сродство с новой Империей, молодой и обаятельный повелитель которой должен был завтра вступить в Рим. Об этом-то они и заговорили. Заль предпочитал Элагабала с его извращениями и Черным Камнем, тень которого уже подни-

малась над римским горизонтом, и с его жрецами, — всем императорам-политеистам, которые к его великому сожалению не достаточно споро разрушали мир. Господство Крейстоса родится из гнили Элагабала, а не из здоровой и сильной жизни других богов! Он говорил это горячо и смело под пристальным взглядом Северы; Магло качал головой, сидя и держа посох между ногами, а Атта переводил тревожный взгляд с Геэля на других христиан и иногда строго смотрел на Заля, озаренного теперь лучами солнца.

Магло пришел слишком издалека, чтобы сразу освоиться с теориями Заля, и потому перевел спор на естество Сына человеческого, так как идея эта была ему очень дорога. Возникли разногласия. Одни доказывали, что Крейстос как человек был существом бестелесным; другие утверждали, что он был чистым духом; Геэль скромно заметил, что Крейстос и Отец его составляют неизменяемое соединение всех богов. Но Магло заткнул уши и встал, еще господствуя над бедными туниками христиан, обратившихся к нему:

— Богохульство! Агнец, в отдельности от Отца, равен ему по силе. Я, Магло, его видел, с его семью кровавыми ранами: Отца, властителя грома и всех благ, справа от него, а Духа — слева.

Атта ответил ему высокомерно и властно, казалось, презирая незначительных слушателей:

— Все должно объединиться в божественном единстве Крейстоса. Опасна идея троичности, прославляемая Магло.

И так как Магло, задетый в своей святости, смотрел плаксиво, то Атта заявил, что вопросы о догматах должны быть предоставлены иереям объединенных

церквей. Но Заль восстал против того, чтобы руководство душами было отдано во власть людям, вера которых не всегда несомненна.

— Дух проявляет себя, где может. Человек подвластен греху, мы не можем отдать эти споры на произвол их страстей. — Он отвергал всякую власть, явно имея в виду Атту, который в ответ презрительно и лицемерно пустил в него отравленную стрелу.

— Берегись, Заль, чтоб этот дух не был демоном!

Заль вскочил и погрозил ему кулаком:

— Демон в тебе, в тебе, нечистом, который скрывает свою низость под ложной святостью.

И, казалось, он готов был его ударить и, возмущенный, бормотал про себя то, что уже давно рассказывали про Атту, про его приспособленчество, его тайные пороки и подозрительное общение с язычниками. Но все шумно встали, их разъединили. Атта был бледен:

— Я заставлю низвергнуть тебя из клана верующих!

— Я открою всем твое лицемерие!

Разъяренный Атта направился к дверям и в тот момент, когда к Залю приблизилась взволнованная Севера, бросил ему в лицо:

— Горе, горе, горе тебе!

Все содрогнулись после этой сцены, которая так резко положила конец спору, начатому Магло. Заль ничего не говорил более. Магло проводил худыми руками по своей волнистой бороде и беспокойно смотрел на верующих. Но те, а вместе с прочими Заль и Севера, разом ушли. Остались только Геэль, его работники и Магло, — и все молчали.

V



Транстиберинском предместье стоял сильный шум, ревели толпа, люди бежали к Сублицийскому свайному мосту. Дети, копавшиеся в мусоре, пугались; в отверстиях окон сталкивались любопытные головы, а низкие таверны с одним навесом поспешно закрывались из боязни. Толпа выкрикивала различные имена Элагабала: называли его Антонином, так как мать его, Сэмиас, уверяла, что он родился от Антонина, а также Бассианом, Варием, Авитом и Сирийцем.

Геэль пробивался сквозь группы теснившихся граждан и рабов; над их головами, на дощечках или на прямых жердях, были выставлены статуэтки, железные изделия и большие куски соленой свинины; иной раз продавцы, ропща и уворачиваясь, спасались от ударов мечей в руках солдат, покрытых железом и медью. Пришельцы с Востока, длинные полосатые одежды которых выделялись подвижными пятнами среди грязно-белых римских тог, били в барабаны, обтянутые кожей, и дули в прямые трубы из блестящей меди; проститутки громко бранились между собой, и матроны догоняли своих полуголых детей, прыгавших повсюду.

На Священной улице, куда выбрался Геэль, промелькнула мимо него лектика, в которой четверо рабов несли двух мужчин, лежавших на пурпурных

подушках; один из них был бледный, с короткой каштановой бородой, другой — моложе, большой ребенок, только что вышедший из отроческого возраста, с золотистой кожей, быстрым взглядом и вьющимися волосами. Геэль смотрел на него в щель между плагулами — шелковыми занавесями — и воспоминание о брате с родины, навсегда утраченном, вставало перед его глазами, и чем дольше он смотрел, тем сильнее крепло это воспоминание. Да! Это действительно Мадех, тот самый, о коем он говорил Магло. И, потрясенный, восторженный, он воскликнул:

— Мадех? Это я! Я!

Гончар бежал за носилками, чтобы привлечь внимание вольноотпущенника, лежавшего рядом с Атиллием. Но Мадех не слышал его в окружающем шуме; Атилий же мечтал...

Тогда Геэль вдруг раскрыл всю занавесь; лектика остановилась по знаку Мадеха, который увидел Геэля. Узнать его и после краткого колебания сойти и поцеловать — было делом мгновения.

— Да, да, это я! Я приехал оттуда, знаешь, добрый мой Геэль!

И он все еще обнимал его со слезами на глазах, а Геэль восхищался им, ощупывал его шею, руки, волосы, вдыхая аромат далекой страны. И так как Атилий смотрел на них безучастным, почти мутным взглядом, то Мадех сказал ему:

— Это мой брат с родины, о котором я часто тебе говорил; он спас меня, когда римские легионеры убивали моих соплеменников. Если б не он, я был бы мертв, может быть, или далек от тебя!

Он говорил это поспешно, счастливый тем, что

Геэль разделял его радость, видя его в дорогой одежде, с митрой на голове, которая дивно шла ему, и что Атиллий увидел его брата из Сирии. И Атиллий милостиво сказал из глубины лектики:

— Беги с нами и будь вместе с нами!

Мадех лег снова, и носилки двинулись вперед между Виминалом и Эсквилином, на которых возвышались дворцы и дома, красиво окрашенные в шафранный цвет. Носилки свернули в сторону: перед ними открылся Каринский квартал с храмами, многочисленными портиками, термами и садами с изящной растительностью. И толпы народа постоянно двигались с соседних высот, появлялись из-за высоких домов с выступающими вперед деревянными окнами; народ стремился влево, к Священной улице, как бы выливаясь из сверкающих щелей, в ярком полуденном солнце, пестря одеждami среди развевающихся занавесей и тканей, которыми люди махали с высоты колесниц, украшенных слоновой костью и серебром.

И все время слышались магические имена Элагабала, как будто от этого молодой император должен появиться скорее, внемля долгим радостным кликам.

— Завтра Божественный Антонин вступает в город, — сказал Мадех громко, чтоб Геэль мог расслышать в шуме. — Народ хочет приветствовать его при приближении к Риму.

Лектика свернула в узкую улицу, стиснутую молчаливыми домами с железными затворами у дверей, и остановилась перед домом, окаймленным пилястрами; дверь отворилась, и в ней показалось розово-щекое лицо янителя — привратника. За дверью виднелись сени, а в глубине дома, за вестибюлем —

желтая площадка, прямой ряд колонн из красного травертина, анфилада уходящих вдаль зал, пронизанных солнечным лучом, подобным широкой серебряной ленте.

Атиллий и Мадех вышли из лектики. Мадех обнял Геэля, который колебался.

— Он разрешает тебе войти, — сказал Мадех, — он любит Восток и наш народ.

И он увлек его вслед за Атиллием, в то время как со всех сторон сбегались невольники.

В атрии (передней гостиной), украшенном мозаикой и бледными фресками, доходившими до карниза колонн, раздался хриплый крик. Серая обезьяна, прикованная к жертвеннику у края бассейна, смотрела своими почти человеческими глазами на Атиллия, а какая-то тень колебалась на стене, расписанной пестрыми стаями птиц, порхающих среди голубых и розовых облаков. Геэль, не знавший, что сказать, и шедший с осторожностью, увидел павлина, распутившего свой хвост, пышного и величавого в спокойной гармонии радужных переливов. Птица, подняв одну ногу и с загадочным видом устремив взгляд на кусочек голубого неба, отражавшийся в комплювии через отверстие в крыше, оставалась неподвижной.

— Ты тоже шел навстречу Антонину? — спросил Мадех Геэля, в то время как Атиллий направлялся к перистиллю в глубине узкого убранного тканями коридора, где его белая туника с двухцветными полосами выделялась светлым движущимся пятном.

— Да, брат Мадех, — ответил Геэль. — Говорят, что, отвергая всех римских богов и признавая только одного Бога, с Востока, он будет благосклонен и к нам.

— К нам? — спросил, недоумевающая Мадех. — И он взял его за руку и усадил рядом на бронзовом сиденье — беселлии. Павлин все шире распускал свой хвост, а обезьяна спокойно пила из позолоченного солнцем бассейна неопределенной глубины, в котором тихо колебалась вода.

Сделав быстрое движение, Мадех открыл черный конус амулета, висевший на тонком шнурке на его шее и, когда Геэль раскрыл рот от удивления, поспешно сказал:

— Да-да, я жрец Солнца, посвященный Атиллием богу Света и Жизни, богу Элагабала, соединяющему в себе всех богов.

— А!.. — промолвил Геэль.

Он сидел задумчиво, охваченный суеверным страхом перед этим жреческим званием, и исподлобья взглядывал на Мадеха, чьи волосы приятно благоухали, чье гибкое, отполированное пемзой тело было умащено после бани маслом, перемешанным с разными благовонными эссенциями.

Брат имел нежный и счастливый вид эфеба, который от ничтожной причины может лишиться чувств. Его кольца сверкали; застежка длинной туники искрилась; его сандалии, окаймленные серебром, были украшены над ступней горящими драгоценными камнями в узорчатой оправе, в которой слоновая кость, бирюза и золото переплетались в виде извивающихся растений. И, главное, движения его были изнеженны, а гибкая спина чутко вздрагивала, как у блудницы, холеное тело которой реагирует на малейшее прикосновение. Геэль понял, и его взгляд встретился с взглядом Мадеха.

Они заговорили, пробуждая в памяти годы, про-

веденные на берегах Евфрата, куда их увлекли толпы восставших, в местности, полной на необозримом пространстве развалин, испещренных клинообразными надписями. Их удивляло, что они так быстро и как бы инстинктивно узнали друг друга после той долгой разлуки, в течение которой оба выросли и изменились до неузнаваемости. Расставшись детьми, они встретились теперь взрослыми.

— Понял ли ты, почему мгновенно наши души откликнулись и наши лица узнали друг друга?

— Что увековечило нашу дружбу и запечатлело ее в сердцах, несмотря на протекшие годы?

Они продолжали разговаривать; Геэль приблизился к Мадеху, который чувствовал как бы легкую нервную дрожь. Грубая внешность гончара, его жирные от глины руки, его густые вьющиеся волосы и жесткая кожа в веснушках не были ему неприятны. Внезапно Мадех сказал:

— Ты поклоняешься Крейстосу, я это понял. Элагабал чтит его, и Атилий, советник Элагабала, видит в нем проявление Жизненного Начала.

— Значит, мы будем под покровительством Империи, — сказал Геэль, который не все понял из слов Мадеха. — Один из наших, по имени Заль, пришедший также с Востока, полагает даже, что Черный Камень направит мир к поклонению Крейстосу.

Раздался плеск воды в бассейне, и оттуда высунулась пасть, желтый зуб, неподвижные глаза, плоский череп с зеленоватыми чешуями. И эта голова неподвижно уставилась на обезьяну, которая делала ей гримасы; хвост павлина сверкал каскадом самоцветных камней в фиолетовых, синеватых и рубиновых переливах. Затем послышался звук шагов, и раздвиг-

нулся занавес, затканый желтыми узорами с греческими углами. Появился Атиллий, сверкая золотыми бляхами халькохитона, в шлеме с пышным султаном и доспехах, облежавших икры; синяя хламида была прикреплена к панцирю фибулой с большим сардониксом. При виде Мадеха и Геэля он улыбнулся, и эта бледная улыбка, скользнувшая по окаймленному короткой бородой лицу, печальному и строгому, с нежными голубоватыми тенями, была так необычна, что Мадех в смущении встал, закрывая собой испуганного Геэля.

— Мы беседовали о земле, которая видела наше рождение, и я неустанно слушал Геэля, который поклоняется Крейстосу.

— А! Ты поклоняешься Крейстосу, — сказал Атиллий, пристально взглядывая на гончара. — Империя, желающая объединения богов в Черном Камне, будет благосклонна к тебе и твоим друзьям, хотя ваш бог не есть полное олицетворение Единой Жизни. Но, если вы уповаете на Элагабала, то он примет вас под свою защиту.

И он повернулся к нему спиной, сделав знак, что тому следует удалиться, и бросил странный взгляд Мадеху, который проводил Геэля до выхода, откуда несколько ступеней вели на пустынную улицу, залитую солнцем.

— Приходи сюда ко мне, — шепнул ему Мадех, — я буду жить здесь постоянно, если только Атиллий, примицерий преторианцев, не увезет меня во Дворец Цезарей, где будет обитать Божественный Элагабал.

— Божественна только личность Крейстоса, — ответил Геэль, обнимая Мадеха и покидая его с печалью.

VI



олесница тронулась и унесла Атиллия и Мадеха. Лошади побежали рысью, замелькали колеса с двенадцатью плоскими спицами, и взволновалась маленькая, глухая улица Каринского квартала. Граждане отступали перед звонкой колесницей с высоким квадратным сиденьем, украшенным бронзой, слоновой костью и резьбой из золота и серебра. Аурига — возница, бегущий рядом, ловко правил четырьмя белыми конями.

Вокруг римлянина и сирийца, в облаках пыли, слышались проклятия, сверкали гневные взгляды старых политеистов-западников, возмущенных вторжением нового культа, который приближался вместе с шествием Элагабала. Какой-то плебей показал кулак Мадеху, митра которого изобличала его национальность; другие смеялись, указывая на Атиллия в золотом панцире, усеянном эмалевыми украшениями. Очевидно, римскому населению уже были отвратны порочные нравы Востока. Становилось ясно, что оно не примет ни Черного Камня, ни его поклонников, ни жрецов и чудотворцев, ни его Императора; и что когда-нибудь оно прогонит варваров, грубый ум которых стремится обезличить богатую, живую и трогательную мифологию западного мира ради нового божества, слишком простого по форме и годного только для низших умов, ради божества с про-

тивоестественным значением, стремящегося поглотить других богов, так дивно очеловеченных.

Исполнив свою миссию в сенате, Атиллий принял звание главного начальника преторианской гвардии и отправился для принятия нового поста в лагерь Элагабала, то есть в лагерь преторианцев на высотах города.

Под яркими лучами солнца шли когорты, во главе их музыканты играли на длинных бронзовых трубах и медных рогах. Под гром восторженных приветствий промчался отряд конницы с развернутыми знаменами. Это было на Квиринальском холме, правая сторона которого была невзрачной, зато левая была богата храмами, садами и дворцами; отсюда сквозь клубы дыма, поднимавшегося, подобно громадным столбам, к темно-синему безоблачному небу, виднелись предместья Рима, серые и голубые. Его улицы, то широкие, то узкие, пестрели, словно шахматные фигуры, пешеходами и колесницами. По сторонам высились здания: белые и многоцветные гробницы; виллы, обнесенные стенами садов, в которых радостно благоухали цветы — розовые, фиолетовые, красные и голубые; акведуки, идущие над крышами домов; многочисленные террасы, на которых виднелись силуэты римлян и римлянок в тогах, хламидах, туниках, циклах, синтсисах — полная гамма цветов и оттенков.

Колесница спустилась с Эсквилинского холма и под крики тяжело дышавшего и обливающегося потом возницы вклинилась в еще более сгустившуюся толпу, которая бросала в лицо неподвижным Атиллию и Мадеху свой гнев, негодование и проклятия. Наконец, в глубине долины обрисовался лагерь прето-

рианцев, который был лагерем Элагабала; оттуда поднимался легкий дым и доносились повторяющиеся звуки музыки, а со всех сторон текли смешанные толпы граждан, рабов и вольноотпущенников великого города, покоренного Востоком.

Тут были стремившиеся навстречу Антонину чиновники и спешившие признать новую власть сенаторы в черных сандалиях, ремни которых доходили до середины ноги и заканчивались золотой или серебряной пряжкой; и всадники, с нашитой на середине туники пурпурной полосой, более узкой, чем у сенаторов; и трибуны с мечами, восседавшие в колесницах на складных сиденьях, украшенных слоновой костью; и граждане, в сопровождении рабов, в пышных венках из роз; затем продавцы оладий, жареной рыбы и горячих напитков; гадатели, фокусники, глотающие мечи, либийские заклинатели змей, намотанных на их лоснящиеся руки; гладиаторы, окруженные любопытными зеваками; солдаты, догнавшие свою когорту, с копьями и в железных касках. И вся эта толпа устремилась из города в долину, стараясь разглядеть лагерь вдаль, определенный и симметричный, с палатками, знаменами и высокой стеной из дерна, со своими улицами, конями, металлическими машинами — баллистами и катапультами — на черных подмостках. А в верхней части лагеря возвышалась обширная палатка из пурпура, увенчанная развевающимися знаменами: палатка юного Императора.

На расстоянии эта картина была грандиозной, неохватной для взгляда: лошади в ярких пополах, привязанные к вбитым в землю кольям; декурионы, наблюдающие за покрытием палаток кожами; солда-

ты, остриящие о камень дротики или примеряющие железную кольчугу. В проходах двигались патрули, сверкая круглыми или прямоугольными щитами, а вокруг ровов слышались громкие команды и ржанье лошадей — здесь скакали отряды конницы. Голоса и споры тонули в неистовых звуках труб, пение которых ясно доносилось до толпы.

Атиллий и Мадех уже подъехали к воротам, откуда широко открывался вид на лагерь, как вдруг там раздался шум и возникла крупная ссора, по-видимому, завершившаяся ударами копий: они увидели трех человек, отбивавшихся от натиска солдат. Это неожиданное происшествие вызвало у Атиллия слегка благосклонную улыбку, подаренную Амону, и несколько насмешливую по отношению к Аристесу и Никодему; все трое вопили, широко раскрыв в плаче глаза, с неподдельным ужасом на лицах. Вырвавшись из рук солдат, александриец и оба грека бросились к Атиллию. Никодем торопливо стал умолять его о заступничестве и в сбивчивой речи объяснил, что он и его прекрасный товарищ Аристес и богатый торговец чечевицей Амон, очень благоразумный александриец, отнюдь не злоумышляли против Императора! Нет! И если Амон спустился в ров лагеря, то только затем... затем, чтобы...

Он не договорил, но Амон, распростертый на земле, продолжил объяснения: он хотел только прислушаться к течению рукава Тибра, отведенного в ров лагеря, как убеждали его в этом Аристес и Никодем. Воды этого рукава увлекали с собой даже крокодилов, пойманных когда-то в Ниле, их держали таким образом в Тибре, но оттуда они вскоре исчезали. Круглая физиономия Амона, когда он это говорил, его

жалобный взгляд напоминали невинный лик младенца, — и Атиллий распорядился отпустить всех троих.

Плотно стянув на себе широкие одежды, с явным желанием уйти поскорее, они исчезли, не забыв, однако, горячо поблагодарить Атиллия, который на миг улыбнулся доверчивости Амона и злым шуткам Аристеса и Никодема.

В лагере Атиллию и Мадеху прежде всего встретились гастирии, которые собирали в связки свои высокие копья; затем их приветствовали суровые принципы, в панцирях, покрытых железными бляхами или сплетавшимися кольцами. Отряды конницы продолжали свои упражнения, мунифии охраняли палатки, со знаменем когорты или манипулы у входа. Наконец, вооруженные дротиками триарии, старые солдаты с огрубевшей кожей, выстроились в ряд по данному сигналу, а на окраине лагеря собрались легко одетые велиты, молодые и горячие, и следовавшие за Элагабалом с Крита и из Ахайи пращники и стрелки из лука. В лагере царило чрезвычайное оживление. Декурии пехотинцев и всадников шли ритмическим маршем, солдаты и их начальники наполняли форум, и среди них выделялся квестор в красной хламиде. Опустившись на одно колено и приподняв локоть, ауксилиарии играли на медных сигнальных рожках в виде железных раковин или согнутых рогов. Катафрактарии, одетые с головы до ног в узкую кольчугу из бронзы, золота или позолоченного серебра, сидели на грузных конях, которые, благодаря их снаряжению и броне над ноздрями, имели какое-то сходство с гигантскими крокодилами; арабские стрелки снимали путы со своих стройных

и нервных лошадей. Либийцы били верблюдов, которые качали своими костлявыми, загадочными головами. Рабы играли в кости в тени деревьев бузины и качелей. Рабов было множество, почти все азиаты, их одежды без пояса с широкими и длинными рукавами развевались, обнажая гибкие торсы; за ними подолгу следили латники в окаймленных медью панцирях. Вблизи императорской палатки лагерь отличался и чрезмерной роскошью, и беспорядком. Одни женщины, украшенные обернутыми вокруг тела, от шеи до бедер, золотыми цепями, сидя перед палатками начальников, играли на цистах, подняв голые руки и открыв чистые, без волос подмышки. Другие торжественно шли, играя на псалтерионе, иные же кружились в танце в узких проходах между красными и желтыми бараками, перед которыми блестели сложенные в связки дротики и железные топоры. И под развевающимися светлыми тканями и прозрачными циклами мелькали матовые белые тела; сверкали запястья, звенели спафалии и повязки на руках и тонких ногах танцовщиц, неслись тягучие звуки тамбурахов с крепко натянутыми струнами, и кикут, и флейт Пана, на которых играли горячие губы, хранившие еще вкус мужских поцелуев. Многие из женщин, сидя на земле в синеватой тени палаток, расчесывали свои длинные волосы, украшенные подвесками из маленьких серебряных монет. Они молчаливо улыбнулись при виде примицерия, быстро проехавшего в сверкающей колеснице вместе с Мадехом. Последний обменялся короткими жестами приветствия с несколькими сирийцами, жрецами Солнца, с такими же, как у него, высокими митрами на головах.

VII



вот они перед шатром Элагабала, возвышающимся над окружающими его палатками. Весь шатер был из расшитого золотом пурпура, с желтыми каймами, со звездами из жемчугов и камней, с развевающимися алыми знаменами, высоко уходящими в синеву неба. Преторианцы в шлемах, в обрисовывающих грудь панцирях уходят и приходят. Уходят и приходят женщины в развевающихся циклах, пестрых и переливчатых, которые отбрасывают разноцветные тени на их белые войлочные сандалии и обнаженные уступней ноги. Жрецы Солнца окружают шатер; вход в него закрыт вавилонской завесой, на ней нарисованы необыкновенные густые растения, обвивающие своей листвой золотых павлинов, сидящих на головах бородатых царей в тиарах. Ржание и мычание раздаются в этой части лагеря: за спинами коней видны серые хоботы слонов, лохматые шеи верблюдов, изогнутые рога быков, пригнанных через весь Восток за молодым богоподобным Элагабалом, сыном Сэмиас, прекрасным Антонином, великим жрецом Черного Камня и римским императором. Издали доносятся порой рев львов и мяуканье леопардов в клетках.

В полумраке шатра, где на низком треножнике горит, потрескивая, восковая свеча, на желтых подушках, осыпанных громадными аметистами, под об-

тянутым изнутри золотой материей балдахинном на четырех наклоненных пиках, покоится великолепное человеческое существо: гордая голова пятнадцатилетнего юноши увенчана высокой, затканной жемчугами, геммами и золотом тиарой, из-под которой шаловливо выбиваются длинные черные пряди волос и падают на белые женственные плечи, видные сквозь богатую шелковую субукулу, переливчатуго, как перламутр. Раскинув обнаженные ноги, на шкурах пантер лежит Элагабал, открывая взглядам свое рано развившееся тело, которое черный евнух со старческой кожей, белыми зубами и глупо вращающимися белками глаз спокойно обмахивает веером из большого, загнутого на конце листа лотоса. Позади разместились полукругом Алексиан и его мать Маммеа — сестра Сэмиас, и Меза, общая бабушка, с пергаментной кожей, но мягкими чертами лица, которое она иногда обращает к Элагабалу и затем сморщивает с легкой тенью на лбу, покрытому золотой сеткой.

Возле Сэмиас, чья шелковая стола покрыта тяжелой паллой с прямыми складками, скрепленной на плече янтарной пряжкой и испещренной рисунками, алыми, как солнечный закат, зелеными, как глубь лесов, синими, как воды рек, — возле Сэмиас, чьи нервные движения переливают огонь в блестящих украшениях диадемы, венчающей низкое чело этой обуреваемой страстями женщины, — возле нее сидит молодая девушка с ярко-красными губами и тревожными глазами фиолетового отлива, с движениями девственницы, близкой к расцвету; сидит и улыбается, как бы прислушиваясь к своему просыпающемуся от неясных предчувствий лону. В глубине

палатки жрецы Солнца шествуют пред Черным Коносом, высотой с человеческий торс, воздвигнутым на золотом алтаре среди светильников с несколькими лампами, озаряющих углы, заставленные сундуками из ценного дерева с медным орнаментом; персидские маги с длинными завитыми бородами в строгих и царственных одеждах — сараписах — стоят на коленях перед древним изображением оплодотворения.

Когда в светлом пятне между занавесями шатра появились Атиллий и Мадех, молодая девушка вскрикнула, а слегка взволнованная Сэмиас бросила быстрый взгляд в их сторону. В этом шатре, где в удушливом воздухе носился как бы запах человеческой кожи, как бы резкое дыхание людских грудей, смешанное с благовониями, каждый сделал движение: Элагабал приподнялся на ложе, Меза подозрительно наморщила лоб, Маммеа нежно обняла влажной ладонью колено ребенка Алексиана, который, вздрагивая, принял гордую и суровую позу. Соскользнув быстрым движением с подушек, молодая девушка кинулась в объятия Атиллия, который прижал ее к груди. Их ласки длились долго.

— Маленькая Атиллия, нежная сестра, белая, как цветы лилий! Сестра, сестра моя!

— Брат! Мой старший! Я вся дрожу, видя тебя!

Она не перестает целовать щеки и руки брата, обнимает его, трогает его плечи, видя только его одного во внезапном нервном восторге. Элагабал снова невозмутимо опускается на подушки, а евнух продолжает мягко обвевать его опахалом; восковые свечи горят, жрецы Солнца кружатся вокруг Черного Коноса, маги склоняют бородатые лица над опущенной углом вниз треугольной фигурой, Алексиан и

его мать смотрят друг на друга. Меза смягчается постепенно, и грудь Сэмиас высоко поднимается под столой, воздымая тяжелую паллу; взгляд ее больших черных глаз брошен на Атиллия, который в своем халькохитоне имеет величественный вид римского военачальника. Мадех застыл неподвижно у входа, прижав руки к телу.

Снаружи, точно далекий гром среди шума лагеря, доносится звон оружия и ржание коней, страшный рев и голоса зверей, запертых в клетках.

Родственный восторг Атиллия, нервный порыв и буря юной крови стихают в последних поцелуях, в веселом смехе, заражающем и Императора, и его мать, и Маммею с сыном и даже бабушку Мезу; их лица в полутьме, изменившиеся от сильного душевного волнения, озарены почти добротой и очень похожи. Затем сестра Атиллия снова опускается на подушки; под ее бледно-розовой, затканной золотой сканью столой чувствуется изящное движение молодых бедер, вздрагивают на шее золотые украшения, сверкают жемчуга на ее желтой, плоской у носка обуви и волнуются высоко причесанные волосы, вымытые утром и совсем желтые под звездами из аметистов. И Мадех заметил, что она выросла и стала тоньше и что ее белая кожа стала чуть розоватой.

От черноты бровей и ресниц, тщательно обведенных антимонием, ярче выступала ее бледность, рожденная в гинекеях и в тени шатров Императора, которые уже год кочевали с места на место, знаменуя на каждом этапе новое торжество Элагабала и гордое приближение его армии к Риму.

И как в яркой грезе видится Мадеху Эмесс, где она жила и где он знал ее: сады и дворцы с прямыми

террасами; голубые горизонты, оживленные аллеями смоковниц и пальм; алтари, украшенные громадными, как рождающееся солнце, цветами; струящиеся реки с желтыми водами; пятнистая, как мрамор, листва растений. Видятся ему и высокие лестницы, по которым он восходил вместе с прислужницами Сэмиас, храмы с витыми колоннами, шествия увенчанных митрой жрецов, несущих Черный Камень, толпы, распростертые пред юным Императором, рабы и бегущие солдаты, гремящие поднятыми щитами. И ласки мужчин в залах, выходящих в атрии с бассейнами в обрамлении плоских стрелолистников, поднимающихся к небу, точно громадные острия лезвий. Видение глубоко чарующее! О, зачем оно вызывает на глазах Мадеха горькие слезы, ставшие почти наслаждением для извращенной природы юноши, которого Атиллий хотел бы лишить мужских черт, — и это горе он старается скрыть, потому что в его памяти встает на далеком фоне картин Азии, как бы в утешение, доброе лицо Геэля.

Атиллия смотрит на него широко открытыми глазами, покрытыми темно-фиолетовой бархатистой дымкой, и они как будто видят тревожные горячечные сны. Украшенные множеством колец, пальцы скрещиваются на ее округлившись коленях, белизна которых просвечивает сквозь тонкую ткань.

Издали доносятся рыки львов и грозное мяуканье леопардов.

Император говорит Атиллию, — на которого теперь пристально смотрит Сэмиас, — что он назначил его примицерием своей гвардии, так как желает постоянно иметь его при себе и завтра в великолепном триумфе вместе с ним вступить в Капитолий.

Он слегка подносит руку к губам, чтобы сдержать зевок... Заглушая отрывистую команду центурионов, псалтерионы и кифары играют варварские мелодии, в которые врезаются звуки флейт; слышится стук, грохот оружия и ржание коней, а где-то жрецы Солнца падают ниц перед Черным Конусом, как бы подавленные тяжелой дымящейся атмосферой, а маги напевают неведомую мелодию; в пугающей ярости рычат и воют львы и леопарды.

VIII



им пробуждался от тяжелого сна, все еще видя перед собой грубую картину въезда Элагабала. То был колоссальный праздник, пронесшийся над городом в вихре безумия, отвратительное вторжение сладострастной Азии, побеждающей Рим своими нагими женщинами, жрецами Солнца с их сомнительными телодвижениями и юным Императором, которого толпа называла позорными именами.

В банях и в тавернах, под портиками или в тени роstralных колонн — везде вспоминали вполголоса подробности этого торжества, которое продолжалось и на следующий день в оживленных кварталах в виде опьянения, достойного чрезмерной распущенности Элагабала, изумлявшей даже старых римлян, привычных к необузданности императоров.

Все как бы снова видели его с наруганным

лицом, обрисованными, как у идола, бровями, в высокой желтой тиаре, усыпанной опалами, аметистами и топазами, в шелковом длинном одеянии, с длинными висячими рукавами, вытканном невиданными резными рисунками. Он, в священной позе божества, правил колесницей, запряженной шестнадцатью белыми конями, а над ним, на украшенном драгоценными камнями алтаре, возвышался, точно фаллос, Черный Камень с округленной вершиной. Нагие сирианки, со сладострастными движениями бедер, раскидывая руки и ноги, плясали под звуки струн вавилонского асора и трепетание цистр; ряды жрецов Солнца изображали притворный ужас пред мужским объятием; по улицам ездили золоченые колесницы с извилистыми вставками из серебра и слоновой кости, с горящими в курильницах благовониями и парующими в высоких вазах редкими винами; а город запрудили тысячи жителей Востока в развевающихся одеждах без поясов и мягких сандалиях, открывающих нижнюю часть обнаженных и изнеженных ног, и с повязками из пурпурной кожи на подбородках. Толпа сенаторов и консулов шла пешком, распевая гимны Началу Жизни, Черному Камню, отныне изгонявшему своей конкретной символикой человекоподобных богов Запада. Живописность и торжественность события дополняло шествие скованных слонов, леопардов и львов; носилки на плечах черных рабов с волосами в золотых сетках, рэды, скользящие на четырех расписанных изображениями колесах, двухколесные тэнсы, быстроходные, запряженные необычайными животными: дикими ослиами, джигетаями, зебрами и зебу; ярко убранные колесницы, и в них возлежат на подушках шафранного цвета женщины знатных римских родов;

их груди волнуются под льняными субукулами, не скрывающими белизны тела и трепещущих бедер, к которым иногда прикасаются губами мужчины! Толпы жрецов Кибелы бьют в медные кимвалы и ударяют пальцами по барабанам, нанося себе удары в грудь или показывая на себе свежие следы оскотления; жрецы Пана, опоясанные кожей, истязают ремнями женщин, убегающих с криками; египетские жрецы несут Анубиса, бога с собачьей головой; множество музыкантов — мужчин и женщин — играют на разных инструментах, колоссальных и маленьких: на высоких, как колонны, самбуках; на псальтерионах, которые держат на голове; на тибиях с простыми и двойными отверстиями; на флейтах Пана, роговых и железных; на магадисах, тамбурахах, эпигонионах, хеласах, форминксах, кифарах и разнообразных лирах; на палестинских небелах и ассирийских асорах, — все формы, все мелодии, все чары смешиваются в ритмах, которые как будто спорят между собой, но в конце концов сливаются в очаровательной гармонии. Наконец, торжественное шествие замыкается фиглярами и канатными плясунами; юношами сомнительного вида, смуглыми, с широкими бронзовыми кольцами в ушах, ведущими на цепи медведей; африканскими вожаками верблюдов. Бесконечные и шумные толпы, говорящие на всех языках, текут живой рекой по пестрым улицам вокруг Капитолия: англы, германцы, иберы и лигуры, италийцы и либийцы, нумидийцы и эфиопы, даки, греки, филийцы и азиаты; они везде, они появляются отовсюду, опьяненные своей победой над Римом в свите Элагабала, чья колесница движется среди криков, подобных раскатам далекого грома.

Этот триумф все же сохранил внешние военные чер-

ты императорских выездов, настолько сильна была дисциплина даже при политических разногласиях. Впереди, наподобие прежних триумфов, шли энеаторы, трубя в изогнутые рожки; за ними музыканты, играющие на трубах и бронзовых рогах, округленных наподобие больших полумесяцев; далее трубачи со спиральными букцинами. Затем жрецы в белых одеждах вели быков с позолоченными рогами и гирляндами цветов на головах; вместе со своими женами и детьми шли в цепях пленники, отказавшиеся признать нового властителя, и ликторы с обвитыми лаврами связками прутьев, а за ними следовали плясуны в золотых венках, одетые сатирами. Затем — вся армия.

Четко проходили отряды катафрактариев и сагиттариев, манипулы гастариев, триариев и принципов, по краям шли центурионы с бронзовыми значками на груди, а во главе отрядов развевались желтые или пурпурные знамена; ауксиларии двигались тяжелым шагом, с обнаженными мечами, поднятыми щитами, за ними шли легкая и тяжелая конница в железных и медных шлемах, парфянские стрелки и критские пращники со звериными мордами над энергичными черноволосыми головами и, наконец, лагерная прислуга и рабы, погоняющие навьюченных мулов, верблюдов и слонов. Львов и леопардов со скованными лапами подгоняли ударами заостренных палок, и они ревели, делая нервные прыжки из стороны в сторону.

И все это пронеслось в звуках инструментов, в шумных, несмолкающих кличах народа, приветствовавшего Элагабала, — хотя многие его проклинали! — среди ярости некоторых, наносивших удары гражданам, посмевающим не склониться пред Черным Камнем, сверкавшим на солнце, лобзавшим своими

лучами светлые острия пик, желтые борты щитов, синюю чешую брони, золотые древка знамен, врезавшихся смешением своих ярких красок в лазурь неба, неподвижного и строгого.

Весь день эта слава новой Империи была видением перед глазами всех; точно бушующее море, она доходила до храмов, разбиваясь волнами у портиков и на углах улиц, и с торжеством взошла на Капитолий; а под конец без всякого порядка наполнила форум вооруженной толпой мощных тел, источаю запах принесенного с собой разврата. Возмущенные римляне, враждебные Востоку, закрывали лица, а матроны спешили скрыться в домах. За попытку прогнать Императора и остановить шествие Черного Камня преторианский префект Юлиан был зарезан; кровь пролилась уже, и теперь всякий думал, что настал конец Рима, побежденного теми, кого он до сих пор побеждал!

IX



Велабрском квартале, под портиками, открылась цирюльня; складные ставни отодвинулись к окрашенной красным воском стене, и стала видна внутренность лавки с табуретами и скамьями: стальные зеркала на полках, шкафы с косметикой, банки с помадой

и флаконы с эссенциями, вывезенными издалека, по углам куски тканей, в глубине изразцовая раковина, вокруг которой стоят пузатые амфоры со свежей

водой. За поворотом улицы виднелась крыша большого цирка между Авентинским и Палатинским холмами, возвышающаяся над домами, на которых сияли отблески, — точно гигантский шлем, придавленный копытом чудовищного коня.

Граждане волочили свои сандалии по мостовой под немymi взглядами патрициев, гордо облаченных в тунику, украшенную парагаудом, с шелковым цветным шитьем на рукавах, плечах и у нижнего края; иностранцы, останавливающиеся в изумлении на каждом шагу, служили посмешищем для школьников, которые подбрасывали для забавы свои пекалы и дощечки.

Утро окутало все розовато-серой пеленой, соединенной с мерцанием золотистой пыли в отяжелевшем воздухе. И некоторые из прохожих отряхивали свои тоги, вдыхая свежий воздух, который веял с Тибра, видневшегося в узких просветах улиц.

Цирюльник — худой, низкорослый грек с плоским бритым лицом — засучил рукава туники и вымыл свою лавку, не жалея воды. Римлянин, с гладкими на висках волосами, вздернутым носом, бритыми усами и редко встречающейся острой бородкой, держал под мышкой длинный свиток с висячими красными шнурами и, смеясь, смотрел на цирюльника, скалясь неровными зубами. Он оперся о колонну портика и рассуждал громко:

— Ты недостаточно все очистил, грек Типохронос; тут есть пятна, которые могут опозорить твою лавку. И клиенты не захотят больше бриться у тебя. Поверь мне, заставь сверкать, сделай блестящими, как зеркала, потертые фрески твоего потолка.

Тогда цирюльник, откликнувшийся на свое тяже-

лое имя Типохроноса, покачал головой и пробормотал:

— Попробуй сам, потри своими кулаками, чтобы заблестело то, что уже слишком ярко сияло.

Собеседник ответил ему пронзительным голосом, быстро двигая языком, как металлической пластинкой:

— Знаешь, сегодня я хочу прочесть твоим клиентам мою поэму «Венера», и, хотя она уже закончена, я могу все-таки дать в ней место и тебе, описывая ее крылатого сына Амура, если только твоя лавка будет так же чиста, как вода твоих амфор.

— Ну, конечно, — сказал Типохронос. — Я готов на все, чтобы только быть тебе приятным, поэт!

И, постукивая по полу деревянными сандалиями, брызгавшими грязной водой на стены, он стал снова чистить лавку.

Наконец, он закончил работу, привел в порядок скамейки, установил зеркала на полках, выровнял амфоры, и лавка приняла веселый вид. Поэт Зописк опустился на кресло, на греческую кафедру с полукруглой спинкой, покрытой мягкими подушками и служившей предметом восхищения клиентов Типохроноса. Слабый луч солнца, играя пылинками, сверкнул на потолке и, отразившись от него, разбил на поверхности зеркал. По улице шли люди; одни, величественно завернувшись в белую тогу, в сопровождении печальных, облаченных в рубища спутников — богачи со своими клиентами; другие, по двое или группами, по три-четыре, одетые просто, как римские граждане, тихо беседовали между собой, бросая по сторонам быстрые взгляды; бешено мчались всадники в чешуйчатых доспехах, в

таких же, как и их кони, а вслед за ними гнались собаки.

— Атта!

— Зописк? Здравствуй! Привет Типохроносу, который ловко побреет меня, не правда ли?

Это был Атта, христианин Атта. Он уселся после любезного обращения к Зописку и Типохроносу. Последний вспенил гальское мыло наподобие теста, приподнял подбородок клиента и энергично начал втирать пену в шероховатую кожу. Атта заговорил. Зописк небрежно оперся о спинку кафедры, подняв кверху обритую губу и острую бородку, и рассматривал рассеянно потолок лавки Типохроноса, бритва которого свистела, врезаясь своим скрипящим звуком в разговор.

— Видишь ли, Рим имеет основание быть довольным пришествием Элагабала, который есть Антонин. Хотя он и великий жрец Черного Камня, но примет в Капитолии и всех богов наравне со своим божеством, значение которого я понимаю. И хотя этот Черный Камень и не имеет человеческого лица, как Зевс или Дионис и как все наши боги, но все же он, однако, прекрасно олицетворяет великое Все, Космос, в котором живет каждое существо. Не есть ли это Начало Жизни в форме активного мужского элемента? По крайней мере, так я понял моим слабым разумением. Правда, Начало Жизни, обожествленное таким образом, может привести к крайним увлечениям, к ошибкам, которые унижают жалкое человеческое существо, каким являемся мы все, — и ты, Зописк, и ты, Типохронос и я, Атта, и многие другие! Именно так говорили вчера римляне, любящие своих богов и вовсе не любящие Черный Камень,

хотя это огнюдь не означает вражды к Императору! Я попрошу вас не искажать смысла моих слов и не приносить их к ногам Элагабала с лукавой мыслью. Вчера я рукоплескал при въезде Императора, и его триумф вызвал у меня радостные слезы!

Он говорил медленно, осторожно и очень серьезно под белой пеной черного мыла, которую снимала бритва Типохроноса, со скрипением удалявшая волосы с его лица. Атта не признавался, что он христианин, но и не отрицал, и, обходя этот вопрос молчанием, старался совместить все, когда говорил о богах. Но насмешливый Зописк погладил рукой, державшей свиток, свою острую бородку и, подняв другую руку, щелкнул двумя пальцами.

— Да, ты плакал, христианин, — сказал он, — а один из твоих братьев бросился под колесницу Элагабала и был раздавлен!

Атта сделал движение. Типохронос обрезал ему худую щеку, и струйка крови потекла по его подбородку.

— Я — христианин? Ты преувеличиваешь, поэт; я только бедный друг учений Крейстоса, или, вернее, учений Востока, где он родился. Но, в особенности, не говори другим об этом: я люблю богов, а Крейстос — бог, так же как ты — приятный поэт, а я — скромный гражданин.

Он болтал, смеялся, в глубине души недовольный тем, что Зописк знает, что он христианин, но не смеет ни признать, ни отвергнуть Крейстоса. Он ходил к Типохроносу для того, чтобы сойтись с его клиентами, из которых некоторые были очень богаты; один египтянин, недавно прибывший в Рим, казалось, слушал его со вниманием. И, если Атта был паразитом-

приживальщиком, то и Зописк также. Поэтому какая ему польза в том, что он признает веру в его присутствии, тогда как тот может повредить ему в глазах клиентов? Но Зописку рассердился и, воспользовавшись заминкой Типохроноса, поднявшего руку с бритвой, сказал:

— Ты боишься и лжешь, старый лицемер! Всякий знает, что ты присутствуешь на собраниях христиан. Почему же не признаться в этом мне, если я и так все знаю?

Атта принял таинственный вид. Он поджал губы, под его глазами образовались тревожные складки. Озабоченно оглядевшись по сторонам, он низко наклонился к Зописку и проговорил, в глубине души надеясь, что слова его станут известны кому надо:

— Новый Император будет мне за это благодарен, поверь мне! Ему нужны уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть все, что делается в его Империи.

Типохронос осмелился вмешаться:

— Да, рассказывали о каком-то старом христианине, которого схватили солдаты, а затем отпустили по приказанию Императора. Он наносил опасные оскорбления Элагабалу. Имя его мне неизвестно.

— Его зовут Магло, — сказал Зописк. — Это гельвет и так же, как и Атта, он христианин.

Он нападал на Атту, желая повредить его доброй славе, чтобы не иметь соперника среди клиентов цирюльника, ожидавших каждую минуту. Тогда Атта, заносчивый по отношению к бедным христианам, скромный и вкрадчивый перед знатными гражданами, быстро вскочил; широкий порез у ноздрей покрыл красным пятном его лицо:

— Магло! Магло!

Он повторял это имя с явной боязнью преследования, которое могло перейти с Магло на его худую и спесивую особу, чему немало способствовала его принадлежность к христианской общине. Он хотел узнать, почему Магло едва не убили, а затем отпустили, и Зописк рассказал ему об этом как очевидец происшествия. Как известный всюду популярный поэт, он бежал к Капитолию навстречу Элагабалу и нес в руках свиток, свою поэму «Венера», желая посвятить ее Божественному. В это время старец, взобравшийся на трибуну, призывал на Рим проклятье божества и молил Крейстоса христиан стереть с лица земли следы мерзостей Черного Камня. Стечение народа вокруг него привлекло Зописка и помешало ему добраться до Элагабала, который, конечно, охотно прочел бы его поэму. Но солдаты разогнали толпу ударами копий, мечей и поясных ремней и, схватив Магло, повлекли его к Элагабалу.

— Его отпустили, потому что он был христианином. Как говорят, новый примицерий преторианцев повлиял при этом на Императора!

— Этот примицерий — патриций, прибывший с Востока, по имени Атиллий? — спросил Типохронос.

— Да, Атиллий; так называет его народ, — продолжал Зописк. — А вот как я узнал, что ты христианин, — сказал он Атте, который, слушая поэта, сделал кислую гримасу. — Магло проходил мимо меня и восклицал: «Я христианин, другие тоже христиане, но они не со мной. Я ненавижу Элагабала, хотя он не сделал мне никакого зла, но Заль любит его и Геэль также. Правда, Атта оспаривает меня и видит в Крейстосе единое лицо, а я — три лица. И никогда я не буду заодно с Аттой, так же как не буду

с Геэлем и Залем! Мой Крейстос есть мой Крейстос, а не их!».

Трое вновь пришедших загородили вход в лавку. Типохронос оставил Атту, который пошел мыться к раковине, в глубине комнаты. Даже Зописк, голос которого сделался звонко торжественным, встал, все еще с рукописью в руке, и поцеловал края дипломов пришедших.

— Привет тебе, чужеземец с берегов Нила! И также вам, чье рождение видела Греция, мать Муз!

Льстиво он унижался перед Амоном и греками, которые каждое утро заходили к Типохроносу, чтобы узнать события предыдущего дня. Очень скупые и платившие только для виду, греки довольствовались тем, что душили свои волнистые роскошные бороды. Этого не требовалось для круглого лоснящегося лица Амона, опущенного только редкими выющимися волосами, как у метиса от египтянки и эфиопа. И он стал жертвой безжалостной жадности цирюльника, который неутомимо покрывал его лицо благовониями, натирал всякими помадами и мазями, — и все это с большой торжественностью, которая нравилась Амону, хотя и дорого ему стоила.

Он приказал почистить себе ногти и натереть голову египетской эссенцией, очень довольный тем, что Зописк вертится возле него. Быстро оставив в покое Атту, который после бритья сидел на скамейке, положив одну ногу на другую, паразит Зописк усердствовал возле Амона, угадывая в нем меньшего скептика, чем Аристес и Никодем. В настоящий момент он инстинктивно желал хорошего обеда, который Амон мог предложить ему, что-нибудь вроде трапезы из вареного щавеля, грибов, сардин и яиц, —

и это надо было завоевать, прежде чем египтянин выйдет из рук цирюльника вымытым, надушенным и польщенным.

Зописк не думал больше об Атте; он даже презрительно повернулся к нему спиной, худой спиной иногда голодающего поэта. Он говорил Амону:

— Видишь ли, чужестранец, я хотел бы быть твоим рабом, ибо большую доброту я вижу в твоём лице и высокий ум в твоих глазах. О, почему у меня нет такого учителя, который указал бы мне путь Муз и помог бы избежать терний!

Амон улыбался, поворачивая голову под руками Типохроноса и обнаруживая во всей широте и блеске своей луноликости доброту лица и ум глаз. Но Никодем, завладевший греческой кафедрой, сказал:

— Эй, поэт! Он может тебя купить в качестве раба, только он. Ты будешь прислуживать ему, натирать его эссенциями, и Типохронос потеряет своего клиента.

Цирюльник стал энергичнее натирать Амона, голова которого ушла при этом в плечи, отчего полосатый дипломс громко зашуршал, а по лицу египтянина прошла нервная судорога, — так проявлял Типохронос свое недовольство и огорчение тем, что Амон не будет больше его клиентом.

— Я предоставляю эту обязанность Типохроносу, — ответил Зописк заискивающим голосом, — но я буду читать ему поэму о Венере.

— Амон предпочитает гимны Серапису, — заявил Аристес, высовывая язык перед зеркалом.

Тогда Атта встал, очень недовольный инициативой торговца чечевицей и обеспокоенный тем, что о нем забыли. Он чувствовал голод. Утро уже на

исходе, и надо поймать какого-нибудь щедрого гражданина, который пригласил бы его на дневную трапезу, о чем мечтал и Зописк. И если в кругу христиан, погруженный в апологетику, он казался свободным от всяческих материальных потребностей, то совершенно иначе держал себя с политеистами, которых преследовал своей навязчивостью. Тихо дернув Амона за край диплойса, он сказал:

— У тебя отличный язык. Я отчасти врач, поверь мне! Я раньше учился врачевать людей.

В действительности ничего подобного не было. Атта не был врачом, но что только бы он ни сделал, чтобы войти в милость такого иностранца, как Амон? Поглощенный мечтой о трапезе, он в этот момент забыл и о своей религии, и об ужасном Зале, и о христианах, собирающихся у Геэля. Но Зописк, одной рукой дергая свою острую бородку, а другой потрясая свитком, воскликнул:

— Серапис, Изиды, Тифон, Атотис, Апис, Суд-Ану, Фата, Кнеф, Гор, Ма, Ра, Нум, Зом, Невтис, Апепи! Я знаю всех божеств, Амон; я могу воспеть их на новый лад в асклепиадических, гликонических и фаллических стихах. Я могу вызвать их чередой под звуки тамбурахов, подобно жрецам этих богов, которых я всегда почитал!

Внезапно испугавшись, что Зописк завладеет Амоном, Атта поцеловал его сандалию из желтой кожи, скрепленную зеленой перевязью. И вступил в соревнование:

— Амон! Ты носишь имя единственного бога, превосходящего всех богов! Амон! Твое имя приносит тебе счастье, я это вижу по твоему цветущему лицу. Ты слуга Сераписа, но ты поклоняешься единствен-

ной мировой силе. Такова и моя вера! Я не только христианин, как скажет тебе этот поэт, но и поклонник Амона с рогами овна, он есть также и Зевс, и Митра, и Ваал, и Явех. Мы сходимся с тобой.

Он надеялся угодить торговцу, признавшись в своем христианстве под маской божественного Единства, так как если бы он высказался иначе, то Зописк, которого он оглядывал теперь с презрением философа и высшего учителя, не преминул бы обличить его и таким образом лишил бы обеда. Типохронос чистил ногти Амона и слегка щекотал ему, как это обыкновенно делают куртизанки, ладонь и между пальцами. Египтянин блаженствовал.

Перед лавкой собралась толпа. Юноши и молодые девушки, почти нагие, с непристойными движениями бедер, и облысевшие индивидуумы, нетвердые на ногах, с темными кругами под глазами от изнуряющих пороков, толкались у входа, дерзко разглядывая иностранцев и делая им знаки рукой, как будто зазывая для прелюбодеяния. Типохронос закричал на них, они умчались с потоком скверной брани, но Атта, добродетельный в глазах всех христиан, кроме Заля, успел свирепо ущипнуть за ногу одного из этой стаи.

Пока греки в свою очередь проходили через руки цирюльника, Зописк развернул свой манускрипт перед изумленным Амоном. В тесной лавке появились другие клиенты. На одних были белые тоги, один конец которых был наброшен на негодующие головы, а другой стягивал стан, покрытый испариной; туники других опоясывались выше толстых животов, и в пышных складках одежды хранились мелкие принадлежности личного обихода: ассы и квинкунксы, свертки ниток и наперстки, даже маленькие оловянные

зеркальца с короткой ручкой. Пришли двое домовладельцев с Палатинского холма, богатый банкир, владелец, как говорили, тысяч рабов; несколько торговцев квартала и фабрикант лампад, все давние клиенты Типохроноса, приходившие не только бриться, причесываться, душиться и чистить ногти, но также узнавать новости, так как эта лавка служила местом свидания праздных болтунов квартала.

Все жестикулировали и говорили очень оживленно, складки их туник и тог колыхались:

— Это конец Рима, это смерть наших богов! Римский народ не потерпит такого кощунства. Перенести наши священные Щиты, Палладиум и Огонь Весты в храм сирийца! Рим не переживет этого!

Они кричали, закрывая лица, показывая кулаки, толкаясь о стены или наступая друг на друга, как бараны, с озлобленными глазами, приподнимаясь на носках своих плоских сандалий и беспомощно опускающая руки. Зописк и Атта подошли к этой толпе и начали сильно пихать локтями одних и судорожно дергать за края одежды других. Амон, разинув рот, силился понять что-либо в этой кутерьме, а греки явно получали удовольствие. Они забавлялись, восхищаясь движениями и криками, и посмеивались в свои длинные и волнистые агатовые бороды.

Как бы для усугубления негодования клиентов, улица наполнилась людьми; послышались глухие раскаты барабанов и тимпанов, рев животных, резкие крики, топот людских ног и лошадиных копыт, — а над всем господствовали острые звуки железных рожков, к которым присоединялся варварский гимн в беспорядочном ритме, и зеленые, желтые краски улицы, плохо сочетающиеся под латинским небом.

Медленно двигалась в светлых лучах солнца процессия, и во главе ее колесница Элагабала, восседающего на золотом троне, положившего ноги на золотую скамейку: он был весь в золоте, раскрашенный, нарумяненный, пышно увенчанный тиарой, величественный, как верховный жрец. А над всеми господствовал Черный Конус.

Х



Процессия медленно прошла пред глазами ошеломленных клиентов Типохроноса. За увенчанными митрами жрецами Солнца шли салийцы в вышитых туниках и в тогах-претекстах, с медными поясами и в остроконечных шапках; держа в правых руках мечи и повесив на них священные щиты, они плясали пиррическую пляску. Понтифики в окаймленных пурпуром одеждах и войлочных головных уборах потрясали легкими жезлами, на конце которых был апекс — клочок шерсти. Они окружали изукрашенную слоновой костью и серебром колесницу; на ней был Священный Огонь, хранимый в бронзовом сосуде, и Палладий — прекрасная большая статуя Минервы в щитке, с бирюзой в глазных впадинах, со шкурой козы Амальтеи на груди, с копьем и щитом в руках; в середине щита — голова Горгоны с змеевидными волосами.

Были также и посвященные Пана, и галлы Ки-

белы вместе с жрецами Изида, которая могла объединить в своем лице всех богинь, так как, многогрудая, она олицетворяла Природу и ее силы; затем авгуры в трабях с багряными полосами, узнававшие будущее по полету птиц; аруспиции, предвещавшие судьбу по внутренностям убитых животных; септемвиры, устраивавшие публичные празднества согласно священным ритуалам; солдаты, поклонявшиеся умершим императорам; наконец, последователи всевозможных религий, соперничающих в Риме. Тут же вели украшенных гирляндами из листьев быков, баранов и овец, которые с мычаньем и бляньем бодро шли на заклание.

Вслед за Элагабалом, медленно и сладострастно покачиваясь, двигались несомые шестнадцатью рабами широкие носилки, в которых возлежали две женщины. Разноцветные ткани и полосатые завесы, украшавшие эту лектику, волновались в дыме благовоний, курившихся в огромных вазах по четырем углам носилок. Процессию замыкали преторианцы, сиявшие золотом и ударявшие золотыми копьями о золотые щиты; всадники, много всадников разных родов войск; сагиттари с высоко поднятыми луками; катафрактари, покрытые броней из подвижной чешуи; skutарии, потрясавшие продолговатыми щитами; африканские варвары, сидевшие на конях без чепраков и стремян под сенью вертикальных знамен, увенчанных снопом сена, рукой или животным, петухом, кабаном, орлом или волчицей. Шествие сопровождала собравшаяся со всех сторон толпа, шумная, необъятная и все более растущая.

— Ты узнаешь их? — внезапно спросил египтянин

Никодема, — узнаешь ты Атиллия и его вольноотпущенника?

И, желая все видеть, нисколько не возмущаясь кощунством Элагабала, он собрался покинуть греков, цирюльника и его клиентов. Но Атта и Зописк после минутного колебания схватили его за край дипломса.

— Ты не знаешь Рима; я провожу тебя!

— Я буду твоим защитником, проводником и опорой!

Они кричали среди шумных звуков песен, инструментов, человеческих голосов, сливавшихся с ревом железных труб и стремительными мелодиями лир, цистр, тимпанов и сиринксов. Огромная толпа, точно все покрывающее море, увлекла их к храму Солнца на Палатинском холме, куда Элагабал задумал перенести Священные Предметы, отнятые у римского культа, до которых в течение веков не смел никто коснуться! Толпа уносила с собой египтянина и его спутников. Пред ними были сплошь спины и спины рабов и плебеев, а за ними груди, сдавленные в свою очередь плечами; и все двигались, изредка видя только острия копий, шлемы всадников и головы коней, останавливаясь посреди форумов, окаймленных высокими домами, из окон и с крыш которых неслись клики людей, в то время как Элагабал на своем сверкающем троне решительно являл всем святыню Конуса Жизни.

Амон пожелал увидеть вблизи Мадеха и Атиллия, и тогда Атта и Зописк, взяв его под руки, в несколько минут пробились сквозь толпу, которая отвечала им ударами, и нагнали шествие. Теперь можно было лучше видеть Атиллия во главе отряда катафрактариев, покрытых чешуйчатой броней, так же как и их

лошади, а позади их Мадеха верхом на черном коне. С того расстояния, на каком Амон и его спутники наблюдали вооружение Атиллия, его шлем и синий развевающийся плащ и желтую с белым митру Мадеха, золотые украшения у ворота и блеск его ниспадавшей одежды с яркими полосами и необычными рисунками, — все это сливалось в ослепительном блеске.

Рядом с египтянином бежал человек из народа, краснолицая голова которого с вьющимися волосами беспокойно дергалась то вперед, то назад. Иногда он обгонял его, углублялся в толпу, опустил голову и заложив руки назад, затем возвращался, приподымался на пальцах ног, обутых в грубые сандалии, и, прикладывая руку к глазам, кричал непонятные слова. Затем мужчина останавливался, как бы потеряв энергию, в испарине и ознобе, потом снова углублялся в теснившую его толпу. Очевидно, он тоже хотел приблизиться к одному из участников церемонии, видеть его, говорить с кем-то из следовавших за Элагабалом. Этот краснолицый человек сильно толкнул Атту, который, узнав его, попытался увести Амона подальше, но тот его немедленно окликнул.

— Брат мой, Атта, зачем ты избегаешь меня?

То был Геэль, помятый в толпе и усталый; он старался привлечь к себе Атту, боясь в то же время, чтобы тот не потерял Амона, увлекаемого в другую сторону Зописком.

— Я не избегаю тебя, Геэль! Напротив, напротив!

И он ловко увернулся от Геэля, который просто душно сказал:

— В свите Императора есть человек моего племени, друг моего детства, который будет нашим за-

щитником, если язычники пожелают нас преследовать. Мы положимся на него. Император оставит нас в мире и даже поставит изображение Крейстоса рядом со своим Черным Камнем, который для него есть символ жизни.

— Проклятие! — крикнул Атта, поднимая руки и приближая к смущенному Геэлю свой выдающийся подбородок и лицо, искаженное суровой складкой у челюстей. Для Геэля, как друга Заля, пришедшего также с Востока, было вполне допустимым поклонение Крейстосу по соседству с Черным Камнем, которому поклонялся Мадех и которого обожествлял Элагабал. Но Атта продолжал возмущаться, однако, без особой опасности лишиться обеда, так как его негодование, заглушаемое шумом толпы, не долетало до Амона и Зописка. Говоря все увереннее, он принял горестный и одновременно угрожающий тон:

— Зачем ты следуешь за этим шествием нечестия?

Он обращался к Геэлю, как и ко всякому простому христианину, свысока. Для Геэля, видевшего Атту лишь на собраниях, где тот толковал трудные места из учения Крейстоса как суровый и благочестивый догматик, другая сторона его жизни оставалась тайной. Скромные бедняки, а к ним принадлежал и Геэль, едва осмеливались заговорить со своим строгим наставником. Однако этот вопрос настолько не вязался здесь с присутствием самого Атты, что Геэль твердо ответил:

— Но и ты также следуешь за шествием. Я хочу поговорить с Мадехом, с моим юным братом Мадехом, которого я видел только один раз со времени его приезда в Рим вместе с Элагабалом.

Атта сделал негодующее движение и неосторожно отпустил руку Амона, которого окончательно увлек Зописк. Их разделила волна груди, волна плеч. Оба христианина, оставшись рядом, посмотрели друг на друга почти с ненавистью, легко возникающей между богатым и бедным. А в это время в толпе на миг показался свиток с красными висячими шнурами, которым Зописк махал над головами в знак своего откровенного торжества.

Как хотел бы Геэль попросить Мадеха остановиться и взять его с собой! Но все время раздавалось пение жрецов, топот лошадей, восклицания толпы, усиливающиеся звуки инструментов: пронзительных флейт, волнующихся арф, ударяемых кривыми палочками тамбуринов, звенящих цистр, трескучих кротал, — звуки, сопровождавшие движения обнаженных рук и груди! Продолжалось непоколебимое шествие Элагабала; его лицо, ровно раскрашенное, в золоте, киновари и белилах, было похоже на лик идола с тонкими чертами, будто выбитыми на медали; прославляемый Черный Конус был подобен фаллосу, превознесенному в безмерном поклонении! Этот Конус господствовал над всем, гордо и властно врезаясь своими очертаниями в голубое небо и призывая толпу к поклонению культу реальной Жизни.

И если бы даже Геэль крикнул, то Мадех не услышал бы его! И не только из-за шума толпы! А еще и потому, что Мадех был счастлив, шествуя рядом с Атиллией, возлежавшей рядом с Сэмиас в ее лектике, которая останавливалась через каждые сто шагов для смены шестнадцати рабов новыми. Тогда глаза Мадеха встречались с мечтательными глазами Атилли, оттененными нежной краской ли-

ца и черными линиями бровей. Его странно взволнованный взгляд скользил от ее глаз к груди, которую красиво окаймляла золотистая цикла, прозрачная, как искрящаяся радугой вода; затем останавливался на белом пышном бедре, перехваченном браслетами с драгоценными геммами, нескромно выглядывающим сквозь разрез ее циклы. И долго еще ему грезились этот сладкий, так странно протекший час, и, смутно вспоминая церемониальные подробности, он беспокойно признавался себе, что был очарован только ею. Только она одна заполняла его мысли!

XI



езумная мечта Атиллия, замена культом Черного Камня всех богов, населяющих небеса других народов, стала осуществляться с тех пор, как Элагабал назначил примицерием этого властителя Мадеха и брата Атиллии. Культ жизни через обожание Черного Ко-

нуса, смешение полов, или еще хуже — однополое смешение, приняло определенные формы после таинственных бесед Атиллия и Элагабала в одной из зал Дворца Цезарей, где обитал теперь примицерий со своим вольноотпущенником, чтобы всегда быть на службе Императора. И об этих беседах говорили с некоторым ужасом, предвидя общий переворот в религии Империи, окончательное обожествление единого Черного Камня, которого так страшились,

и, наконец, позорное торжество Востока над Западом, торжество обычаев, противных непреложным законам жизни, ныне отклоненной от своего предназначения. И Атиллий поражал Рим и всех тех, кто наполнял дворец, — в белых и пурпурных тогах и паллиумах, широких одеждах и высоких, в виде конуса прическах, митрах, усыпанных драгоценными камнями. Он возвысил себя над всеми, он удивлял всех неподвижностью губ и безразличным выражением глаз, — хотя казалось, в нем горит сильная душа, — и в особенности бледным лицом, едва обросшим короткой, острой бородкой с отблеском темного золота и запечатленным эгоизмом великой любви, неизвестно к кому: всецело ли к Мадеху, чья грациозная тень постоянно следовала за ним, или отчасти к человечеству, интимные влечения которого он хотел бы изменить.

Много также говорили о Сэмиас, матери Элагабала, высокорослой, прекрасной, но слабой властительнице Империи, дарившей свое внимание евнухам и возницам сына, его консулам, трибунам, патрициям, префектам и военачальникам. Когда она проходила по императорским залам, по прекрасным, окруженным колоннами вестибюлям, по кубикулам — покоям, в которые свет проникал издали, по атриям, по садам с рядами деревьев, неподвижных под чистым, спокойным и глубоким латинским небом; когда в сопровождении свиты женщин в свободных фиолетовых и голубоватых столах, она проходила мимо рядов гладиаторов и преторианцев, то как будто проносилось веяние ужаса: люди отступали и преклоняли колени. И эротическая наследственность этой матери, наполнившей мир преступлениями, расцвела теперь, точно алый цветок с

кровавыми лепестками, в неистовых приключениях, в нервной разнузданности, как будто обряд жизни, выраженный поклонением Черному Камню и свободой полов, нашел свою жрицу в лице Сэмиас, ненасытной в удовольствиях и опьяненной жаждой власти. Рассказывали о ее внезапных исчезновениях вместе со своими женщинами и даже о страшных находках — о прохожих, встреченных в пустынных улицах и убитых ею после того, как она им отдалась.

Однажды, когда Атиллий заперся с Императором, а Мадех ждал его в перистиле, украшенном огромными канделябрами из массивного серебра, где молодой и красивый вольноотпущенник Гиероклес играл в кости с Протогеном и Гордием — возницами, черная старуха, эфиопка, взяла Мадеха за руку и отвела через покои, озаренные голубым сиянием дня, в одну из кубиков гинекея, доступного только мужчинам, посвященным, как и он, однополой любви. Молодая девушка сидела на изукрашенном черепаховом стуле, в то время как ее причесывали и раскрашивали.

Атилия!

Мадеха охватила легкая дрожь, зародившаяся в глубине его существа. Одна рабыня погружала густые волосы девушки в желтую эссенцию, в шафранную воду; другая покрывала розовой пастой ее лицо, которое оживлялось, как утренняя заря. Третья держала перед ней стальное зеркало с ручкой, изображавшей нагую Венеру, ноги которой переходили в листья аката. Низкий столик на трапезофоре — подставке с шеями различных животных — был уставлен синими банками с помадой, коробками с золотой и серебряной пудрой для волос; там же лежали пурпурные и фиолетовые ленты и еще целый арсенал

припасов женщины, посвящающей себя сладострастии: щипцы, ножницы, гребни, фиксисы, алавастры с благовониями.

Отдернутая завеса открывала в глубине другого помещения, в полумраке, мраморную ванну, наполненную водой молочного цвета.

Мадех не знал, что сказать, и ждал, чтобы с ним заговорили. Атиллия бросила на него взгляд, и в фиолетовом блеске ее глаз виделся вызов молодой здоровой особи, готовой отдаться самцу. Со дня встречи в палатке Элагабала, казалось ему, она стала выше и тоньше, а лицо красивее, оттененное кругами в уголках глаз, с тонким подвижным носиком с розовыми ноздрями. Он угадывал под густой краской ту же бледность, как и у Атиллия.

— Я позвала тебя, чтобы ты меня видел, — говорила она, вперив в него взгляд. Она находила приятной его наружность, слегка женственную, с той восточной негой, которую так хорошо оттеняла его желтая с белым митра со сверкающими аметистами, его повязка, кайма с филигранными украшениями на его одежде. В особенности казались привлекательными странная змеистая легкость его почти пляшущей походки и движения его бедер, менее заметные, чем у других жрецов Солнца, но все же вызывающие странные мысли. Она тихо смеялась, приоткрывая розовый бутон губ и, обнажая правильный ряд зубов. Она обращалась с Мадехом, как с ребенком, перед которым не надо таиться.

Прислужница причесала в форме шлема ее волосы, отливавшие цветом желтой бронзы и матового золота. Затем она окружила конусообразный верх прически нитью жемчужин. Другие женщины гладили ее обна-

женные до плеч руки пемзой, чтобы придать белизну коже и уничтожить нежный пух. Одна из служанок вдела в ее уши тяжелые золотые украшения со сверкающими алмазами, окруженными сардониксами. Атиллия встала и, пока прислужницы несли ей фиолетовую циклу с пурпурными каймами, сбросила с себя нижние одежды; и Мадех увидел ее полностью обнаженной. Но она не казалась смущенной.

Вернулись служанки и начали ее одевать. Он любовался трепетом ее юных грудей, округлившихся под стягивающим их поясом, томной медлительностью движений и легким покачиванием бедер, говорящем о страстном желании. Но тут, громко рассмеявшись, Атиллия вдруг велела ему выйти. Этот смех несколько не обидел Мадеха — он звенел в нем, как чистые звуки золотой цистры. И это было все, что сохранила память юноши.

XII



Мадех гарцевал рядом с носилками, стараясь уловить звук голоса Атилли, когда их глаза встречались. Она и Сэмиас лежали на подушках, сквозь полуоткрытые циклы видны были их голые груди и бедра, на головах — смелые конические прически, убранные

жемчугами и драгоценными камнями. Иногда они скрывались за колеблющимися плечами носильщиков, затем снова появлялись, и сквозь дым благово-

ний, струившийся с четырех углов носилок, между развевающимися завесами, они казались сладострастным видением.

Мадех очень любил Атиллию в такие минуты, его влекло к ней еще неясное в его почти бесполом сознании эфеба чувство, но в нем, уже с детства посвященном Солнцу, Черному Камню и мужской любви, не рождалось ни ревности, ни желания. Он был почти того же пола, что и Атилия, так как, подобно женщине, принадлежал мужчине.

Весь поглощенный радостью, что он рядом с нею, эфэб ничего не слышал и ни на что не обращал внимания. Один раз, неожиданно, Геэль крикнул:

— Мадех! Брат! Мадех!

Но этот голос затерялся в шуме шествия. Процессия поднялась теперь на улицы Палатинского холма; отсюда видны были бело-желтый фасад форума, плоские высоты Аркса, крепость Капитолия, куда по широкой лестнице восходил народ; множество храмов и зданий, арок, симметрично воздвигнутых одна против другой, портиков, под которыми оживленно бродили люди, базилик и, наконец, Грекостатис, где принимали посланников чужих стран, в основном греческих послов. Форум, точно муравейник, был полон движения людей в тогах, туниках, паллиумах, диплойсах, с обнаженными головами или в конических колпаках, шляпах с опущенными полями, египетских калантиках, в турулах из ярких тканей, похожих на чалмы, в тэниях, поддерживающих возле лба дубовые ветви или ленты. Эти люди снизу следили за процессией, поднимая головы, широко раскрыв глаза, выставив животы, раздвигая

нув ноги и вытянувшись, чтобы лучше видеть, как шествие разворачивается и исчезает за грудой домов квартала. И в последнее мгновение пестрый блеск этой процессии, увенчанный тиарой Элагабала, показался им дивным орнаментом, украсившим кусочек синего неба.

В середине быстро наполнившейся людьми площади возвышался белый, круглый с колоннами храм Солнца с кровлей, обнесенной украшенными фризами. Геэль и Атта видели, как поднялись по ступеням Император, Сэмиас и Атиллия, жрецы Солнца и божеств всего мира, носители священных предметов, Атиллий и Мадех, затем жертвенные животные, гонимые солдатами; а кони, рабы и множество народа толпились на площади, наполняя все углы.

— Я не увижу его, я не буду с ним говорить, — простонал Геэль.

Атта многозначительно сказал ему:

— Будь терпелив; терпение — одна из добродетелей Крейстоса.

А сам он теперь беспокойно смотрел вокруг, надеясь увидеть Амона и Зописка. Солнце в это время стояло высоко в небе, Атту мучил голод, а обед был безвозвратно упущен!

В храме звучал высокий юношеский голос, сопровождаемый медленным ритмом пения жрецов, как бы взывающих к Черному Камню. Незнакомый язык красочными переливами гимнов таинственно молил о безумной любви, приводя в ужас праведных римлян, поклонников западных богов. Затем раздался жуткий рев быков, баранов, овец, отданных на заклание. И над шумом страшной бойни и кошмаром крови по-

бедно неся свежий, чистый, кристальный, полный чарующих оттенков голос Элагабала, кому поклонялись, как живому богу Солнца.

Открылись бронзовые двери, украшенные золотыми гвоздями, кровь потекла по ступеням змеящимися струями, обливая землю, — и все отшатнулись назад. А внутри — огни факелов и сверкание митр; и под тканями балдахина, поддерживаемого наклоненными копьями, Элагабал ниспосылал благословение Черного Конуса; на нем было пурпурное одеяние с широкими рукавами, отягченными рубинами, хризолитами, аметистами, топазами, изумрудами и жемчугами, с тяжелыми складками облачений, падавших на его белые ноги.

За ним — Сэмиас и Атиллия сидели на складных греческих окладах; вокруг, в глубине стенных ниш, плясали жрецы под звуки маленькой флейты и низкого барабана; посредине, на особом возвышении, издыхали животные.

Настала великая тишина! А вскоре Элагабал со своего сияющего трона дал знак к возвращению и исчез в блеске драгоценностей. И под палящими лучами, заливавшими улицы своим белым светом, началось обратное движение людей и коней, шествие жрецов, преторианцев и музыкантов, горделивых в своих одеждах и вооружениях, шествие всей пышной свиты, среди которой покачивалась, как широкая ладя, лектика Сэмиас и Атиллии, сопровождаемая Мадехом, и во главе шествия — Атиллий, впереди отряда катафрактариев, с мечом в руке.

Мадех снова проехал мимо Геэля; даже черный конь его фыркнул над курчавой головой гончара,

который окликнул вольноотпущенника. Но тщетно. Почему Мадех забыл его? И, повернувшись к Атте, смущенный Геэль воскликнул:

— Что я сделал ему, моему брату Мадеху, что он не хочет слышать меня!

Атта не ответил. Он исчез, увидев в толпе любопытных костлявые плечи, похожие на плечи Зописка. И, действительно, Зописк был в нескольких шагах. Он не отпускал Амона, цепляясь за него и рассказывая ему про таверну на Эсквилинском холме, где египтянин найдет трапезу, — теперь уже несомненно, — из вареного щавеля, грибов, сардин и яиц, а также жареную рыбу, сочные лепешки, хорошо приправленное сало, изысканные вина и даже красивых юношей, которых воспевали знакомые ему поэты. Амон был голоден и чувствовал себя потерянным в Риме, с которым еще не успел ознакомиться со дня своего приезда. И он кивал головой в знак согласия, когда вдруг с необычайным проворством раздвинув толпу, Атта схватил его за край диплойса.

— Идем обедать, я поведу тебя к Капитолию. Нам дадут щавеля, капусты, грибов, сардин и яиц!

Но Зописк, разъяренный, ворчал, таща Амона за локоть:

— Пойдем со мной на Эксвилин! Рыба, оладьи, сало, вино, подслащенное медом!

— Там будет блудница Антистия. Пойдем! — угрозовал Атта.

— Красивые мальчики. За мной! — в свою очередь звал Зописк.

Так, захлеб перебивая друг друга, они расписывали ему прелести предстоящего обеда, надеясь и

сами воспользоваться ими. Но Амон, забавляясь, только оглядывал их поочередно, — он не совсем хорошо понимал их, но как добрый человек решил никого не обижать:

— Я пойду за вами! Ведите меня в таверну, которая ближе к моему дому!

Тогда Атта и Зописк смягчились. Среди расходившейся толпы они, как добрые друзья, взяли его каждый под руку, в то время как Геэль, оставшись один, лепетал горестно:

— Что я сделал ему, моему брату Мадеху, что он не хочет слушать меня? Я попросил бы его, чтобы Император поклонялся Крейстосу, а не Черному Камню, и я стал бы рассказывать ему про берега Евфрата, где мы жили вместе!

ХІІІ



акутанный в полосатый дипломс, облежавший его толстую фигуру, и в калантике, ниспадавшей ему на уши, как два широких листа, Амон медленно спускался по Субуре, посещаемой рабами и гостями проституток, кровати которых, сделанные из циновок, виднелись через плохо задвинутые занавеси. Круто спускаясь к Новой улице, Субура скрывалась за Vicus Teacus против форума и оставляла в стороне дворцы, термы, сады и арки, всегда оживленные толпой, в которой встречались, жестикулируя и крича, нуми-

дийцы, евреи, индусы, кельты, иберийцы, — словом, человеческие существа трех материков.

Амон шел издалека, из Эксвиллинского квартала, куда завел его Зописк, подружившийся с ним со дня церемонии в храме Солнца, месяц тому назад. В этот день он разрешил себе небольшой загул вместе с поэтом, тонкий обед в хорошей таверне, где им подали осетра и миногу, миндальное печенье, нежную ионийскую куропатку, — настоящую редкость, — вина из Альбы, дистиллированные посредством голубиных яиц, и вина с острова Лесбоса на Эгейском море. Зописк напился и его отнесли полумертвым в его жилище, а Амон ушел один, унося в голове винные пары, а в желудке тяжесть кушаний.

Он ни о чем не думал и только бессознательно шел вперед с тайным желанием, чтобы его позвала какая-нибудь блудница, хотя он и стыдился этой слабости.

В дни своей бедной молодости он привык удовлетворяться немногим, но теперь, когда зрелый возраст принес с собой седину в волосах и ожирение тела, он не был расположен отдаваться первой попавшейся женщине. И что это были за женщины! Римлянки, страдающие бледной немочью, итальянки с темными кругами под глазами, чужестранки с плоской грудью, со зловонной кожей и ртом и с безобразным задом, негритянки со свирепыми лицами, предлагающие грязные наслаждения, от которых он заранее отказывался. Женщины звали его, но он не слушал их. И почти бессознательно он по-прежнему грезил о молоденькой египтянке, на которой он женится и которая окружит его толпой черноволосых детей, похожих на него. И эта смутная мечта была

достаточно упорна, чтобы сделать его нерешительным.

С трудом связывая мысли, он говорил себе, что хватит с него Рима и что пора ему возвращаться в Александрию. Зописк человек приятный, но он не стоит последнего водоноса в Александрии; и кроме того, поэт слишком любит хорошо покушать в лучших тавернах Рима за счет Амона, который щедро платил за все издержки Зописка, настоящего паразита, хотя и осененного Музами, такого же паразита, как и Атта, который каждое утро при пробуждении Амона говорил ему о превосходстве египетских богов над римскими и о неотразимом могуществе таинственной силы Крейстоса. Амон сознавался себе, что не всегда понимал глубокие мысли Атты, так же, как и поэмы Зописка, превозносившие богов: Зома, Нума и Аепи. Да и мешок с золотыми солидами, привезенный в Рим в том сундуке, на который заглядывался на Аппиевой дороге похожий на мумию Иефуннэ, заметно худел.

Шагов через сто за ним шел человек, который иногда начинал громко кричать, вызывая вокруг себя смятение. Амон оборачивался и видел на подъеме улицы широкую шляпу из красного войлока и развевающуюся белую бороду, коричневый плащ, голые ступни и угрожающие взмахи посоха. Как только раздавался крик, сейчас же собиралась толпа; на порогах темных лавок появлялись люди, из окон, на которых сушились заплатанные тоги и туники, высовывались головы; и поднимался шум, яростный собачий лай и визг детей. Затем сборище рассеивалось, и одиноко продолжала двигаться по Субуре широкая шляпа, точно плывущий красный корабль,

развевающаяся борода, коричневый плащ и голые ноги; и угрожающие взмахи палки отгоняли людей, появившихся из соседних улиц.

Эти упорные крики, которые не были понятны и другим людям, начинали несколько беспокоить Амона. Станный человек следовал за ним с Эсквилинского холма, нарушая его покой и беседу с самим собой после хорошей выпивки, обеда и стихов Зописка, и он подумал, что это было, вероятно, наваждение какого-нибудь таинственного божества Атты, о чем его накануне предупреждали Аристес и Никодем:

— На некоторых улицах Рима появляются странные существа и преследуют иностранцев, чтобы отгрызть у них кусок мяса из плеча.

И он машинально поводил плечами, взглядывая на них тайком, под страхом этого предупреждения. Особенно его пугала палка. В вечернем свете эта палка отбрасывала гигантскую тень, которая перерезала фасады зданий и лизала темным языком крыши лавок. Тень то касалась его ног, то опускалась ему на голову и, казалось, хотела грозно остановить его, чтобы дать возможность странному человеку догнать его и вырвать кусок мяса из плеча.

Случайно в одном из домов Амон увидел приоткрытую дверь, за ней просматривалась узкая комната проститутки: потертые и блестящие циновки, в углу амфора с водой для посетителей, ручное зеркало, несколько банок с благовониями на столике, а на стенах испорченные сыростью фрески, изображавшие нагих амуров и фавнесс, преследуемых яростно возбужденными фавнами. Амон колебался, дрожь волнения и страсти охватила его. Но стоявшая на

пороге молодая женщина с кольцами в ушах, с дрожащими на нервной матовой груди ожерельями тихо позвала его и, чтобы завлечь, вышла на улицу и взяла его за руку. Едва она успела ввести его к себе, как длинная, точно мачта, тень палки упала на него в момент его крайнего смущения.

Куртизанка быстро закрыла ставни своей кубикuly, куда проникал теперь только слабый свет с внутреннего двора. В сером полумраке Амон, не зная что сказать, спросил ее имя.

— Кордула, к твоим услугам!

И, обняв его, она потянула его на ложе из циновок, — общее ложе ее любовников, — с горячей страстностью, встревожившей Амона. Но в это время снаружи поднялся страшный шум, как будто целая толпа собралась взять приступом комнату Кордулы; глухой удар, точно удар топора в ворота крепости, раскрыл ставни. Любовники поднялись, оглушенные:

— Мерзость и отвращение! Я давно слежу за тобой, грешница, и пришел вовремя, чтобы помешать блудодеянию!

Вслед за ударами палки в отверстии показалась громадная шляпа, развевающаяся борода, опоясанный веревкой коричневый плащ, а позади росла насмешливая толпа, заполняя улицу, всю красную, как медь, в мареве наступившего вечера.

— Магло, Магло!

То был старый гельвет, на которого смущенная Кордула указала Амону, увидевшему его впервые. Египтянин вздрогнул! Внезапно вспомнив страх таинственного наваждения, все ужасы, о которых ему твердили Аристес и Никодем, случайный гость Кордулы завернулся в свой диплойс, открыл дверь в

глубине комнаты и скрылся в проходе. Но сейчас же за ним ринулась и толпа, не зная, в чем дело, может быть, принимая Амона за беглого раба или вора с той стороны Тибра, где обыкновенно скрывалось от властей много преступников, или же за гнусного еврея, похитителя маленьких детей с целью их изжарить, словом, за нечто ужасное и чудовищное. И тотчас же руки опустились ему на плечи, кулак мясника лег на его лицо, среди окруживших его голых ног заметалась собака и дернула за полу его диплойса, а дети, едва прикрытые одной субукулой, вцепились в кожаный ременный пояс его нижней туники. Раздались крики:

— К эдилу!

— Нет! В Тибр его!

В бешено кричащей толпе осаждающих началась давка. Здесь были исключительно обитатели квартала: владельцы мясных и съестных лавок, сапожники, кузнецы, работающие дни напролет на своих низких наковальнях, булочники и пирожники, процветавшие благодаря обжорству римского населения, ткачи и суконщики, изготавливающие тоги и туники, портные, которых можно было признать по длинным иглам, вколотым в верхнюю одежду. Они не чувствовали никакого нерасположения к Кордуле, промышлявшей среди них своим ремеслом наравне с другими женщинами, которых все хорошо знали и которые насчитывали многих из этой толпы в числе своих случайных любовников; но все негодовали на Амона, которого видели впервые и подозревали в каком-то неизвестном преступлении. Вдруг чей-то голос пересилил остальные. Огромная палка Магло описала в воздухе линию, причем ее как бы недоуме-

вающая тень удлинилась бесконечно, заколебалась и легла на дома, красные в лучах заходящего солнца.

— Братья, послушайте! Братья во Крейстосе! Успокойтесь!

И его палка двигалась, а тень ее перерезала улицу, то укорачиваясь, то извиваясь, коварно скользя или взбираясь по кровельным желобам, охватывая кругами весь квартал. На одном из концов улицы умирало огненное солнце, пурпурное, как дно раскаленного горна, истекавшее алой краской, которая медленно принимала зеленоватые оттенки спокойного, всепоглощающего моря. Магло стоял на тумбе перед жилищем Кордулы, сняв шляпу и подняв к небу длинное худое лицо, поглощенное до самых глаз бородой. А Кордула сидела на постели, опустив изящную тонкую головку на руку, на которой сверкал браслет, тихо потухавший в тени.

— Братья! Когда апостолы, когда Петр, Павел и Иаков, переплыв море, пришли в Рим, они увидели, что здесь процветает порок, что разврат и блуд затмил божественность Крейстоса. И тогда они пожелали, чтобы все народы пошли по истинному пути.

Толпа слушала с большим вниманием слова Магло. Торговцы повернули в его сторону свои важные носы, а мастера прятали свои благоразумные подбородки в складках тог, как будто каждый из них проникался глубокой печалью перед той картиной порока, разврата и блуда, которую гельвет собирался раскрыть перед ними. Но кто-то безжалостно крикнул, махая в воздухе голой рукой:

— Ты христианин, старик, нам нечего слушать тебя. Оставь нам этого человека и уходи!

Но, как будто ничего не слыша, Магло продолжал:

— И апостолы искореняли порок там, где встречали его. И я поступал так же. Я кричал целый день о мерзости падения, я приглашал вас всех, мужчин и женщин, всех обитателей Рима погрузиться в самих себя, отступить от Дьявола и преклониться перед Агнцем. Я хотел остановить грех. Зачем эта женщина прелюбодействует? Зачем этот человек только что осквернил себя с нею?

И, не зная, что случилось с Амоном, которого бдительно стерегли, он указал наугад своим грозным посохом, и тень его упала в проход между домами, в наступавшую темноту.

— Зачем эта женщина предает свое тело греху, тогда как она должна бы принадлежать Крейстосу, который ждет ее в сферах вечных небес?

Но тот же нарушитель тишины крикнул снова, сильно смущая важные носы и благоразумные подбородки слушателей Магло.

— Это нас не касается. Твоему богу нет дела до тела Кордулы!

Ему вторил другой, который, несмотря на сопротивление многих рук, протиснулся в жилище испуганной Кордулы:

— Меня зовут Skeбахусом, я торгую соленой свиной и даю ее Кордуле за ее тело, которым я пользуюсь, не причиняя никому зла, и доставляю этим наслаждение и ей, и себе.

Кто-то еще возмутился:

— Она примет и тебя, если ты ее пожалеешь, хотя ты и стар. Нас всех принимает Кордула!

— Меня?! — воскликнул Магло.

Слова о связи с Кордулой так возмутили его, что он застыл на месте, вытянув посох, раскрыв рот и не

зная, что сказать. Пронесся смех. Раздались возгласы негодования. Политеистическая толпа бранила Магло; важные носы и благоразумные подбородки торговцев удалились, вероятно, не поняв его слов.

Он хотел говорить снова, но из множества рук, поднявшихся вокруг него, полетели гнилые плоды, корки арбузов и тыкв; что-то грязное прилипло к его бороде, что-то тяжелое упало к ногам Кордулы, которая поднялась в негодовании. Благоразумные люди уходили, оставляя Магло на произвол злых шутников, но со всех сторон стали стекаться христиане, рабы, свободные ремесленники квартала, услышавшие, что взывают к Крейстосу. Смелые женщины удерживали руки осаждавших. Какой-то человек подбежал к Кордуле и, взяв ее за руку, помог бежать через внутренний двор, куда выходили каменные желтые портики.

— Ах, это ты, Геэль! Какой злой христианин этот старик! Ты, по крайней мере, не терзаешь бедных женщин!

И Кордула целовала руки Геэля, который поручил ее Скебахусу, прервавшему речь Магло и теперь ревностно взявшему ее под защиту. Он сказал Геэлю:

— Будь спокоен! Хотя она принимает тебя даром, а меня за соленую свинину, но я люблю ее не меньше тебя!

Геэль вышел в коридор, где забытый в суматохе Амон ждал затишья, чтобы убежать. Геэль узнал египтянина, которого видел с Аттой в день торжества в храме Солнца.

— Я знаю тебя, ты можешь довериться мне. Христиане никому не желают смерти. Немного погодя я провожу тебя, если хочешь, до конца улицы.

И в этих словах Геэля было слышно, что он ис-

кренне добр, потому что Амон напомнил ему тот день, когда Мадех проезжал мимо него в триумфе нового культа, не слыша голоса брата, звавшего его. Быть может, этот иностранец скажет Геэлю о забывчивом друге, которого судьба обратила в раздетого в шелк и золото вольноотпущенника, хотя и посвященного Солнцу, тогда как он, Геэль, влачит темную трудовую жизнь в гончарне. Геэль расчувствовался, Амон тоже трогательно взглянул на него, — между ними образовалась та внутренняя связь, которая возникает лишь в родственных душах.

Толпа стала менее густой. Манипула солдат, бежавшая с копьями, предводимая центурионом с мечом в руке, рассеяла ее окончательно. Христиане увлекли Магло, пребывавшего в отчаянье. Его особенно возмущало их полное безразличие по отношению к проституткам, своего рода примирение с пороком, затопившем Рим, как море проказы. С первого же дня он непрестанно восставал против лупанаров и таверн, переполненных людьми, ведущими распутную жизнь; он возмущался Императором, обожавшим Черный Камень, символ греха, и открывшим свой храм для всех богов; он жаждал новых гонений, чтобы вера окрепла и возродилась чистота прежних времен. В действительности все происходило совершенно иначе. Христиане, по крайней мере те, кого он знал, желали защищать друг друга, объединяться, проявлять взаимную помощь, но они оставались чужды тому, что делала Империя, даже обряды Элагабала, уживавшиеся со странными идеями брата Заля, не были им противны. Даже полетеисты возмущались упразднением их культов ради Черного Камня; христиане же с жалкой снисходительностью относи-

лись к порокам тела, прощали грех блудникам и блудницам, среди которых были их несчастные братья и сестры, и не считали их виновными, так как часто голод бросал их в разврат; рабов с детства приготавливали их господа для блуда, свободных же увлекал порочный образ жизни.

XIV



еэль и Амон направлялись по Новой улице к Тибру, воды которого вдали мелькали пятнами, желтыми, как брюхо ящерицы. Геэль не расстался с Амоном и провожал его до дома, по соседству с лавкой Типхроноса. Они шли и беседовали; гончар сердечно говорил

о Мадехе, юном брате из Сирии, теперь жреце Солнца в Риме и вольноотпущеннике примицерия Атиллия, благодаря влиянию которого, как говорили, воцарился в мире восточный культ. Но какое до этого дело Геэлю! Его мучило только обидное воспоминание о Мадехе. Несколько раз он спрашивал о нем в маленьком домике в Каринах, где белый на солнце атрий по-прежнему охраняли визгливая обезьяна, изнывающий от жары крокодил и пестрый павлин. Или же Мадех не хотел принять его, потому что Геэль был христианином? Он признался в этом Амону и спрашивал, не знал ли он Мадеха, он, чужеземец из далекой страны, родившийся в Египте. Амон сказал:

— Мадех! Атиллий! Они переплывали море вместе со мной, сошли на берег в Брундузиуме, и мы вместе совершили переезд до Рима по Аппиевой дороге.

— Значит, ты беседовал с ним, с моим братом Мадехом? Говорил ли он с тобой обо мне, о гончаре Геэле, обо мне, таком же сирийце, как и он сам? Я встретил и узнал его накануне триумфа Элагабала. Мадех подал мне надежду, что я увижусь с ним в Каринах. Говорил ли он тебе об этом?

Полился поток трогательных слов. Но Амон грустно качал головой.

— Я не говорил с ним с тех пор!

Он вспомнил, однако, что Атиллий вырвал его из рук солдат, заставших его в лагерном рву, на дне которого он прислушивался к движению крокодилов, уплывших из Тибра. И он рассказал об этом приключении Геэлю, который проявил недоверие:

— Не могут быть в Тибре крокодилы и не могут они скрыться в один из рукавов реки, протекающей под лагерем! Кто тебя уверил в этом?

Амон рассказал про Аристеса и Никодема. Но Геэль возвратился к разговору о Мадехе и упорно расспрашивал египтянина об одежде сирийского брата, о звуке его голоса, о его повадках, о смехе. И они, не стесняясь, говорили о том, что Мадех, жрец Солнца, принадлежит Атиллию и совершает отвратительное служение Черному Камню.

По сторонам зияли узкие улицы с низкими домами, двери скрывались в нишах заплесневевших стен. На подоконниках, просвечивая сквозь дырявую промасленную бумагу, дымились лампы. Спутники проходили мимо таверн с закоптелыми потол-

ками, в которых старые проститутки играли в кости с рабами и ворами. Иногда пьяный солдат валялся на их пути, и, чтобы обойти его, они перескакивали через густой ручей, уносивший отбросы: Геэль, не стесняемый в движениях широким плащом, делал это легко, а Амон, стянувший себе живот полосатым дипломом, с ушедшей в плечи головой, в калантике, едва не попадал в воду. Затем они вышли на песчаный берег. Тибр, казалось, плакал, совсем черный с редкими светлыми полосами, тянувшимися от города.

Из-за округленной вершины Ватиканского холма занималось сияние. Появилась круглая, как щит, луна, озаряя светом извилистое течение вод, пересеченное колеблющимися тенями. И на горизонте, справа и слева, очертились здания, арки, отдельные колонны, точно мачты галер, мосты, дороги, окаймленные храмами с роскошными портиками, ряды домов, усеянных светлыми точками, а у подошвы Капитолия, гордо увенчанного Арксом, — край бесконечного Марсова поля.

Развернувшись от Палатинского холма, они направились в Велабрский квартал, очень оживленный и как бы дымящийся в свете тысяч фонарей, загнутых в виде рожка или сделанных из полотна, пропитанного маслом.

Подходили к концу часы первой стражи, и улицы наполнялись людьми, ушедшими после ужина на прогулку. Тут были очень важные, родовитые римляне, жители Запада, которые сильно жестикулировали, и уроженцы Востока, заметные по одежде и по налету таинственности. Рабы ссорились между собой. Иногда несли в лектике какого-нибудь чиновника

Империи, отупевшего после ужина, и впереди него бежали рабы, расталкивая тех, кто недостаточно быстро сторонился. Периодически улица оглашалась проклятьями — это когда толпа узнавала очередного вольноотпущенника Элагабала, только вчера оставившего какое-нибудь постыдное ремесло. Тогда между представителями Запада и Востока возникали ссоры, неслась разноязычная брань, — и прерывалось это с появлением патруля, щедро наделявшего всех без разбора ударами мечей, нанесенными плашмя.

Более спокойные граждане оставались дома. Это были ютившиеся в тесных лавках, открытых прямо на улицу или устроенных под портиками, продавцы шелковых и шерстяных материй, кондитеры, инкрустаторы на слоновой кости или перламутре, продавцы благовоний и разных снадобий, по слухам, помогавшие женщинам делать аборты; а вблизи закрытых в этот час бань ютились торговцы вином, налитым в большие глиняные амфоры, и соленой свининой, и колбасники, товар которых свисал с потолка неподвижными вертикалями.

На пороге маленького дома с выступающей вперед большой дверью, к которой вела лестница, Геэль покинул Амона, пообещав еще раз придти к нему, чтобы поговорить о Мадехе. Египтянин взялся за молоточек у двери, и привратник, прикованный цепью, позволявшей ему двигаться лишь настолько, чтобы открыть дверь, уже поднялся на стук, как вдруг у дома выросла толпа, которая, как бы гонимая ветром, помчалась дальше, в направлении форума. Амон, подхваченный толпою, несся вместе с ней, а в это время из темной улицы появились новые толпы

людей, носилки и воины в сверкающих шлемах. Со всех сторон кричали:

— Элагабал! Элагабал!

Отряд конницы проскакал по склону улиц, сверкая кольцами людских и конских доспехов, в то время как харчевни закрывались с отчаянным стуком. Амон очутился посреди белого в лунном свете форума, с его арками Септимия Севера и Тита, очертившимися в голубоватом воздухе, с храмами Согласия и Юпитера; со стороны Тибра высились храмы Марса и Сатурна, а против них — храмы Кастора и Поллукса, окруженные базиликами и галереями, с рядами изваяний императоров и богов. Там же были расположены дворцы сената и Великого жреца; алтарь Весты в круге колонн и статуя Марсиаса близ народной трибуны. Слева возвышались крутые стены немой крепости — Капитолийский холм.

На ступенях храмов, взбираясь на Капитолий, заполняя Ростру, ревела толпа, а отряд конницы быстро теснил ее. Из воплей и восклицаний ста тысяч глоток Амон с изумлением узнал, что Император увеселял себя посещением вертепов, и потому вокруг арены его разврата было предусмотрительно расчищено пространство.

Амон хотел вернуться, но толпа отхлынула к Широкой улице, которая кончалась у форума, справа от колонны Антонина и слева от колонны Траяна. Постепенно с Капитолийских высот исчезли все люди. Они, понося Императора, рассеялись по кварталу Изиды и Сераписа, охватывающему с юга Целийский холм, а с севера высоты Эсквилина.

Форум опустел, и Амон мог теперь рассмотреть с

Широкой улицы Элагабала в открытой лектике, окруженной другими лектиками, с факелами и фонарями. Впереди Императора, с мерным стуком копыт о камни, ехал конный отряд. Во главе всадников, катафрактариев, Амон узнал Атиллия с мечом в руке, исполнявшего обязанности примицерия императорской гвардии.

Когда он, отгесняя толпу, приказал коннице двинуться по Широкой улице, раздался продолжительный взрыв гневных криков. Тысячи кулаков поднялись, проклиная Атиллия.

— Горе тебе, патриций, побуждающий Элагабала теснить нас!

— Прочь! Прочь! Пусть родившая тебя отречется от тебя навек!

— Что тебе здесь надо, римлянин, продавший Рим Авиту?

— Ты — позор Империи!

Но Атиллий оставался нем под потоком оскорблений, и только направлял на толпу своих воинов, которые били народ древками копий. А Элагабал лежал на подушках своей лектики, покачивающейся на плечах носильщиков, блестевших в свете плывущей по небу луны.

Амон не хотел верить, чтобы его молчаливый спутник на корабле, грустно бороздившим волны Внутреннего моря, и военачальник, спасший его во рву преторианского лагеря, мог быть вождем грубого отряда, кони которого так жестоко теснили толпу. И он вспомнил то, о чем говорили втихомолку со дня воцарения Черного Камня: колоссальный разврат, мужская любовь, обожествляемая Элагабалом, отдававшимся своим вольноотпущенникам;

смещение всех богов в одном храме; предполагаемое и устрашавшее всех исчезновение детей знатных семей для принесения в жертву Солнцу; покровительство христианам, тайно поддерживающим власти; наконец, все возрастающая изо дня в день победа Востока над Западом, — все это приписывали Атиллию. Ему придавали черты чудотворца, причастного к ужасным тайнам, и называли властителем дум юного Императора, который под влиянием неслыханных чар забыл свое происхождение (он был римлянин по рождению) и поклялся уничтожить богов Рима, его установления, его народ и возвеличить Черный Камень. Некоторые говорили, что Восток мстит Западу, потворствуя всеобщей похоти, которая скоро разрушит государство, если им не будет править энергичная рука.

Рядом с Амоном кричали двое, один из них заклинал:

— Я призываю богов в свидетели! Долго ли они будут терпеть кощунства Элагабала и не пошлют ли они легионы, чтобы свергнуть его?

А другой отвечал с диким восторгом:

— Пусть работает гниение, гражданин, и пусть оно навсегда унесет тело! К чему легионы, когда смерть налицо.

— Заль! — продолжал первый, — твои слова опасны. Я, римлянин древнего рода, говорю тебе, персу, сыну раба, что Империя погибнет жалким образом, если позволит властвовать над собой побежденным варварам.

Заль возмутился:

— Знай, что побежденные варвары будут приветствовать падение Рима, если ему определено погиб-

нуть. Что же касается меня, о гражданине, знающий мое имя, то я мало беспокоюсь об Империи, и мне не о чем говорить с тобой, которого я не знаю. Прощай!

Заль отвернулся от собеседника, пришедшего в ярость:

— Я говорю, что ты христианин!

— Что еще?

И Заль поднял презрительно свою изящную, восторженную голову, скрестил руки на груди. Из окружающей их толпы прозвучал голос:

— Ударь его, Карбо!

— Да!

Огромный кулак опустился на Заля, кровь показалась на лице. Не защищаясь, он скрестил руки, едва шевеля губами, ожидая нового насилия, но в это время отброшенная воинами толпа быстро рассеялась через Виминал, оставив Заля в статическом воодушевлении, а Амона — окаменевшим от ужаса.

К ним поскакал всадник. Заль с окровавленным лицом хотел удалиться, но, заметив, что Амон в опасности, обернулся и взял его за руку. Появились новые всадники, во главе с Атиллим.

Амон громко назвал себя:

— Я — Амон, твой товарищ по путешествию, которого ты хорошо знаешь!

— Иди с миром в свой дом, — сказал Атиллий. И, заметив при свете луны кровь на лице Заля, обратился к нему:

— А ты? Зачем ты оставался здесь? Удались!

— Я христианин, — сказал Заль странным голосом мученика. — Римляне почитают своих богов, я

же исповедую Крейстоса и признаю Элагабала, который поможет победить!

И он, вздрагивая, удалился в сопровождении Амона, а Атиллий пристально посмотрел ему вслед. Форум был пуст; соседние улицы молчали перед ним, и со всех концов города неся гул затаенного гнева Рима против императорской власти.

Заль все шел вперед, не обращая внимания на Амона, который следовал за ним по пятам. Египтянину хотелось идти вместе с ним, потому что ему было грустно на этих залитых лунными брызгами улицах, с молчаливыми тенями домов и храмов. Чем ближе подходил Заль к Эсквилинскому холму, тем становилось все пустынное, и тишину едва нарушали какой-нибудь прохожий или солдат, меч которого ударялся об уличные тумбы. Но гул снова возрастал со стороны Субуры, от храма Мира, соседнего с Метой-Суданс, с которой две прямые струйки, тонкие, как хрустальные нити, спадая, исчезали в темной ночи, а светлые брызги блестящие, как искры костра. Амон перестал замечать, теряясь в этих незнакомых кварталах, он боялся возвращаться тем же путем в Велабр, чтобы не встретить шествия, пересекавшего эту часть города.

Низкий водоем блестел, как расплавленное олово; у одного из краев его треугольной ниши смотрела голова бога. Заль обмыл себе лицо. Амон нагнал его и робко спросил:

— Он сильно тебя ранил, не правда ли?

Заль поднялся, отирая лицо краем туники.

— Это — пустяки, — сказал он, — свежая вода остановит кровь, и завтра она не будет заметна!

И он ушел, влекомый суровым желанием остаться один. Но Амон побежал за ним.

— Я не знаю, как мне пройти в Велабрский квартал, где я живу. Не проводишь ли ты меня? Я знаю таких же христиан, как и ты. Я расскажу тебе о них. Посмотри на меня. Имеешь ли ты доверие ко мне?

Он говорил быстро, не давая Залю заколебаться. Тот пристально посмотрел на египтянина.

— Ты похож на мирного гражданина, — ответил он, — и ты не был в числе тех, кто советовал Карбо ударить меня. Но не надейся вернуться к себе сегодня ночью. Слышишь?

И крики, мощные, как раскаты грома, неслись со стороны Субуры, в двух шагах от форума. С ними смешивались грубые звуки инструментов, устрашавшие Амона.

— Видишь ли, — спокойно продолжал Заль, — Император входит в данный момент в лупанары, которые его приветствуют, и он прогнал граждан, чтобы ему не мешали испытывать наслаждение. Чтобы вернуться в Велабр, тебе надо сделать большой крюк и пройти мимо Тибра. Это — целая ночь пути. Тебе лучше провести ее на воздухе.

Он сказал это равнодушно, и Амон заметил, что с ним говорит уже не прежний пылкий христианин. Тогда он счел нужным рассказать ему про Атту и Геэля:

— Я очень уважаю этих двух христиан, в особенности Геэля, которого я узнал всего несколько часов тому назад. Атта же очень мудр. Каждое утро, при моем пробуждении, он рассказывает мне о величии моих богов и о могуществе Крейстоса, вашего бога.

Заль непонятно взволновался. Он дружелюбно

засмеялся при имени Геэля, но при имени Атты поднял руки, как бы утверждая:

— Клянусь, что это ложный христианин с сердцем, смердящим пороками, и душой, черной от грехов. Я сниму с него маску в день, который уже близится.

— Как? Ты сомневаешься в его добродетели?

— Он заставил бы покраснеть святой лик, если б только этот лик мог краснеть. Он имеет общение с тобой, язычником, он пользуется твоим ослеплением, льстит тебе и кормится у тебя, как собака, как поросянок, каков он и есть.

Воцарилось молчание. Луна стояла в зените. С Эсквилинского холма им видна была часть Рима, белая в лунном свете, пересеченная серыми линиями. Вдали змеился Тибр широкими серебристыми извилинами. Вокруг расстилались сады Мецената с неподвижной растительностью пепельного цвета; вдали виднелся силуэт лагеря преторианцев, виварий, вал, идущий к Капенским воротам, равнина, пересеченная Номентанской и Саларийской дорогами, а на горизонте смутно обозначались очертания холмов, поднимающихся горбами в небо. Из вивария, где держали зверей, привезенных Элагабалом с Востока, вырывался глухой вой. Заль протянул руку:

— Там покоятся они, исповедники Крейстоса. Там лежат их тела на аренах. Если у нас и будет теперь еще несколько лет мира, то сколькими годами преследования заплатим мы за это! Но Агнец знает, чего он хочет. Мир будет принадлежать ему, и гордый Рим падет к ногам Крейстоса!

Он свернул вправо, не сказав больше ни слова. Сеть узких улиц с высокими домами, от которых исходило ужасное зловоние, пересекали режущие

лучи света. На углах улиц — запертые храмы и фонтаны с тонкими струями, на перекрестках — дымящиеся пред покинутыми алтарями лампы; тени женщин в отверстиях низких дверей. Луна то здесь то там проливала белые потоки лучей, и в них внезапно вырастали полуразрушенные портики, площади величиной с ладонь, с лестницами в несколько ступеней, ведущими к тщательно запертым домам. Так же выглядела и та узкая улица, в которую свернул Заль. Амон услышал смутное пение мужских и женских голосов, как бы исходящее из-под земли. Он остановился. Но христианин взял его за руку.

— Что ты будешь делать теперь? — спросил он. — Я не желал приводить тебя сюда, но ты сам последовал за мной; я же не могу пропустить собрание своих братьев. Никто тебя не знает, кроме Атты, если он там. В таком случае я изобличу его свинскую душу и плюну на него. Пойдем!

Амон не знал, что сказать, настолько его смущало непрерывающееся пение, а Заль добавил:

— Если ты не хочешь вернуться один в Велабр! А не то прощай!

Амон последовал за ним. Пение становилось все слышнее, его ритм разрастался с невыразимой нежностью. Заль остановился перед крепкой железной дверью. За ней кто-то находился, потому что в следующий момент она отворилась: перед ними тянулся коридор, идущий в сырой сумрак, однако при свете глиняной лампы они разглядели лестницу, ведущую вниз. Заль спустился по ней, а за ним и Амон, который, чувствуя за собой чье-то дыхание, боялся обернуться.

XV



И еред ними открылась небольшая, очень низкая зала с дугообразным сводом на квадратных столбах. В глубине, на освещенной стене, расписанной фресками, был виден лик человека с продолговатой бородой, спускающейся на обнаженную грудь, с которой падают капли крови, руки приподняты крестом, истощенное тело охвачено неподвижностью смерти, а вокруг него — два крылатых существа, написанных в цвете волн; два длинных Т, перевитых символическими пальмами, расширяются в высоте, распадаясь дождем очаровательных лилий... На потолке, поглощенном полутенью, белый агнец ударяет тростью скалу; из нее бегут синие воды, объемлющие свод; в них погружается другой белый агнец, которого крестит третий... Вдоль освещенных невидимыми лампами стен видны простые украшения в расплывчатых красках, лепные ветви с листьями девственной чистоты, без резких контуров или усложнений, разделенные прямоугольными щитами, над которыми изображены урны с плодами, здесь торжествует Крейстос, в золотом ореоле, с длинными волосами и глубоким взором, устремленным за пределы мира; одна рука на сердце, в другой открытая книга, и вокруг Небо недвижимых звезд...

На симметричных скамьях, раздельно, сидят мужчины и женщины, бедные и богатые, отличающиеся

по одежде. Они не поворачивают голову при входе Заля и Амона, которые медленно садятся. Печальная песнь, прерываемая иногда мистическими порывами, за которыми вьется тема, бесконечно возвращающаяся, как волны седого моря, обращена к Крейстосу, чьи бледные лики со сводов взирают благостно на верующих.

Плачут женщины и рыдают мужчины, бьют себя в грудь, жаждущую умерщвления плоти, часто преклоняют головы и падают ниц, и звучат тихие молитвы, сливающиеся в непрерывный шепот, в молчание, полное волнения!

Лик Крейстоса в глубине кажется живым, его тело как бы наполнено дыханием жизни, прекрасные очи сияют блеском топазов, и не капли крови дрожат на его груди, а светлые слезы, подобные упавшим на землю жемчужинам!.. И крылатые изображения превращаются в архангелов в чешуйчатых золотых бронях, потрясающих копьями с развевающейся на их концах голубой тканью; и Т исчезает в сиянии, среди потока зелени пальмовых листьев и лилий, подобных белым покрывалам на безграничном океане.

Миг озарения! И в то время, как все снова застывает в неподвижности, возникает та же грустная мелодия, прерываемая мистическими порывами, за которыми вьется тема, бесконечно возвышающаяся, как волны седого моря. И снова слышится плач женщин и рыдания мужчин, биение в грудь, жаждущую умерщвления плоти, частые преклонения головы и падения ниц, и тихие молитвы, сливающиеся в непрерывный шепот, и молчание, полное волнений!

Люди снова садятся, строго размышляют. Затем

под изображением Крейстоса на кресте восстает чьето очертание, господствуя над залой, желтой в свете ламп.

— Братья и сестры, кто выразит волнение наших душ, когда мы постигли, что Агнец в бесконечной милости своей пользуется развратом времен, дабы проявить свое слово! Да! Из этого сосуда нечестия, который именуется Дворцом Цезарей, из этого склепа ложных богов вырастает божественный цветок, просветленный цветок Благодати, которая наполнит мир огнем очистительной любви. Благославим же его! Преследования прекращаются у порога новой Империи, которая покровительствует нам; наши мученики, погребенные в полях, скоро упокоятся тихим святым сном в наших церквах, в благословении Агнца! — И женщина, горячий голос которой полон бесконечной нежности, восторженно смотрит на изображение Страждущего.

Наступает молчание. Поднимается Заль:

— Братья и сестры, беспощадные для нас времена еще не прошли. Я исповедал мою веру сегодня вечером!

И Заль выступает вперед, бледный, с распухшим лицом, озаренный ярким светом. Раздается крик ужаса! Женщина по имени Севера кидается к Залю:

— О, жив! Жив! Поистине, жив! Слава Агнцу, победившему Грех! О, Заль!

— Если Агнец не победит грех, то нечистая любовь плоти победит Любовь!

Эти слова бросает суровый голос, голос Атты, который видел только Заля и Северу.

Заль и Севера не слышат его среди общего волнения, и Атта грозно говорит снова, видя в присут-

ствующих христианах людей Запада, которые охотно откажутся от сравнения религии Элагабала с христианством, от сравнения, которое допускают только люди Востока, как Геэль и бывшие у него в день пришествия Магло. И глухо расширяет он пропасть между ними, смело обличая принцип Зла и Добра: Заль вдохновлен злом под личиной добра; это он ставит ему в упрек, чтобы возбудить недоброжелательство к своему врагу.

— Постоянная борьба двух принципов, Заль! И ты поддаешься ей, как истый перс. Ты уменьшаешь благодать и силу Божию ради демона.

Ни Заль, ни Севера не слушают, христиане качают головами и затем оставляют их, а она умиленно дотрагивается до его лица своими руками, изящными, как руки патрицианки. Христиане возвращаются на свои скамьи. Заль снова садится рядом с Амоном, скрывшимся в самый далекий угол залы, где тени покрыли священные изображения.

Один из верующих встает. В запутанных словах он благодарит Сына Человеческого за начало мученичества в лице брата Заля. Но не подобает христианам надеяться на Императора Элагабала, который есть сосуд, полный пороков, из которого восстанет не цветок Благодати, но ужасная ехидна Зла.

— В словах Северы начало ереси, — говорит он и утверждает со смиренной уверенностью, что углубившись в себя, она признает вечную Истину.

А другой добавляет:

— В его глазах Заль проявил недостаток смирения, прервав проповедь Северы, чтобы возвестить о своем исповедании веры. Он сам, Дативус, знал мучеников, страдавших от огня и от бичеваний в руд-

никах, лишенных омовений и ложа и усердно скрывавших следы страданий. Левая рука не должна знать, что делает правая: какую бы радость ни ощущали христиане, им незачем знать о том гонении, которому от язычника подвергся Заль; это ведомо ему и Агнцу.

Его поддерживает третий:

— Вера имеет цену и без дел. Зачем Заль, посещающий собрания своих братьев и сестер, смущает их непрошенным объявлением о своем исповедании Крейстоса? Лучше было бы прийти в начале молитв и слиться со всеми в божественном лоне непорочного Агнца, чем развлекать свою душу внешними делами, оскверняя ее прикосновением язычников и совершать таким образом двойной грех — любопытства и гордости. Но уж таков Заль: в нем сокрыта змея, которая сгложет его сердце и обречет его Сатане.

И остальные дружно подхватили:

— Между Залем и Северой есть такие чувства, которые дух не может объяснить иначе, как чувствами тела. Итак, когда Заль предстал со своим мученическим лицом, почему Севера кинулась к нему, а не продолжала свою проповедь, которую все сосредоточенно слушали? Такое чувство не проходит незамеченным. И к чему снисходительно описывать мерзости Элагабала и его приверженцев и говорить, как уже давно утверждает Заль, что могут быть терпимы Богом деяния этого безумца? Кошунство! Клевета! Или, как говорит благочестивый Атта, возможно ли признавать осужденную и достойную осуждения борьбу двух начал, умалять Божественную силу и возвышать силу Зла.

Страшный крик вырвался из как бы растерзанной

груди, и Севера распростерлась перед Крейстосом и рыдала, припав лицом к земле. Верные, стоя, протягивали руки, как бы для того, чтобы проклясть ее, но страшно бледный Заль оставался неподвижным. Атта кричал надменно, подняв голову, с жестокой дугой бровей, из-под которых блестели, как уголья, его порочные глаза.

— И ты, Заль, сломишь ли ты, наконец, твою гордость перед Искупителем людей? Уподобился ли ты нашей сестре, загубленной тобою, или останешься непреклонным во грехе?

При звуке этого голоса Заль вскочил, раздвигая верующих, схватил Атту за руку и силой повлек его к ногам Распятого, озаренному теперь тусклым желтым светом.

— Свидетельствую перед лицом Того, Кто будет судить нас всех, что этот человек живет грехом, что душа этого вероломного брата мрачна, как змей. На колени, на колени, Атта! Вот Амон, который будет свидетельствовать! — И, сдавив ему горло, он принудил его опуститься на колени.

Амон испугался и весь съезжился. Ему захотелось вообще исчезнуть, но Верные принудили его пойти к Залю. Воспользовавшись общей неразберихой, Атта с невероятным усилием вырвался из рук Заля и, растолкав христиан, выскочил из зала. Уже через мгновение раздался стук двери, и послышались торопливые шаги, затихающие в глубине улицы.

Севера, встав, отерла слезы краем своей паллы и улыбнулась Залю, который, сложив руки, устремил взор к своду, где расплывались очертания трех агнцев и брызжущих из скалы струй.

Собрание медленно расходилось. Верные дарили

друг другу прощальный поцелуй мира. Выразительные пожатия рук, долго сдерживаемые нежности, скрытые слезы, немые излияния любви в полусвете залы, — здесь как бы обнимались души, над которыми царил Агнец. Остались только Севера, Заль и испуганный

Амон.

— Прощай, сестра, — сказал Заль Севере и коснулся ее лба чистым поцелуем. — Прощай! Я рассеял лицемерие и исповедал Крейстоса! Какие чудные часы для меня, сестра! Они приближают меня к Богу!

— Довольно, довольно, Заль, — ответила Севера. — Твоя гордость заставит меня усомниться в твоей доброте. Расстанемся! — И, покидая Заль, она прошептала:

— Ты мне свидетель, Сын Божий, что я люблю этого человека духом, а не телом!

XVI



Севера быстро удалилась. Улица в чересполосице тьмы и света была еще пустынна. Щербатая луна тихо плыла по небу, окаймленному на горизонте желтой дрожащей полосой.

Заль молчал, а Амон размышлял. Верить ли слухам о христианах, которые давно уже — и в Риме, и в Александрии — возбуждали любопытство политеистов? Он вспомнил об их прилюдных исповедях, поцелуях и

слезах, о едва уловимой любви между удивительным Залем и Северой, — все это было так непохоже на то, с чем он прежде сталкивался в своей безмятежной жизни. Амон подумал о бегстве Атты, услышавшим его имя, и решил спросить его об этом при первом же удобном случае.

Египтянин шел с отяжелевшими веками, со страшной усталостью в ногах. Он в мыслях считал часы, которые ему не удалось доспать в своем жилище в Велабре благодаря приключению на Субуре, куда оказались вовлечены и Магло, и Геэль, сделавшего его свидетелем разоблачений Заля, его ночного спутника.

И ему казалось, что он повсюду видит христиан. Их влияние разрастается, и ни одно народное собрание не обходится без них. И хотя их раньше преследовали и бросали на съедение диким зверям, да и теперь продолжают оскорблять, все же их число продолжает расти, и каждая улица, каждый дом имеет своего христианина. Он созданы для оскорблений и ударов, как Заль и Магло. И они легко принимают то, что раздражает поклонников других богов: воцарение религии, ненавистной Западу, и гибель Империи, что внушает каждому смутный страх. Их даже подозревали в желании вызвать эту гибель и в тайной деятельности, имевшей эту цель. Для Амона же, как египтянина, родина которого страдала от Рима, это было глубоко безразлично! Даже порывы тайной симпатии не мешали ему желать смерти Империи. Но он только пассивно признавал тот погрядок вещей, который его окружал.

Фиолетовый свет струился с неба, полный нежности. На краю горизонта луна снова стала желтой и

прочертила линии улиц, глубину площадей и серые тени зданий, которые выростали из земли. Амон и Заль шли мимо храмов Юпитера Вилишальского, Венеры Эрнийской и Геркулеса. Они проходили по кварталам, в которых уже пробуждались люди: кварталы Суккузакус, Орус, Капулаторов. Эти части Рима имели мрачный вид даже на заре: достаточно было взглянуть на их высокие дома с узкими окнами, низкими дверями, и вдохнуть запах, словно исходящий из только что вскрытого кладбища. Это была зона гробовщиков и людей, занимавшихся омовением и бальзамированием мертвых.

— Ты пойдешь со мной по этой улице, — сказал Заль, — а затем спустишься с Виминала до храма Мира и выйдешь на форум, а оттуда в Велабр. Я же вернусь домой.

И он пошел по улице, которую Амон узнал как местожительство Зописка, с кем он накануне разделил столь вкусный, но тяжелый обед. Это напомнило ему, что он с тех пор ничего не ел, голод начинал мучить его.

Он собирался покинуть умолкшего Залю, который остановился перед домом с открытым коридором, вымощенным острыми камнями и ведущим прямо ко двору, где находился бассейн с покрытой зеленью водой. Этот двор походил на колодец, в стенах которого были проделаны маленькие окна с поломанными ставнями; в расщелинах ютились целые семьи серых ящериц, вдыхая смрадный воздух.

— Я знаю этот дом. Здесь живет Зописк, — сказал Амон.

И вслед за Залем он вошел в коридор и стал

взбираться по деревянным ступеням лестницы. Так они поднялись на пять ярусов, едва освещенных утренним светом, сочившимся сквозь прорези в стенах. Урывками Амон видел целый угол Кампании, лагерь преторианцев и виварий. Издали человеческие фигуры, уменьшенные расстоянием, казались похожими на колоски растений, которые перегонял с места на место легкий ветер.

Они все еще поднимались по лестнице, полной паутины. Восьмой ярус был устроен на плоской крыше в виде шаткого бельведера. С десятков комнат-клетушек занимали всю террасу, висевшую над улицей. Амон взглянул вниз. Перед его глазами замелькали картины просыпающегося города: бальзамировщики с урнами благовоний в руках; мясники в окровавленных туниках, бегущие к мясному рынку; матроны, идущие на рынок плодов, расположенный в верхней части Священной дороги; трактирщики, погоняющие ослов, навьюченных пустыми мехами по обе стороны туловища. Снизу еще более сильный, как бы недогретый утренней теплотой, подымался тот же трупный запах, который, казалось, витал над кварталом фиолетовым облаком. Заль указал Амону на дверь Зописка, а сам, покинув его, заперся в одной из клетушек этого этажа. У Амона не было выбора, он хотел есть и чувствовал себя совсем разбитым; лицо его после всей этой ночной суеты приняло зеленоватый оттенок, как у обитателей квартала, занимающихся бальзамиранием и омовением мертвых. Он постучал в дверь Зописка: сначала никто не ответил; тогда он постучал сильнее. Из клетушки раздавался голос поэта; он не слышал Амона, потому что как

раз в этот момент декламировал оду своего сочинения и, увлеченный звуком собственных слов, ничего не воспринимал.

Тогда Амон, решительно настроившись, сильно надавил на дверь. Порыв сквозняка втащил его в комнату, и он чуть было не оступился о стоявший у порога глиняный кувшин. Листья папируса взлетели вверх. Зописк сидел на грубой скамейке, закрывая своим худым телом падающий в окно свет. При виде египтянина он вздрогнул, потом задрал одну ногу, в ужасе зажмурился и забормотал:

— Ты не видение? О нет! Ты не видение, пришедшее меня смущать?

Амон, пораженный такой встречей, похолодел, а поэт сказал ему:

— Я знал тебя живым, Амон, я сочинил для тебя поэмы, посвященные Анубису, Серапису, Зому и Нуму, не забывая Изиду и Озириса. Правда, это не боги твоей земли, но я надеюсь, ты простишь меня. Хочешь ли ты знать, какое божество было вдохновительницей моей Музы?

— Да, — глухо произнес Амон, успокоившись.

— Венера! — сказал Зописк, одновременно показывая и победоносно.

Амон приблизился к нему, сначала на шаг, затем на два и, наконец, подошел вплотную к скамье. Зописк был в субулуке, он поднял голые руки и дотронулся до лица египтянина. Очевидно, он ожидал в ответ получить удар, потому что встал и надвинулся на Амона. Оба упали, голова Зописка опрокинула сосуд, и по террасе потек с легким шуршанием ручеек.

— Амон!

— Зописк!

Они поднялись. Ощупали друг друга руками. Оба были невредимы. Зописк окончательно убедился, что Амон по-прежнему жив. После некоторого молчания египтянин сказал, что он ничего не ел со времени их кутежа и теперь голоден. Зописк же потребовал объяснения, каким образом Амон попал к нему в такой ранний час. И, пока он одевался, Амон, слегка смущенный, рассказал ему о своей встрече с Кордулой, о неуместном появлении Магло, о добрых намерениях Геэля, о знакомстве с Залем и о собрании христиан. Он не забыл и Атту. Все это позабавило Зописка, в особенности же посрамление его соперника Атты. И поэтому он сказал:

— Видишь ли, этот паразит наказан по заслугам. В твоём присутствии он скрывал свою принадлежность к христианству и, наверное, отрицал бы ее, не будь я при тебе. Ты прогонишь его, не правда ли?

— Это человек очень ученый, — ответил Амон, — и я не понимаю, почему твой сосед Заль так сердит на него!

— Сосед Заль! Зописк не знает его.

Зописк возгордился теперь, потому что Амон предложил ему иентакулум, утренний завтрак, состоящий из хлеба, смоченного в вине, с прибавлением фиников и оливок. При слове «христианин» поэт презрительно улыбнулся, иронически шевельнул плечами, как существо высшего порядка по сравнению с недостойным человечеством, и это поразило Амона, в особенности по отношению к Залю, в котором он смутно угадывал величие духа.

— Однако Заль знает тебя, — сказал он поэту, — так как это он указал мне на твою дверь.

— Эти люди знают все и проскальзывают всюду. Я не знал, что этот Заль живет здесь. Не удивительно, что он меня знает. Я более известен, чем Капитолий. Моя слава, пред которой бледнеет известность всех поэтов, сверкает, как луч света.

Они спустились на улицу и вскоре уселись за стол таверны у Саларийских ворот, с видом на Кампанию. Таверна была украшена многочисленными фиолетовыми и синими цветами, ее стены красиво обвивала сеть вьюнов. Она обслуживала главным образом чужеземцев, а также солдат из гвардии преторианцев. Но в этот ранний час здесь были посетители поскромнее — они ели молча и сосредоточенно. Глядя на них, Зописк отрывисто смеялся.

— Что с тобой? — спросил Амон. — Почему ты смеешься?

— Я смеюсь, потому что там скоро заплачут.

И, поглаживая свою острую бородку, он указал на серый Рим, расстилавшийся перед ними.

— Что это значит?

— Я хочу сказать, что христиане и солдаты не уживутся вместе. Если Элагабал растянёт свои праздники, мы кое-что увидим.

— Ты думаешь, что Элагабал, разгоняющий по ночам мирных граждан, надолго вселился во Дворец Цезарей?

— Хм... Это могут знать только солдаты.

— Значит, они недовольны Императором? Глядя на них, этого не скажешь.

— Конечно, они недовольны, но нельзя допускать, чтобы они долго скучали, разглядывая стены Рима из лагеря. А кроме того, Рим есть гнилой плод, заключающий в себе червя. Плод сгниет. А червь —

это христианин, охотно принимающий все перемены Элагабала, тогда как поклонник богов не желает перемен. Моя широкая мысль пришла к этому убеждению! Добрые граждане говорят, что если Император не вернется к богам Рима, то этим самым он нанесет смертельный удар по Империи. Но будем пить и есть! Я ясно все вижу, и ничто мне не мешает жить.

Как будто предвидя гибель Империи, Зописк философствовал, продолжая есть и пить маленькими глотками, не забывая фиников и оливок и включив в завтрак, для своей вящей славы, собственные стихи.

Амон начал засыпать. Непобедимый сон смежал его веки, ноги вытягивались, и в ярком свете, проникавшем в зеленеющий вход таверны, увитый виноградом, ему грезилось, как молодая блудница зовет его, и старец откусывает кусок мяса от его плеча; Геэль плывет с ним по водам Тибра, а Элагабал набрасывает на него сеть. Затем он вместе с Залем присутствует на собрании христиан, которое рассеивается точно стая прекрасных ибисов, любующихся своим отражением в Ниле, в голубом Ниле, окаймленном храмами из красного кирпича и неподвижными сфинксами с застывшей усмешкой на губах. Но вот существа и предметы сливаются в сплошной туман, и из его густой глубины поднимаются грозные головы с жестокими ртами, извергающими странные слова. Амон всматривается в эти мелькающие головы и узнает в них христиан, виденных им на собрании Заля.

Увидев, что Амон спит, Зописк перестал философствовать и ушел.

XVII



а Палатинском холме перед Дворцом Цезарей, окаймленным портиками из циполина и украшенным садами с растительностью, падающей через стены с округленными окнами и с бронзовыми решетками, толпился народ вокруг группы фигляр. То были: негры с блестящей кожей, обвившие себе руки и ноги живыми змеями, точно браслетами; бородатый карлик с дряблыми, как зоб жабы, ушами; сильные и крепкие танцоры на канате; дрессировщики обезьян и собак и, наконец, укротитель крокодила, щелкавшего челюстями, — на его горле был широкий медный ошейник, чешуи спины, широкие как чаши, блестели на солнце. Эта амфибия была пугалом труппы: ибо стоило только укротителю направить ее к месту, куда напирала толпа, как люди в смертельном ужасе отступали назад.

Типохронос сидел на перилах моста, построенного при Калигуле и соединявшего Палатин с Капитолием. Он притащился за этой труппой от самого Велабра и теперь, утомленный, зевал. Он лениво смотрел на темные очертания Аркса, за которыми возвышались колонна Траяна, Маляртимская тюрьма и храмы. Типохронос сознавал, что, бросив свою лавку, он понапрасну теряет время, — хотя, с другой стороны, любопытно было взглянуть на фигляров, которых накануне принимал Элагабал, — и хотел уже вер-

путься домой, как вдруг перед ним возникло пятеро незнакомцев.

Один из них, толстый, потный, страдавший сильной одышкой, сказал ему:

— Ты произвел на нас впечатление хорошего гражданина, и потому мы обращаемся к тебе. Мы прибыли из Брундузиума.

— Да, — добавил другой, косоглазый и печальный, — только сегодня утром мы въехали в Капенские ворота.

— Мы заблудились в Риме в поисках одного знатного человека, — вновь произнес первый.

— И знаменитого, — добавил другой, вздыхая.

Третий проговорил сдавленным голосом:

— Он имеет большое влияние на божественного Императора.

— Атиллий, примицерий преторианской гвардии! — сказал первый.

Четвертый и пятый вытянули головы над плечами остальных и уставились на Типохроноса.

Цириольник испуганно вздрогнул и забормотал:

— Атиллий, примицерий преторианской гвардии! Эге-ге-ге!

Он стоял, открыв рот и подняв один палец, точно брил невидимого клиента. Атиллий! Это имя уже несколько недель упоминается римлянами в связи с оргиями Элагабала, его безумствами и попытками покорить Запад пышностью Востока, чтобы затем возродить его в новом качестве, погруженным в сладострастие, роскошь и порок. Рассказывали также, будто Атиллий предложил Императору сделать жрецами тех богов, которым приносились жертвы, фигляров-циркачей! И этот молчаливый

человек с презрительной складкой у рта, этот выродившийся римлянин появляется всегда в сопровождении своего вольноотпущенника, митра которого слишком напоминала о поклонении Черному Камню!

Думая, что какие-то насмешники хотят над ним позабавиться, Типохронос собрался было удалиться, когда первый из вопрошавших сказал своим товарищам:

— Удивительно, граждане Аспренас и Потит! Можно подумать, что знатный Атиллий — гроза Рима! Что же мог наделать этот мягкий и спокойный патриций, погруженный всегда в самого себя как какой-нибудь ученый грамматик?

И Туберо — брундузиец Туберо — стал смеяться, хотя и не без тревоги, так как он и его друзья не ведали, что с ними будет в Риме, где они как раз знают только одного Атиллия и не могут его найти. Но четвертый с угрозой в голосе обратился к пятому:

— Этот римлянин, по-видимому, ничего не хочет говорить, Эльва! Свернем ему шею, чтобы посмотреть, каков у него язык?

— Хорошо сказано, Мамер!

Сжав огромные волосатые кулаки, они поднесли их к лицу Типохроноса, синеватому от небритой со вчерашнего дня бороды. Цирюльник вскрикнул. Он быстро толкнул Туберо на худощавую фигуру Аспренаса, ударил затылком Потита в нос и скрылся в людском водовороте. Все произошло мгновенно. Край туники Типохроноса, окаймленный желтым, последний раз сверкнул в толпе, после чего Туберо с достоинством обратился к Мамеру:

— Почему вы не схватили его сразу за горло? Он наверное сказал бы.

Из лабиринта улиц, над которыми висел мост Калигулы, потекла другая толпа, обращавшая на себя внимание странными криками и звонким хохотом. В ней беспорядочно теснились плебеи в рубищах, боконогие рабы, продавцы сала и вареного гороха, кирпичники с берега Тибра из Транстиберинского предместья. Тут же толкались непонятные типы с порочными рожами, которые похлопывали матрон по голым плечам; какие-то дети добивали уже разбитые вазы.

Брундузийцы смотрели и удивлялись. Ниже моста виднелись красные и синие крыши домов: некоторые были выложены блестящими черепицами, сверкающими, как хвосты гигантских павлинов, и террасы с вывешенными на солнце одеждами виселись одна над другой. А дальше открывались Пантеон Агриппы с бронзовым куполом и желтые рукава Тибра, широкие и блестящие. На одном из концов моста толпа гнала перед собой проституток плебейских кварталов с крашеными золотисто-рыжими и шафранно-желтыми волосами, с развевающимися без пояса одеждами, сквозь которые были видны их волнующиеся тела. Со всех сторон неслись восклицания:

— Астистия, сабинянка!

— Матуа! Галлила, Амма!

— Кордула! Эге, да ты похудела, Кордула!

— Покушай сала, Бебия!

Они шли под градом шуток, некоторые поднимали одежду до самых бедер, другие хватались ладонью за груди, которые пытались укусить похот-

ливые. Толкотня далеко отнесла брундузийцев, смешав их с проститутками, так что Аспренас единственным своим глазом наткнулся на густо нарумяненную щеку, Потит ударился лицом о потную спину какой-то матроны, рука Туберо прижалась к бедру Матуа, а на Мамера и Эльву, надеявшихся повеселиться в Риме, неожиданно обрушился град ударов: и их руки отчаянно замелькали над толпой, точно руки утопающих.

Когда они снова собрались, то с трудом узнали друг друга: у Аспренаса вокруг глаза красовалось пятно, Туберо к своим добавил запахи Матуи, у Мамера кровоточило ухо, Эльва потирал ушибленную голову, а Потит дышал так часто, будто только что возвратился к жизни. Едва успел Аспренас открыть рот, как преторианцы с мечами в руках стали очищать площадь перед дворцом, куда направились проститутки.

Они ничего не понимали и все казалось им странным. Прибыли они по приказанию Элагаблла, направленному именитым гражданам городов, чтобы присутствовать на назначенном в этот самый день бракосочетании Луны и Солнца, в образах финикийской богини Астарот и Черного Камня — Бога Императора. Послушный Брундизий послал женщин против их желания в Рим, который они увидели впервые. Не зная, что перед ними Дворец Цезарей, они надеялись, что Атиллий откроет им его врата, и в качестве посланцев они будут присутствовать на церемонии венчания, которое без сомнения совершится под председательством Императора.

Потит и Аспренас уже собирались излить свои

жалобы, в особенности Аспренас, негодующий против Черного Камня и Элагабала, Императора-Жреца, как к ним подошел человек с бритым лицом, в черной одежде:

— Чужеземцы, вы желаете видеть Дворец Цезарей? Он перед вами.

И так как они удивлялись, что стоя перед дворцом, не догадались об этом, то человек прибавил:

— Вы прибыли из провинции и хотите видеть Императора? Я могу вас проводить.

При этом он дал понять, что это будет стоить несколько золотых солидов, и Туберо вручил их ему. Тогда он назвал себя:

— Чужеземцы, мое имя Атта, и я горжусь, что в Риме нет ученого, подобного мне.

Заметив, что Аспренас смотрит на него своим вымазанным в румянах глазом, он сказал:

— Да, я очень учен и легко могу предсказать тебе твое будущее!..

Предводимые Аттой, они двинулись: впереди Туберо, Аспренас и Потит; за ними Эльва и Мамер, которых взял с собой в качестве слуг Туберо, любивший путешествовать с удобствами. Под портиками, охраняемыми гладиаторами, к ним устремились номенклаторы в пестрых шелковых одеждах. Туберо показал им пластинку из слоновой кости и печатью Брундузиума. Один из номенклаторов оттолкнул Атту:

— Уходи отсюда, собака! Тебя каждый день видят здесь гоняющимся за иностранцами! Убирайся, собака! — И он ударил его кулаком. Атта извинился, но, отойдя подальше, крикнул:

— Берегись, раб! Рим еще вспомнит о твоём господине и о тебе также!

И он ушел, поклонившись брундузийцам, которые остались одни под портиками среди провинциалов, рабов и гладиаторов. Люди стекались в вестибюль, вымощенный яркой мозаикой и открытый в глубине яркому свету, слегка смягченному далекой зеленью. Между больших декоративных колонн на ножках в виде пальмовых листьев, поддерживаемых серебряными кариатидами-атлантами, стояли громадные канделябры, увенчанные лотосами. Во внезапно открывшуюся обширную залу с пурпурными занавесами, вазами на ониксовых и агатовых подставках, ложами и сиденьями, украшенными слоновой костью, вошли женщины. Они несли в ивовых корзинах множество цветов: белые и красные лилии, гиацинты, фиалки, сирень, гвоздики, розы, розовые лавры, синие и белые колокольчики; вся флора Рима и Италии была представлена здесь, разливая в ясном воздухе тонкое благоухание.

Пока брундузийцы разглядывали цветочниц, им показалось, что прошел Мадех. Туберо побежал за ним. Но это был другой жрец Солнца, также с митрой на голове; он удалился странной скользящей походкой.

Они двигались с толпой то вперед, то назад, не смея больше осведомляться об Атилии, пораженные роскошью вестибюля. На стенах блестели персидские изразцы, расписанные порхающими легкими фигурами на фоне тонких колонн, соединенных сверху легким карнизом. На потолке шел длинный ряд рисунков, обрамленных неземной зе-

ленью с множеством птиц, амуров и обезьян. Драгоценные камни искрились вокруг колоннад; мозаика изображала женщин с рыбьими хвостами на спинах кобылиц, вакханок, откровенно обнаженных, обнимающих гигантских тирсов, и белых нимф, обмахивающихся ветвями деревьев. Бесстыдство и призывность изображений обнаженных женщин окончательно заморочили умы брундузийцев.

Они перешли в атрий, окруженный галереей. Иностранцы, римские чиновники, сенаторы, военачальники, посланцы городов, прибывшие со всех концов Империи, бродили среди вольноотпущенников и рабов, жрецы Солнца медленно проходили, сверкая желтыми митрами. Оглядывавшим их иностранцам было странно видеть скользкую походку жрецов, колебание их торсов, развратный характер всех телодвижений, отражающих таинственное сладострастие, знакомое только Востоку.

В широком бассейне, озаренном косым солнечным лучом, умирал крокодил с бесцветными глазами, высунув пасть из желтой воды, и в глубине бассейна зеленовато-черное длинное тело казалось похожим на балку. Животное обратило к Аспренасу загадочный взгляд, точно удивляясь красному пятну вокруг его глаза.

Недоумевая, где они находятся и встревоженные этим, брундузийцы просили, чтобы их отвели к императору. Но одни смеялись над ними, в особенности, когда замечали разукрашенный глаз Аспренаса, другие высокомерно проходили мимо. По временам отодвигалась какая-нибудь завеса, и за ней открывалась зала с золотой и серебряной мебелью, или сады с

пышной зеленью, или внутренний двор, заполненный людьми в ярких одеждах.

Из одной из частей дворца раздавались звуки цистр и кифар, варварские мелодии, вой диких зверей, стук мечей, звон кирас и неумолкающий гул толпы, жаждущей увидеть зрелище и сдерживаемой солдатами.

Приезжие прошли через более узкий атрий. Должно быть, они удалились от основных зал, потому что их реже толкали люди, так же грустно, как и они, разыскивающие кого-нибудь из знавших дворец, — тоже чужеземцы, которые отвечали брундузийцам на непонятных языках.

Рев усиливался, им даже показалось, что они видят за раздвинутым занавесом смутный профиль льва, развевающаяся грива которого бросала на озаренную солнцем стену причудливую тень. Они повернули назад и очутились в пустынном дворе; мимо них быстро прошел черный раб; из середины низкого водоема, покрытого плесневеющей зеленью, бил фонтан. Брундузийцы окончательно перепугались: до них долетали глухие крики, точно вырывавшиеся у людей, которых убивают. Вообразив, что их преследует невидимый отряд вооруженных людей, они бросились в темный проход, где их встретили выстроенные в ряд белые статуи, в шлемах гладиаторов и императоров.

Они отворили тяжелую дверь, обитую бронзой, и очутились в узком помещении, на противоположной стороне которого висел занавес, украшенный золотыми ветвями. В глубине комнаты находилось ложе, отделанное слоновой костью, в центре — золотая гепика, а по стенам — вазы: порфиновые

с изображением нагих греческих воинов, бросающих палестры, глиняные красные с черными рисунками, голубые, усыпанные драгоценными камнями. На бронзовом столе стояли широкие чаши с эмалевым светло-зеленым дном, склянки с таинственными смесями, предметы, посвященные непонятным приемам удовлетворения сладострастия, — взглянув на них, страшный, красный глаз Аспренаса обратился к потолку, через велум которого лился свет тусклого дня.

XVIII



уберо отодвинул край завесы. Образовалась светлая щель, и до них донесся чей-то шепот. Они прислушались, широко раскрыв глаза.

На низком ложе, покрытом шитой золотом шелковой тканью, опершись локтем о подушки из заячьей шерсти, полулежал отрок Алексиан, который печально смотрел на свою мать, Маммею, сидевшую в гневной позе на скамье из слоновой кости и обнявшую своими руками крепко сжатые колени. Рядом с ней, прислонившись к кафедре с высокой спинкой и склонив голову к квадратному пьедесталу огромной вазы, тоскливо размышляла старая Меза.

Маммея говорила. Она умоляла Мезу, бабушку Элагабала, и Алексиана бежать из дворца вместе с ребенком и нею, его матерью; открыть римскому

народу позорные намерения Императора, который готовился отнять у ее сына титул Цезаря и погубить его. И она указывала на людей, которые должны были привести /в исполнение этот замысел: на неких Антиохана и Аристомаха, военачальников; Зотика и Гиероклеса, с которыми он предавался разврату; Муриссима, Гордия и Протогена, его слишком интимных друзей, и еще на некоторых людей, жадных до добычи, которую принесет им смерть ребенка. О нет!.. Этот дорогой Алексиан, этот кроткий отрок со спокойным лицом, эта молодая доблестная душа не погибнет! Мир не должен испытать горечи такой утраты, которая заранее возмущает и землю и небо!

И она глухо добавляла, что в заговоре участвует и сестра ее, Сэмиас, мать Элагабала, которая, не будучи в состоянии удовлетворить своих низменных инстинктов, ночи напролет бегала по лупанарам Рима, распутничала со всеми женщинами и научала разврату девственниц; которая побудила Элагабала ввести культ Солнца не ради чистоты и святости, а исключительно в целях удовлетворения сладострастия низменных существ. И, одаренная умом, Маммея продолжала рассуждать об этом, придавая целомудренную таинственность своей мысли, а отрок Алексиан смотрел на нее все печальнее.

Тогда Меза попыталась снять вину с Сэмиас, такой же дочери ее, как и Маммея, и с Элагабала, которого она любила так же, как и Алексиана. И, качая головой, она сказала:

— Я увижу Атиллию, я очарую это бронзовое сердце, которое не знает чувства к женщине и не любит,

и не улыбается, но оно услышит Сэмиас, если я уговорю его!

Маммеа слабо усмехнулась:

— Напрасно ты будешь пытаться тронуть Атилия, которого ничто не трогает. Какую власть можешь ты иметь над ним? Если даже он и угадает чувства Сэмиас, все же он не захочет ничего добиваться от нее. Этот человек всецело поглощен любовью к Мадеху, вольноотпущеннику. Весь мир для него — ничто. Видишь ли, я отведу Алексиана в лагерь, подыму всю армию и вернусь в Рим вместе с ним, будущим Императором, наследником недостойного Элагабала.

И, дрожа от волнения, она встала и прижала печального Алексиана к своему трепещущему сердцу. Потом порыв нежности прошел, и она заплакала.

— Одна, одна я, чтобы защитить его, чтобы охранять от Антиохана, Зотика, Гиероклеса, Аристомеха, Муриссима, Гордия, Протегена, от раба, скользящего в темноте дверей, от гладиатора, бродящего под портиками; одна я здесь, чтобы следить за кушаньями и винами и проводить тяжелые ночи у ложа ребенка в то время, как мечи и яды восстают против его жизни. Какое существование, о боги, боги, боги!!

Меца сказала на это:

— Ты моя дочь, как и Сэмиас, и Алексиан такой же внук мне, как и Элагабал. Я буду защищать вас обоих против вас же самих. Как ваша бабушка, я обязана любить вас всех.

Но Маммеа содрогалась, глядя длинные волосы Алексиана, чьи глаза блестели суровостью дикого ребенка, и убеждала Мезу, что Элагабал с помраченным умом и оскверненным телом не достоин любви

бабушки, что согласие с ним и с Сэмиас не может длиться долго и что Меза сама будет принуждена спасти от зараженной ветви корень доблестной и славной семьи. И она сурово добавила:

— Нет, нет, пока я жива, я не допущу его смерти, знай это!

В этот самый момент Мамер споткнулся о бронзовую мебель, которая опрокинулась с шумом. Маммеа выпрямилась, вся дрожа:

— Слышишь! Это там, там! В комнате Сэмиас! Они там, убийцы ребенка!

И она трагически указала на убежище брундузийцев в покоях Сэмиас, матери-императрицы, и, как говорили, правящей Империей вместе с Атиллием.

Брундузийцы ждали, что на них бросятся рабы, палачи, и уже Аспренас принял покорный вид, как вдруг Маммеа, заслонив Алексиана, раздвинула завесу и заметила их.

При виде этих людей, неизвестных ей и невооруженных, она медленно отступила. Ее смутил глаз Аспренаса — круглый, как луна, и красный от румян, он смотрел на нее пристально и сурово.

Устрашенная этой загадкой, Маммеа поспешила в низкую дверь вслед за Мезой и Алексианом. Брундузийцы собрались было вернуться назад, но тут послышались шаги, похожие на женские. Сэмиас?! Потеряв рассудок, они бросились в покои Маммеи и выскочили оттуда через другую дверь, которую распахнул порыв ветра, шедший как бы издалека, где было много воздуха и света. Они очутились в громадном вестибюле с высоким потолком. За вестибюлем открывалась зала, откуда доносились восклицания и выкрики сотен голосов.

XIX



нтонин, святой, почитаемый, божественный Император!

— Антонин, который дал торжество культу Солнца!..

— Который очистил мир!

— Который, будучи сам богом, в совершенстве своего тела изображает совершенство других богов и превосходство Начала Жизни!

— Начала Жизни, из которого исходит все и без которого ничего бы не существовало!

— Антонин, из августейшей семьи Антонинов, счастливо именуемый Элагабалом, богом Гор, богом Черного Камня, богом Солнца, богом Вечной и нерушимой Жизни.

— Наш юный Император, чей взгляд подобен молнии грозового неба, чей жест есть приказание, чье желание влечет немедленно исполнение; Император, освещающий всякого приближающегося к нему, очищающий того, кто осквернен...

— Антонин, счастливо вдохновленный мыслью соединить браком Астарот с Черным Камнем, Луну с Солнцем, то есть, Запад с Востоком, Мужское начало с Женским началом!

Это было точно грубое жужжание пчел, абсурдное поклонение, умопомрачающий фимиам тысяч иностранцев. Они с утра ожидали приема у Императора: германцы с светлыми волосами, кельты с опущенными вниз усами, паннонийцы, фригийцы, греки, ази-

аты, африканцы из Египта, Мавритании и Эфиопии; лица белые и лица черные; глаза серовато-синие и хладнокровно-жестокие, как у англов, и глаза цвета водорослей, как у скифов. И шумная толпа в пестрых одеяниях изощрялась, надевая Элагабала всеми достоинствами, приписывая ему земное могущество и божественную проницательность, — лишь бы проникнуть к нему сквозь широкую арку, сверкающую мозаиками, охраняемую преторианцами с мечами в руках.

Брундузийцы, влекомые шумевшей толпой, оказались близ покоев Элагабала. Император возлежал на ложе, возвышающемся на золотых колоннах, окруженный желтыми подушками и коврами, его лицо казалось красноватым от отблесков желтого цвета, рассеянного повсюду, начиная от пола, усыпанного золотым песком, и до залитого золотом потолка. Сильный запах шафрана схватил их. Маги неподвижно стояли в полусвете, волновались военачальники, которых по их грубым манерам можно было принять за выходцев из подозрительных кварталов Рима, если бы не шелковые длинные одежды и драгоценности. Император был почти нагой, иногда кто-нибудь из приближенных благочестиво прикладывался к его телу, в то время как другие громко хохотали. Из-за плеч присутствующих брундузийцы видели Элагабала в непристойной позе, а с ним юношу, которого он называл своим Божественным Супругом.

— Ужас! Ужас! — воскликнул Аспренас. И его глаз расширился и казался еще краснее прежнего.

Но под натиском толпы преторианцы обозлились. Ударами мечей они заставили отступить чужестран-

цев, отвечавших на удары возгласами величайшего обожания.

— Радость и мир божественному Антонину, чье тело есть само совершенство!

— Элагабал есть андрогин, подобно Судьбе!

— Он совмещает в себе оба пола. Слава ему!

И они, отирая испарину со лба, кричали во все горло мерзостные похвалы, желая снова быть свидетелями непристойной сцены и вымаливая себе разрешение облобызать место совершения противоестественного акта. Все, казалось, были в восторге. Никто не жаловался на далекое путешествие, или на ожидание у дверей Императора, не обращавшего на них никакого внимания, или на неизвестность даты бракосочетания Астарот и Черного Камня. Все это были посланцы городов и провинций, царьки, подвластные Империи, знатные граждане побежденных городов, богатые собственники или продажные военачальники, которые прибегали ко всяким злоупотреблениям, чтобы только прибыть в Рим и выказать рабское повиновение Элагабалу.

Аспренас хотел удалиться, он и теперь еще не понимал преимуществ Начала Жизни. И поводя в разные стороны своим громадным красным глазом, с которого не сходили румяна, он увлек за собой Туберо, а тот в свою очередь потянул за одежду Потита, лишь желавшие остаться Эльва и Мамер противились ему.

Все увеличивавшаяся и становившаяся более шумной толпа раздвинулась. Военачальники в шлемах и панцирях силой волокли за собой ребенка лет десяти, с черными заплетенными волосами, — раба,

холеного, как растение, боящееся холода — который отчаянно плакал, цепляясь худыми ножками за ноги быстро отстранявшихся иностранцев.

Вдруг брундузийцы увидели Атиллия.

В страхе и не желая теперь, чтобы он узнал их, они отвернулись, красный глаз Аспренаса остановился на чем-то черном лице, на котором в свою очередь отпечатались румяна блудницы. Между тем Атиллий поднял ребенка и втолкнул его в покои Элагабала; затем он обернулся, встречаемый поклонами, немного бледный, в высоком шлеме, — как консул, возвращающийся с поля боя.

Воцарилось молчание. Затем послышался крик и отчаянные призывы о помощи. Между разъяренным Элагабалом и обнаженным ребенком произошла жестокая, но короткая схватка... Финал этой сцены был привычным; желтое ложе, желтые подушки, надушенные шафраном ткани и тяжелое дыхание дрожащего ребенка, осыпанного золотой пылью...

Наконец чужестранцев впустили к Элагабалу. Они увидели его лежащим на ложе в пурпурном шелковом одеянии, в тиаре, с темными кругами вокруг жестоких, скучающих глаз. Тело его было отполировано пемзой, на груди висел фаллос, на пальцах сияли золотые кольца, его пурпурные сандалии были украшены алмазами выше ступни. Тонкие завитки волос покрывала янтарная пудра. Рабы-негры обмахивали его веерами из громадных павлиньих перьев, а в одном из углов под ледяными взглядами магов надсадно плакал ребенок.

Теперь чужестранцы молчали. Пораженные, они торопились исчезнуть, близко чувствуя мечи прето-

рианцев. Элагабал в это время беспечным жестом приказал убрать свою жертву.

Таким запомнили Элагабала брундузийцы, а с ними и Аспренас, огромный красный глаз которого, похожий на вечернее солнце, все это время, не мигая, смотрел на Императора.

XX



ужестранцы шли к выходу через ряд покоев, на стенах которых были написаны бесстыдные картины: спаривавшиеся животные; приапы на пьедесталах и отдающиеся им девы под мрачным взглядом матрон; на красном фоне нагие женщины среди неистовых обезьян; побежденные борцы, насилуемые победителями; а среди колонн, соединенных гирляндами, серебряные фаллосы, растущие на кустах, подобных водорослям. Иногда в глубине зал открывались залитые солнцем дворы, и белые портики шли рядами; внезапно открывались золотые сады, но когда они хотели войти туда, перед ними вырастали преторианцы с обнаженными мечами. Теперь их пугал все усиливающийся рев львов; казалось, их выпустили на свободу, и они били по полу своими могучими хвостами; чужестранцам мнилось, что они идут теперь навстречу зверям, как будто Элагабал обрек их на съедение. И в тупых головах всплывали рассказы о людях, брошенных на растерзание львам во время

пиров Императора. Все дрожали: приятели жались друг к другу, те, кто никогда не разговаривал между собой, стали объясняться на незнакомых языках, англ обнимал скифа, ибериец крепко пожимал руку кельту, египтянин целовал нубийца; иные уже зывали к родным богам. Рев зверей приближался. Вдруг сильный свет ударил в глаза, и первые, вступившие в пустую залу, ясно увидели перед собой дюжину львов на свободе, которые стали в ряд, точно дрессированные лошади, и начали рычать.

Тогда поднялся страшный крик. Преторианцы сзади ударяли людей плоской стороной мечей, даже кололи остриями наиболее упорствующих, боковые бронзовые двери закрывались с жалобным визгом: задние толкали передних, которые, спотыкаясь, падали на землю, но тотчас же вновь подымались и, бледные, с мольбой, становились на колени и целовали землю, а их давили наступавшие сзади; львы били себя хвостами по бокам и вздрагивали, точно большие собаки.

Зала все больше наполнялась людьми, но львы не кидались на них, сами испуганные этим тысячеголосым криком, и только ревели, раскрывая ужасные пасти и царапая пол передними лапами. Наконец, их оттеснил живой поток чужестранцев. Потит и Туберо, оказавшиеся в первом ряду, почувствовали близость звериных морд и легкое прикосновение гривы. Некоторые испытали тяжесть лапы на походившей шее.

Внезапно, под напором толпы, линия львов разорвалась. И тогда, к удивлению всех, животные бесшумно скрылись в дверях по знаку черных рабов, появившихся с железными крючковатыми палками.

И в зале остались только ошеломленные чужестранцы — они поднимались с пола, расправляя члены, отирали пот и поздравляли друг друга.

XXI



комнату, где брундузийцы подслушивали Маммею и Мезу, вошла Сэмиас. Небрежная, в разметавшейся столе, с колеблющимися грудями под золототканой субукулой, едва придерживаемой застежками из топазов, с распутившимися сандалиями из белого войлока на обвязанных пересцелисом ногах, — она села на ложе и рассеянно посмотрела на расставленные на полу склянки и чаши, на опрокинутую бронзовую мебель и беспорядок в ее комнате, обличавший чье-то вторжение. Она подумала, что это, очевидно, сестра ее, Маммеа, хотела убить ее и ее сына Антонина, и пришла в ужас от этого неслыханного замысла. Питая слепую привязанность к сыну, она была готова на все, и безмерная страстность ее материнского чувства скрывала от нее то, что замышляли другие. Она наивно верила в покорное преклонение всей земли перед ней и им и, всевластная, в своем ослеплении не замечала ни ненависти, ни надежд, ни кровавых слез, ни горестей, ни заговоров — опасности, ежеминутно угрожавшей ей и ее сыну.

Прием чужестранцев продолжался, и доносившийся до нее шум не возвещали никакой опасности.

Вокруг не было чего-либо примечательного, поэтому Сэмиас ничем не могла объяснить беспорядок в комнате. Она прошла в покои Мезы и Маммеи, но они тоже были пусты. Сэмиас в нерешительности направилась в гинекей.

Празднества перевернули в нем вверх дном весь порядок: рабы бродили по кубикулам; женщины разбежались кто куда; патрицианки забавлялись с приближенными императора, в закоулках дворца девственницы, обнимаясь, лобзали одна другую. Бесконечная похоть без удержу разлилась повсюду.

Покои Сэмиас были расположены в одном из крыльев дворца, среди садов, где из голубых вод бассейнов под взорами статуй поднимались нимфеи. Она шла все дальше, и шум удалялся от нее. Одни только черные евнухи в митрах из кожи пантеры, с окрашенными киноварью веками бродили по гинекею, падая ниц на ее пути. Она думала про Атиллию, самую любимую из окружавших ее девственниц, сестру Атиллия, молчаливого, таинственного, ярого слугителя Черного Камня, — никто еще не смог его смягчить, его, вдохновлявшего Антонина и поклявшегося ненавидеть женщин, потому что он не принадлежал еще ни одной; и про этого вольноотпущенника Мадеха, нарумяненного и надушенного, бывшего всегда при Атиллии, как тень, стройная, тонкая и изящная!.. И в ней пробуждалась ревность женщины к этой другой любви, ревность, вызванная прежним чувством, которое угадывала Меза. Много лет она знала Атиллия, который восхищал ее в Эмессе, облеченный в пурпурные одежды; и она еще тогда старалась проникнуть в тайны его жизни с вольноотпущенником, в расцвет его грез, плодом которых

явилась идея поклонения жизни и живому божеству, из плоти и крови, в лице ее сына Антонина Элагабала; он, будучи андрогином, подобно Первичной Силе, должен был отдавать свое тело всем — мужчинам и женщинам — ради туманной и необъяснимой тайны творения. И культ этого бога, который был ее сыном, в пятнадцать лет избранным в императоры, этот культ, разлившийся по земле с невероятной быстротой, должен был вытеснить все другие, потому что он был человечен, потому что давал простор страстям, потому что давал широкое толкование философии и религии. Таким путем Атиллий приобрел огромную власть над нею, Сэмиас, и эта власть еще более возростала благодаря его воздержанию в отношениях со всеми женщинами. Он отвергал всех, кто хотел оторвать его от Мадеха! Что же это был за человек, который из всех соблазнов Империи избрал только один и сохранил при этом холодную трезвость мысли главы религии, защищающего обряд и созидającego культ, чуждый общим верованиям и кажущийся сверхчеловеческим?

Конечно, его мысль, туманная для всех, была ясна ей, Сэмиас, потому что каждое действие Элагабала, посвященное торжеству Черного Камня, было вдохновлено Атиллием, которого она видела на тайных совещаниях, где сама присутствовала для одобрения его действий. Ему был обязан Рим похищением Священных Щитов, Огня Весты и Палладия. Ему был обязан Рим и тем, что город превратился во всемирный лупанар, где женщина отдавалась мужчине, ставшему андрогином; и при этом ни женщина, ни мужчина, которые навсегда бы могли проникнуться отвращением к акту любви, не сознавали этого все-

общего переворота. Атиллию же Рим был обязан и зрелищем бракосочетания Луны и Солнца, то есть двух форм жизни, отныне слитых, как он хотел бы слить и оба пола. Как велик этот Восток, полный Солнца и золота, пахучих цветов, пышных религий, необъятных наслаждений! Восток, отразившийся в душе Атиллия, более победоносного, чем Цезарь, заставившего землю преклониться пред одним божеством, но живым — ее сыном Элагабалом Антонином, основателем блистательной грядущей — и последней для человечества, — династии Императоров Черного Камня.

И, как женщина неуравновешенная, что во многом объяснялось неупорядоченным образом жизни, но при этом ободряемая снисхождением к нему обитателей дворца, она поклялась себе щедро, как только может мать Императора, вознаградить того, кто приведет Атиллия в ее благоухающие финикийскими ароматами объятия, на ее грудь, уже предвкушающую наслаждения. Как бы поспешно она сейчас в этой комнате сбросила с себя ожерелья из бирюзы и жемчугов и браслеты с рук, и с каким бы наслаждением, осушив золотые чаши, она, нагая, отдалась бы ему на этом ложе, пропитанном шафраном и вербеной! И среди бесконечных, никогда не удовлетворенных порывов сладострастия он забыл бы Мадеха, а она, властительница Империи, уже в эту ночь в эротическом исступлении бегала бы за мужчинами, подобно Мессалине, другой императрице, служившей ей примером.

Издали, совсем издали до нее долетел звук поцелуев, затем юный голос, быть может, голос девы, отдающейся какому-нибудь мужчине. Из недр гине-

кея исходил этот крик страсти, подобный радужному цветку вечно активной любви, которую он заключал в себе. Охваченная истомой, Сэмиас медленно шла сквозь ряд комнат, украшенных мозаикой и золотом и ведущих к портикам, под которыми разгуливали, сверкая, чванливые павлины. Она увидела в глубине одного из дворов башню, украшенную драгоценными камнями, покрытую ценными металлами. Когда-то Элагабал приказал воздвигнуть эту башню, чтобы броситься с нее в тот день, когда римский народ захочет отнять у него власть. Теперь башня одиноко возвышалась, подобная громадному фаллосу, в варварском сверкании ониксов, сардониксов, агатов, аметистов, хризолитов, перламутра и кораллов, с занавесями багряного и пурпурного цвета, которые колыхались на вершине, как кровавые знамена. И горесть овладела ею. В ее памяти воскресла смерть императоров, брошенных в клоаки, заколотых и задушенных, вспомнились ей восстания преторианцев, потоки крови, краснее, чем занавески этой торжественной и немой башни, резня людей и избиение мужчин и женщин, происходившие в дни таких событий. О нет! Нет! И, освещая пороки Элагабала его величественным званием жреца, она думала, — как перед этим сестра ее Маммеа об Алексиане, — что этот дорогой Антонин, этот тихий отрок со спокойным ликом, эта молодая доблестная душа не может погибнуть. Мир не должен быть потрясен этой потерей, которая уже заранее возмущает и землю, и небо.

Но снова раздались отчетливые и беспрестанно повторяющиеся звуки поцелуев. И среди них она теперь ясно расслышала голос, только один голос — голос девственницы, который показался ей знако-

мым. Он шел с другого этажа, с лестницы, скрытой занавесой, и туда направилась Сэмиас.

В круглой, наподобие храмовой залы, комнате с желобчатыми пилястрами по стенам Атиллия, белая в дневном свете, падающим с потолка, совершенно нагая, любовалась своим стройным телом, тонкостью бедер, движениями своей высокой груди, на которую падали ее окрашенные в яркий цвет волосы. Она рассматривала себя в большое стальное зеркало, подымая поочередно руки, и выражала свое восхищение восклицаниями и поцелуями, услышанными Сэмиас. Фиолетовые глаза со все увеличивающейся силой страсти в их глубине остановились на императрице, которая медленно вошла, молчаливая и печальная.

Девушка и женщина переглянулись, причем Сэмиас как бы позавидовала солнечным грезам, золотившим сердце Атиллии, ей было досадно, что она, Сэмиас, для того чтобы возбудить себя видом своего тела, должна была окружать себя славой и чудовищными измышлениями — тогда внешность изошренно меняла линии, краски и ощущения, опьяняя ее. Сэмиас вспоминала себя в те давно прошедшие времена, когда чрево ее еще ожидало Элагабала, будущего властителя мира. Среди пышных картин Сирии пробудил ее голос жизни и бросил в объятия мужчине, которого она никогда потом не видала таким прекрасным, богоподобным, чарующим; вспомнила она безнадежную измененность ее теперешних любовных утех, свои отчаянные поиски самца в притонах Рима, — и это казалось ей падением. Атиллия, которая все еще продолжала стоять обнаженной, напомнила ей брата нежностью своего

профиля, взглядом своих фиолетовых глаз и необыкновенной живостью лица. И тогда вдруг Сэмиас в неистовстве схватила молодую девушку, притянула к себе и, поцеловав в грудь, стала ласкать ее тело, а улыбающаяся Атиллия покорно отдалась прикосновениям женских нервных рук.

XXII



ужестранцы шумно шли, снова преследуемые преторианцами. Некоторые из упорствовавших были убиты, а остальные, испуганные, ступали по их крови, которая текла повсюду. За бронзовой дверью им открылся бесконечно длинный коридор, и они вошли в него. Теперь они уже не ликовали в честь Императора, не приписывали ему сверхчеловеческих свойств, не расточали ему хвалы за то, что он задумал сочетать браком Луну и Солнце, сделал из Черного Камня символ жизни и осмелился поставить себя Богом, — он, человек! Единственной их заботой было уйти возможно скорее из этого дворца, где их убивали, из дворца, в котором жили львы. Но — и это было совершенно неожиданно — первые, достигшие конца коридора, вскрикнули с облегчением, настолько их очаровало то, что они увидели.

Они попали в громадную залу, похожую на внутренность храма, ее желобчатые колонны с капителями из толстых акантовых листьев поддерживали

разделенный золоченными балками потолок, круговая галерея, с оградой и портиками из красноватого мрамора, отделяла эту залу от других.

Их изумленным взорам открылись желтые ложа, пурпурные занавесы, вазы на ониксовых подставках, ткани из гетейской шерсти, канделябры, бассейны с водой, сверкающие в садах. На полу — мозаики с изображениями варварских триумфов императоров, пленения народов и битв, сплящих золотом брони и шлемов, восхождения на Капитолий и квадриг, запряженных белыми лошадьми, несущимися по аренам цирков. На потолке — химерическая живопись, ярко-синие моря, узорчатые корабли, преследуемые группами дельфинов и плывущие к розовым берегам; фантастические города под белыми небесами со стенами, опирающимися одна на другую, ворота и охраняющие их нагие амуры, женщины, которых обнимают в цветущих рощах; а в портиках дверей — симметричные узоры из золотых и серебряных пластинок.

Победное пение! Чужестранцы видят, как бы в апофеозе, Элагабала, которого несут маги на золотом троне; внезапно в залу врываются фигляры и проститутки этого утра, мелодии их флейт, цистр, кротал, тимпанов, барабанов, железных труб, кифар и арф сливаются в странно резких звуках. Император ложится на высоко поставленную сигму; направо от него Гиероклес, налево Зотик, властный фаворит, в широкой одежде, в сандалиях, завязанных, как у женщины, раскрашенный и сладострастный; Элагабал целует поочередно их глаза.

Рабы ставят стол на треножник перед сигмой появляется процессия жрецов Солнца; дрессировав

ки ведут львов и леопардов, и их грозные тени падают на залитые солнцем стены. Император подымает золотой кратер под взглядами неподвижных магов; проститутки бегут от преследования в соседние залы, где происходит грубое сближение полов. На них смотрят чужестранцы, забывшие недавние опасности. И инструменты, как бы прислушиваясь друг к другу, звучат то торжественно, то жалобно.

Благовония выются дымными спиралями, смягчая резкость убранства, даже изменяя очертания предметов. Теперь чужестранцы становятся свидетелями вещей, о которых они не могли даже и грезить, и как будто опьянение Элагабала передалось и им, — они громко обсуждают каждый жест Императора, каждое блюдо, которое ему подают, каждое появление новых лиц. По бокам от него устанавливают другие столы и еще столы, и на сигмах с пурпурными подушками располагаются обжоры, пьют из чаш непристойной формы — диатрет и акратофор, — вино из полэи и вино из мастики, которого Рим тогда еще не знал. Иностранцы называют друг другу блюда: копыта верблюдов и гребешки, срезанные с живых петухов, павлиньи и соловьиные языки; внутренности мулов на серебряных подносах, поставленных на спины бесстыдных силенов, протянувших ноги в золотые кусты; мозги феникоптер, яйца куропадок, головы попугаев и фазанов в чеканных сковородках. Рабы и рабыни в шелковых пурпурных одеждах, с заплетенными в тонкие косы волосами, как бы плывут по полу, усыпанному лилиями, розами, нарциссами и гиацинтами, извиваясь телом и покачивая станом, точно в каком-нибудь восточном танце, под гром-

кий аккомпанемент инструментов и пение жрецов Солнца, прославляющих Черный Камень.

Элагабал, по-видимому, пресыщен и отказывается от великолепных блюд, которые приводят в восхищение иностранцев. А вокруг продолжается пиршество, попойка, наполняя дворец страшным шумом, в то время как разврат бушует в соседних залах, на коврах и на шкурах животных, на ступенях, под портиками и в садах: повсюду! повсюду! повсюду! Точно Элагабал с высоты своей сигмы направляет силы сладострастия; иногда он рукоплещет тому, кто многократно направляется на арену борьбы жизни, куда он сам хотел бы побежать, если бы Гиероклес и Зотис не удерживали его.

Настала очередь фигляров: один пляшет на канате, держа в руках амфору, полную воды; другой заставляет змею становиться на хвосте и подпрыгивать под звуки флейты; третий борется с обезьянами, одетыми, как гладиаторы; четвертый заставляет собак всходить по лестнице и прыгать сквозь кольца. Но главный успех достается ручному крокодилу, который то свертывается шаром, то хватается за мечи и идет в сражение, точно воин. Он трижды открывает пасть при упоминании божественного имени Элагабала, потом перевертывается на свою чешуйчатую спину и, наконец, с визгом ползет к его ногам, чтобы лизать их. Прекрасная забава — крокодил! Император доволен, но боясь, что такой артист может показывать свое искусство какому-то другому императору, он приказывает жестом увести его вместе с его хозяином, и гладиаторы убивают обоих ударами палок с железными наконечниками, раскаленными на огне.

Ах!!

Увы!.. Страх снова овладевает иностранцами, которые думают, что это убийство человека и животного у них на глазах может закончиться и их собственной смертью в этом дворце, полном львов, леопардов, гладиаторов и преторианцев. Они ничего не ели с самого утра и были страшно голодны, о чем, наконец, вспомнил Элагабал; номенклатор возвещает им, что, благодарный за их подчинение, за их покорность и любовь, Император предоставляет им дворец Цезарей с его погребями, полными хороших вин, с его гигантскими кухнями и кладовыми, где хранится свиное вымя и окорока, чечевица, бобы, горошек и рис, смешанный с аэролитами, а также виноград из Апамеи, которым он кормит своих лошадей. Настроение гостей улучшается. Рабы ставят столы перед их ложами и складными сиденьями. А в это время, ко всеобщему удивлению, мгновенно наступает ночь, и на некотором расстоянии друг от друга зажигаются канделябры.

Изумленные брундузийцы замечают, что эту самую залу с внутренней галереей они уже видели сегодня утром, когда туда были впущены цветочницы. Стуча блюдами, мнистрисы, с салфеткой у пояса, предлагают кушанья этой тысяче чужестранцев, и те набрасываются на них с жадностью.

Но что это такое?!

И чужестранцы снова поражены; подняв руки и раскрыв рты, они роняют императорские блюда, удивительно подделанные из воска под те яства, которые только что вкушал Элагабал. Им предлагают другие, которые они отталкивают угрюмо и злобно. Вино — это окрашенная вода, хлеб — разрисованный мрамор,

фрукты — лакированная глина. И все это им подносят на великолепных золотых, серебряных и бронзовых подносах.

Но, наконец, они действительно начинают есть: им перестали подавать блюда-подделки, а угостили сосисками из рыбы, смешанной с истертой раковиной устриц, пирожками из индейского перца с подливкой из урины львов, скорлупой лангустов, омаров и черепашек, ногами орлов, чешуей крокодилов, копытами диких ослов, соусами из шерсти леопардов и — в меду — пауками, застывшими вместе с паутиной, казавшейся шелковой. Да, это был приятный пир для голодных чужестранцев! И для Аспренаса, который, оглядывая галерею своим единственным глазом, похожим на диск из окровавленного мяса, вдруг испустил крик ужаса.

Откуда-то внезапно появившиеся рабы бросали на пораженных гостей груды цветов, виденных утром. Голубой, белый, фиолетовый дождь! Гвоздики и розы, гиацинты и лилии падают им на головы, сыпятся с плеч, покрывают их ложа. Дождь становится чаще, подобно вихрю многоцветной пыли, которая выделяет удушливый аромат. И ужаснее всего то, что вокруг них, по колени засыпанных цветами, закрываются все двери.

А! Умереть вот так, после того как они только что счастливо избежали львов! И инстинктивно, ища спасения, они устремляются к центру залы, но и там неумолимые цветы настигают их потоком своих лепестков. Они пытаются взобраться на галерею, влезают на канделябры; но цветы все падают и падают и душат их.

Вот они уже по пояс в цветах!

Потеряв всякую надежду на спасение, гости покоряются судьбе и молятся своим богам, плачут и бьют себя в грудь в этой пытке цветами, подобно матросам в бурю. Рабы непрерывно продолжают бросать на них цветы, делая это с какой-то яростью, с чувством ненависти к господам, которые владеют такими же рабами, как они.

Цветов по горло!

Теперь это было бурное море цветов, и над ним возвышались измученные головы и умоляющие руки, олицетворяющие жестокость Элагабала. И это благоухающее море при свете канделябров прибывало как во время сильного прилива, топя постепенно англа и кельта, иберийца и скифа, египтянина и нубийца, явившихся на бракосочетание Луны и Солнца, чтобы присоединиться к новому культу, рукоплескать его оргиям и отречься таким образом от своей родины, своего народа и своих богов.

Но вот дождь цветов прекратился, рабы удалились с пустыми корзинами.

Раскрываются двери. Свет становится ярче. Цветы высыпаются в проходы. Слабо движутся тела. И освобождаются англ и кельт, ибериец и скиф, египтянин и нубиец, подавленные, бледные, точно пробужденные от сна; они обнимаются и дают себе клятву, что никогда боги не увидят их в этом дворце, где их едва не растерзали львы, где они ели пауков и чешую крокодила и где их коварно топили в цветах. Потом они удаляются, не без жалости бросая взгляд на трупы задохнувшихся, среди которых Туберо, Потит, Мамер и Эльва видят Аспренаса с его красным, открытым, круглым, как щит, мрачным и недоумевающим глазом!

XXIII



аленький домик скромно приютился в Каринском квартале. Благодаря его изолированности ничто не долетало до него: ни шум Рима, ни торжество бракосочетания Луны и Солнца, продолжавшееся несколько дней, ни неистовство толпы, сбегавшейся к воротам, чтобы посмотреть на чужестранцев, на этот раз действительно уезжавших.

Привратник спал в своей комнате; рабы бродили медленно и молчаливо, обезьяна смотрела на крокодила в бассейне, волшебный павлин сиял своим хвостом, и деревья сада тихо покачивались с нежным шепотом, который слышался в доме, от вестибюля до перестилия.

Месяцы прошли с тех пор, как Геэль последний раз был в этом доме.

Послышался стук в дверь, и привратник проснулся. Кто-то ждал на улице, не смея войти в дом Атиллия. При виде пришедшего привратник отступил. Он не знал этого краснолицего человека с вьющимися волосами, в простом плаще ремесленника, так решительно обратившегося к нему:

— Янитор, я хочу повидать Мадеха, вольноотпущенника могущественного Атиллия! Он же мой брат из Сирии, где мы оба были детьми.

Привратник не отвечал, не смея не только открыть рта, но даже закрыть дверь перед Геэлем, которого он

теперь вспомнил. Его смутила одежда простого работника, не соответствовавшая великолепию дома, который он охранял, и блистательным одеяниям Атиллия и Мадеха. И он стоял, рассуждая, что не принять этого человека, близкого к Мадеху, небезопасно, а принять — это навлечь на себя неприятность.

Тем не менее он решился:

— Вольноотпущенник Мадех находится у моего господина Атиллия, — при этом он поклонился, — который вместе с тем и твой господин, и господин Рима, после Божественного Императора. Но увидеть его затруднительно. Разве ты не знаешь, что вольноотпущенник Мадех уже давно живет в Палатине и никогда не бывает здесь!

— Ты лжешь, ты лжешь, янитор! — вскрикнул Геэль, не в силах поверить отсутствию своего сирийского брата. — Он живет здесь, и я не приходил раньше только потому, что не желал его беспокоить. Но я хочу его видеть. Он не забыл меня, а если правда, что он не хочет больше встречаться со мной, так я узнаю это от него, он сам мне скажет об этом.

И, отстранив привратника, все еще колебавшегося, вытолкать его или нет, он ворвался в дом одним прыжком. Обезьяна завизжала, павлин блеснул хвостом, крокодил высунул голову из бассейна и долго всматривался в сирийца, как будто он узнал лицо друга.

Геэль терпеливо ждал Мадеха. Привратник солгал, говорил он себе, чтобы убедить его в отсутствии Мадеха. И, видя этот атрий, свидетеля его душевных излияний перед своим сирийским братом, эти расписанные стены, уголок сада, тихо волнующегося, и двери таинственных кубикул, из которых, высунув голову, рассматривали его любопытные рабы, он пришел в сильное

волнение: ему вспомнился Мадех, тонкий и изящный, со звонким голосом, со странными покачиваниями стана, которые, однако, не казались ему неприятными. Почему он, Геэль, чувствовал к нему это необъяснимое влечение? А потому, что солнечная страна пела в его воспоминаниях и пели его отроческие годы, внезапно прерванные бурей восстания одной сирийской области; судьба бросила его в лагерь бунтовщиков, а Мадеха сделала рабом Атиллия. Эта настойчивость юных воспоминаний запечатлела в нем образ друга так ярко, что, несмотря на прошедшие долгие годы, ему понадобился всего лишь взгляд, чтобы узнать Мадеха.

Но грусть овладела им, хотя он и не чувствовал никакой зависти при виде спокойной роскоши этого дома; годы разлуки терзали его, грызли сердце мрачными картинами пережитых страданий и опасности, картинами ужасных часов, проведенных в борьбе с римскими солдатами, жестокими к восставшим; часов неравной борьбы, пожаров городов и храмов, быстрой победы покорителя мира над восставшими и пораженных, кончившихся их истреблением. Он пережил все это, в то время как Мадех, избалованный, хорошо одетый и сытый, посвященный Солнцу и отданный Атиллию, прожил счастливые годы во дворце из мрамора и золота. Конечно, если бы Крейстос не заповедовал милосердие и отречение от радостей, то как бы жаловался Геэль на несправедливую судьбу.

Мадех все еще не появлялся. Раздосадованный Геэль вернулся к привратнику, и тот сказал ему:

— Я говорил тебе! Ты хотел показать мне упорство, я посоветую тебе терпение. Жди вольноотпущенника! Долго ты будешь ждать его.

Геэль не верил привратнику. Он не мог себе пред-

ставить, чтобы Мадех никогда не возвратился больше в это спокойное жилище и чтобы он жил неведомо где. И он спросил у привратника:

— Ты, кажется, сказал мне, что он живет во Дворце Цезарей?

Но он не хотел позволить убедить себя; что-то подсказывало ему, что Мадех должен вернуться. Привратник больше не обращал на него внимания, и, так как рабы не гнали его вон, он прошел в перестиль, куда выходили дубовые двери комнат, украшенные фаллосами. Вокруг него шелестели шаги, шаги смущенных рабов, которые особенно не надоедали ему, все же ограничивали свободу его передвижения по дому.

Здесь все было пышно и грустно! По углам, на треножниках в виде химер, стояли вазы, дымящиеся благовониями; в отдельной комнате он увидел сигму с пурпурными подушками и бронзовые шкафы, забитые свитками рукописей, другие комнаты изящно украшались глиняными вазами. Полы были устланы коврами с изображениями крокодилов, заглатывающих гигантских кузнечиков, и диковинных растений, возносящихся к зеленовато-синему небу. С потолка свисали серебристые шелковые ткани, едва волнующиеся под легким дыханием ветра и рождающие ощущение нежности и интимной мистической жизни с ее тайными волнениями; у стен стояли связки золотого азиатского оружия и уродливые идолы из стран более далеких, чем Сирия, более далеких, чем земли, некогда покоренные Александром Великим, где были люди с желтыми лицами, узкими глазами и речью, звенящей, как колокольчик.

Геэль очутился перед кругообразной дверью, здесь горарий отмечал часы, и он вспомнил, что видел это

и раньше в каком-то городе, название которого забыл. Он нажал на дверь, и она отворилась. Геэль оказался в узком храме с куполообразным потолком; в круглое отверстие проглядывал клочок безоблачного синего неба; на колонках в виде алтаря пьедестал из драгоценных камней поддерживал сверкающий черный конус. На карнизах — маленькие изваяния египетских и финикийских богов, изображения символического Т, жаровни с курящимися благовоениями; на треножнике — неугасаемый огонь священной Весты и большое изображение Крейстоса, не похожего на того, которому поклонялся Геэль: с черными волосами, черной кожей, черными, как у индийца с Ганга, глазами и черными руками, вытянутыми вдоль черной верхней черты Т, с каплями крови на фоне черного звездного неба.

Геэль смутился. Он представлял себе Крейстоса совершенно другим: бледнокожим, как олицетворение белой расы-победительницы. Он хотел уже было вернуться назад, как вдруг снаружи поднялся сильный шум. И вдруг он ясно расслышал голос Атиллия, кричавшего:

— Схватить его! Бросить его крокодилу! Он осквернил мой дом!

Эти угрозы относились к Геэлю, и неумолимый Атиллий уже подал рабам нужный знак. Но тут появился Мадех, который, видя опасность и не понимая, как появился Геэль, бросился в его объятия, умоляя Атиллия:

— Это мой друг, мой брат из Сирии, ты знаешь, тот самый, которому ты позволил меня навещать! Это Геэль! Геэль!

Атиллий смилостивился, бросив пристальный

взгляд на друзей. И этот взгляд как бы с сожалением остановился на Мадехе; бессознательная ревность сдавила его необычайное сердце в мучительном колебании — огорчить вольноотпущенника или уступить дружбе, о которой он умолял. Но в прекрасных глазах Мадеха было столько покорности и любви, что Атиллий не выдержал и, взяв его нежную и надушенную руку, поднес ее к своим губам и сказал:

— Хорошо. Если бы я с самого начала знал, что это твой брат из Сирии, я оставил бы его в покое. Беседуй с ним в мире.

Он пошел в свои покои, несколько раз все-таки обернувшись, а друзья направились в атрий.

Сидя на бронзовой бисселии, они стали беседовать под визги обезьяны, дразнящей то сверкающего павлина, то томного крокодила. Геэль жаловался, что Мадех не попытался ни разу увидеть его, как обещал.

— Вот уже восемь долгих месяцев прошло, — сказал он, — и полная луна восемь раз светила с тех пор. Я ждал тебя, не смея сам прийти к тебе. Один раз я увидел тебя и позвал, но ты не заметил меня и не слышал.

Геэль стал говорить ему о торжествах в храме Солнца, когда он, Мадех, ехал на коне рядом с императорской семьей, улыбаясь молодой девушке, и не замечал, как в двух шагах от него брат его, Геэль, надрывался, призывая его. Мадех смутился:

— О да, я был прекрасен и радостен тогда, и она прекрасна, она, моя Атиллия!

Он остановился, подумав, что сказал слишком много. Геэль поразился:

— Тебя это удручает? Я не буду больше говорить об этом. Но ведь я же имею право спросить, что делал ты эти восемь месяцев, в течение которых я

был лишен тебя! Знай, что не было ни одного дня, когда бы я не подумал о моем брате Мадехе! А ты ни разу не вспомнил обо мне! Скажи же, почему?

По непонятной причине Мадех безмолвствовал. Наконец, медленно и с тайным страданием, сквозившим в его словах, он произнес:

— Разве я мог думать о тебе в эти месяцы, проведенные с Атиллием, который слишком любит меня, и с Атиллией, которая приводит меня в отчаяние? К тому же в этом дворце душа не может свободно искать другую душу.

Сердце Геэля сжалось. Мадех казался ему объятым скрытой болезнью, которая изнуряла его тело, расширяла глаза, делала неровной кожу лица, подернутого легкими складками, обостряла его голос и отяжеляла движения, прежде такие пластичные. Страшная мысль пронеслась в голове Геэля, и он с ужасом заметил:

— Тебя убивает Атиллий, он убивает тебя! О, несчастье! Гнусность! — И христианское целомудрие возмущалось за Мадеху, подчиненного Атиллию. Крейстос один лишь может спасти от зла, потому что он ведет к совершенству, отвлекая от зверя и греха. И он уже собирался сказать об этом Мадеху, но тот воскликнул:

— О, если б ты знал, как я скучаю в Риме среди этого шума, торжеств и постоянного пира!.. Он тоже скучает... и мы оба страдаем, и сердце мое тает вдали от свободы и покоя... я чувствую, что я уже не тот, каким был прежде... чувствую, что такое существование не может продолжаться среди окружающей меня пустоты; мне недостает чего-то иного, что не исходит от Атиллия, но отвечает каким-то моим новым желаниям, которых я не знаю и нить которых я ищу. Я скажу тебе об этом в тот день, когда про-

яснится мой мозг, окруженный теперь мраком, не смотря на то, что я жрец Солнца, Света и Жизни.

Геэль дал ему высказаться, стараясь понять источник всех бед, но он не мог найти его, настолько безнадежно погружался Мадех в мистический лабиринт своей страдающей души. Он понял, однако, что бесконечно усталый Мадех тайно страдает от Атиллия и от Атиллии и что в нем неожиданно и безотчетно — как бы в состоянии сомнамбулизма — проявилось чувство мужчины, зрелость, протестующая против подчинения его тела, властная потребность развития природных сил, ростка, на котором пока лишь выросли неестественные цветы. И когда Геэль, в утешение, обрисовал ему свою личную жизнь, полную лишений и страданий, хотя и не душевных, но не менее тяжких, Мадех ответил ему, сжимая его в объятиях, со слезами, точно пророчествуя:

— Ах, брат, жить далеко от Рима, далеко от Города, и быть свободным, свободным, как ты! Что значат твои лишения! У меня есть все, и я скучаю и отчаиваюсь и хотел бы умереть, не имея возможности свободно дышать. Все говорит мне, что мир страдает от избытка радостей, наслаждений, благовоний, музыки и сладострастия. Мстит изначальный Бог, непоколебимо царящий в небытии, из которого нам не надо было уходить. Мое страдание — это страдание мира!





КНИГА ВТОРАЯ

I



од ярко-синим небом турмы конницы, под предводительством декуриона с копьём и луком в руке, с развевающимися знаменами, с громом криков и топотом коней мчались в лагерь преторианцев. Было более ста турм, каждая из тридцати двух всадников, по восьми в ряд, под общим предводительством их примицерия Атиллия, в шлеме и панцире, в развевающейся багряной хламиде и с обнаженным мечом. Они выступили из квартала Высокой Тропы, чтобы развернуться вдали от терм Диоклетиана, огромный квадрат которых примыкал к старой, еще уцелевшей стене Тарквиния. Каждый из отрядов принадлежал к какой-нибудь народности, подчиненной Риму, или к союзной или к латинской, и праздные зеваки различали их. Италики, эпироты, дорийцы, фригийцы, каппадокийцы, германцы, кельты, бретонцы, иберы, мавры, нумидийцы, либийцы, египтяне, эфиопы, индийцы, персы, скифы, македоняне, эсклавоны, драки, сарматы, — представители всех покоренных народов

были в числе смелых всадников, которые, как живая мускулатура Империи, держали ее судьбу на острие своих мечей.

Жгучее лето покрывало сверкающими блестками сосны и кипарисы римской Кампании и разбросанные порознь виллы с окрашенными в желтый цвет портиками. Всадники сияли золотыми панцирями и золотыми шлемами, одни с копьями или короткими топорами, другие с широкими кинжалами из чеканной бронзы. Лошади грызли серебряные удила, соединенные с роговой уздой с украшениями из слоновой кости. Но особенно блестящи были катафрактари, с головы до ног облеченные в золотую кольчугу, обтягивавшую их тело и придававшую им вид гибких змей-рептилий. На шее у них были ожерелья из драгоценных камней, а на пальцах и в ушах кольца.

Во главе каждого отряда энеаторы играли на длинных медных трубах, изогнутых на конце; их звуки резали воздух, настоящая воинская ярость потрясала окрестность.

За конницей следовала пехота: три легиона из десяти тысяч человек, разделенные на когорты по шестисот, а когорты — на манипулы по двести человек. Солдаты шли быстрым шагом, их ноги походили на громадные ножницы, то открывавшиеся, то закрывавшиеся. Впереди шли разведчики; сбоку — центурионы, с виноградными лозами в руках; развевались знамена, различные для каждой когорты, а тридцать трибунов всех трех легионов передавали команды движений, подаваемые консулами. Последние имели смешной вид: внезапно возведенные в это важное звание Элагабалом, — хотя только еще не-

давно они вышли из подозрительных мест, — они обливались потом, тучные, неуверенные на своих безумно-порывистых конях; а трибуны втихомолку издевались над ними.

И грозный гул музыки врезался в топот этих тысяч людей; трубы, рожки и букцины яростно ревели. Но вот отряды конницы, а за ними и пехотинцы скрылись в лагере преторианцев, и скоро в окрестностях не стало видно ничего, кроме сосен и кипарисов, сверкающих яркими блестками, и разбросанных порознь вилл, с окрашенными в желтый цвет портиками.

Атиллий сошел с лошади; вокруг него турмы входили в свои помещения. Лагерные слуги уводили лошадей в конюшни, крытые копнами сена; другие помогали военачальникам разоружаться. Одни из воинов соединяли свои копья в связки, другие шли к водоемам; щиты, сложенные на земле, бросали отблески на сваи, а перед палатками железные шлемы сверкали, точно металлические блюда.

Аристомах и Антиохан присоединились к Атиллию. Они медленно обошли лагерь, обнесенный широким рвом и земляным валом с частоколом. Между собой они не говорили, точно хранили какую-то тайну.

Из верхней части лагеря была видна преторианская гвардия, ее кони были без седел, с недоуздкой; палатки стояли правильными рядами, по одной на десять человек. Префекты с мечами под скрещенными руками обошли эту часть лагеря вдоль и поперек, вплоть до свободного форума, где в каменной постройке хранились знамена, жертвенники богов и изображение Божественного Антонина, перед которым горели серебряные лампы.

На окраине лагеря, на мраморных пьедесталах возвышались статуи молодого Цезаря — Алексана. Сын Маммеи, в одежде мужа, стоял, вытянув руки, с непокрытой головой, в гордой позе будущего императора. Солдаты окружали эти изваяния, но при появлении Атиллия с его товарищами разбежались.

По едва заметным жестам, по уклончивым словам офицеров и солдат Атиллий угадывал назревающий заговор против Императора. И главным образом его тревожило это спокойствие армии, отсутствие доказательств, которых он жадно искал. С некоторого времени он чувствовал охлаждение мира к Элагабалу, медленное угасание веры в Черный Камень, и, под влиянием внушенных с детства понятий, он спрашивал себя, не будут ли боги мстить за то, что они были на время повержены Сирийским Конусом?

И он пожалел о тихой роскоши Эмесса, о днях, проведенных с Мадехом во дворце, куда не достигал никакой шум извне. И, бросившись безвозвратно в сексуальную революцию римского мира, достигнет ли он, провозвестник новой религии, когда-нибудь всемирного распространения любви, Андрогина, символа Первичной Силы, этого неведомого бога, более значимого, нежели Хаос и Время, апостолом которых он был? Несмотря на пример Элагабала и его приближенных, и самого Атиллия, мир возвращался к сексуальной раздельности: женщину любили как женщину, мужчину как мужчину, и соблазнительный опыт любви, ставшей символом культа жизни, постепенно умирал. Естественная любовь восставала везде, вопия о том, что ею пренебрегали, и

угрожая всякому, кто будет противиться ее расцвету, приостановленному на миг искусственной любовью.

Но эта форма любви — была ли она только искусственным настроением чувств, только фантазией сердца? Атиллий углублялся в себя и делал вывод, что он апостол этой любви, потому что действительно чувствует ее в себе, хранит ее. мучительно истекающую кровью, в своем сердце, терзаемом этой любовью, еще не вырванной из него. Разве его чувство к Мадеху, эта одинокая, бешеная и умиленная привязанность, которая превращала прекрасного и томного сирийца в подобие одной из пышных женщин, надушенных и купающихся в молоке и светлом масле, разве это не было настоящей любовью? Так думал Атиллий и упорно в своих мечтах вызывал видение мужской близости, которая пройдя через века, приведет к созданию человечества, объединяющего оба пола в одном индивидууме, в Андрогине восточных мифов.

Разумеется, это не голубые и розовые цветы первой любви к женщине, это черный цветок с черной чашечкой и лепестками, тень которого отуманивала его мозг, как очертание фаллоса. Но этот черный цвет был цветом высшего божества, непрестанно бросавшего во время и пространство те формы жизни, которые горят другими красками. Эти формы разнообразны, они имеют пол и другие особенности, но само божество неизменно и остается неподвижным — как ночь, как тень или небытие. И это ощущение ночи хранило черное племя, некогда повелевавшее Азией и Европой в черном лике бога, с руками, распростертыми на эфиопском Т, этом живом символе, извращенном новыми представлениями че-

ловечества, отрицающего Андрогина, из которого оно произошло, и твердо желающего увековечить разделение полов...

Антиохан и Аристомах бросали по сторонам долгие взгляды, стараясь уловить невидимый заговор. Армия, как огромный зверь, съежилась на земле: солдаты приветствовали их, центурионы и трибуны поспешно уступали им дорогу, всадники отводили лошадей в сторону. И они могли только заметить, что вокруг статуи Элагабала, на перекрестках лагерных дорог, было пустынно, и они мрачно истолковали это, как начало падения его Империи.

Они остановились у Декуманских ворот, построенных против Преторианских ворот, и Антиохан, — полный, мускулистый человек с быстрыми движениями, — начал уверять, что в настоящее время нет никакой опасности... Вдруг толпы солдат с жестами и криками ворвались в лагерь: гастарии смешались с велитами, легкая конница с тяжелой, всех было более тысячи. Атиллий, Аристомах и Антиохан уже хотели звать трибунов, когда другие солдаты привели двух человек, поднимавших руки к небу: седобородого старца в широкой шляпе и молодого человека с непокрытой головой, — оба шли с бесстрашным видом.

Солдаты не обращались с ними грубо, даже относились к ним с некоторым вниманием. Но при этом кричали:

— В преторию! В преторию!

Увидев примицерия и его товарищей, они разбежались, некоторых задержали подоспевшие с копьями преторианцы.

Атиллий не знал этих людей, но ему показалось,

что голос молодого человека он где-то уже слышал раньше. Не понимая причины своего смятения, он стал их расспрашивать.

— Меня зовут Магло. Я служитель Крейстоса и его проповедник. Убей меня, влей расплавленный свинец в мои жилы, брось меня зверям, растерзай меня на клочки, но я не перестану прославлять Его и кричать о мерзости разврата!

— А ты? — спросил Атиллий второго, который спокойно сложил руки крестом на своей тунике.

— Мое имя Заль. Я пришел с братом моим Магло, чтобы исповедовать Крейстоса.

— Уйдите! Уйдите! — воскликнул Атиллий. — Вы христиане! Что сделала вам Империя? Она дает вам полную свободу, и Император принял вашего бога в свои храмы! Разве этого не довольно?

И он отстранил их, но, подумав, вернул и строго спросил:

— Зачем вы смущаете войско и кто вами руководит? Отвечайте, или я сокрушу вас всей тяжестью законов Империи!

Но слова его были проникнуты некоторой снисходительностью, так как трогательное учение христиан, более глубоко проникавшее в тайники его души, чем религия Черного Камня, давно овладело им, хотя он и не признавался себе в этом. И хотя христиане был врагами, он беспокоился о них, он чувствовал себя почти принадлежавшим к ним, благодаря общему отвращению к богам и поискам божественного единства. Его обезоруживала и таинственность их собраний, где, как ему казалось, они также прославляли Начало Жизни. И он думал на основании долетавших до него слухов о некото-

рых сближениях в религиозных понятиях, что, быть может, он найдет среди христиан поддержку адептов Черного Камня, которую ему не удалось встретить среди поклонников других богов. Но Магло воскликнул с отчаянием:

— Атиллий — ты пророк Греха! Ты научил их разврату Содома! Горе, горе тебе, твоей семье, твоему племени, твоей Империи! Содом сожжет твои чресла! Ты был зачат во Зле и умрешь чрез Зло!

Он пророчествовал в бешенстве, узнав Атиллия, которого он видел на триумфе Элагабала. И с того дня ужас пред этим именем непрестанно витал над Римом, полный злобы, гнева и презрения.

Заль пытался успокоить Магло, так как христиане все еще не пришли к единомыслию в своем отношении к новому культу: одни, памятуя апокалипсис, как гелвет, относились к нему с ужасом, другие, как перс, внушающий свои убеждения всем людям Востока, считали его переходной ступенью от политеизма к христианству. Антиохан схватил Магло за руку и, грубо тряся ее, проговорил:

— Замолчи, старая собака! Скажи нам, чего ты ждал от солдат?

Тогда Магло упал на колени; из-под покрасневших век потекли обильные слезы и, охваченный порывом мученичества, умиления, экстаза, нежности, он вознес славу Крейстосу. Антиохан ударил его ногой, и тот упал. Заль благочестиво поднял старца. Поняв, что ничего не добьется, Атиллий велел отпустить их, и они гордо удалились. Магло, поддерживаемый Залем, горько упрекнул его:

— Брат мой, голуби несли мне пальмы мученичества, а грех овладел тобой. Атиллий слушал, как

ты оправдывал его гнусность, потому что вместе с другими верующими ты видишь в Содоме преддверие истинного пути. Но Содом сжигает все и сожжет тебя также, если ты коснешься его.

II



нтиохан и Аристомах приказали отвести задержанных солдат в суд, и, так как со всех сторон поднималась тревога, то они распорядились, чтобы особая стража окружила форум; преторианцы поскакали по улицам лагеря среди возрастающего шума. Сходились

трибуны всех легионов, а с ними префекты конницы и центурионы первых манипул. Дисциплина требовала немедленного разбирательства, и потому приступили к допросу. Подсудимые ответили, что они задержали обоих христиан за то, что те поносили законы среди солдат. Но это показалось подозрительным военачальникам: простые христиане не могли вызвать такого переполоха, да и потом, почему же до сих пор враждебная к ним армия вдруг проявила снисходительность? Один из солдат ответил:

— Старец, брат молодого, призывал гнев своего бога на божественную особу Императора, и предсказывал его падение. Мы остановили его кощунственную речь, но другие хотели, чтобы он продолжал, так как, говорили они, Империя скоро перейдет в другие руки.

Антиохан, обычно грубый, ударил этого солдата, а Аристомах заткнул себе уши. Но трибуны, префекты и судьи закричали:

— Скажи нам, скажи нам, кто наследует, по словам этих бунтовщиков, Божественному Антонину?

— Цезарь Алексиан, отрок Алексиан, сын Маммеи, — ответил солдат.

Все побледнели, не смея продолжать допроса, смутно чувствуя, что Империя Черного Камня теряет силу и что, желая предотвратить ее падение, они рискуют своими чинами, своим положением и своей жизнью. Они поднялись со своих мест, несмотря на протест Атиллия.

— Оставьте их в покое, — сказали они. — Теперь опасно быть строгим, потом мы исправим это.

Атиллий, печальный, удалился и затем вместе с Антиоханом и Аристомахом медленно выехал верхом на коне из лагеря.

Вскоре на их пути показались виллы, обсаженные розовыми лаврами; вокруг них в голубом небе рисовались портики; изредка то здесь, то там чернели линии кипарисов и сосен. Потянулись погребальные сооружения с надписями на венчающих их урнах, говорящими о смерти среди необыкновенной римской жизни. Затем вдали открылись холмы и вершины зданий Рима, точно копьа, позолоченные жарким солнцем. Сидя на конях, они видели начало Саларийской, Ардеатинской и Аппиевой дорог, разветвляющихся в разные стороны. И вся песчаная равнина развернулась перед ними. Атиллий по обыкновению молчал; Антиохан со злости награждал свою лошадь ударами кулаков, а Аристомах восклицал:

— Изменники, нечестивцы, клятвопреступники, лгуны, негодяи!

Он мог только говорить эти слова, а Антиохан — только бить животное. Один из них был каппадокиец, другой нумидиец — и хотя оба латинизированные, но их варварское происхождение не способствовало проблескам ума.

Они ехали по редкой траве; вдруг Атиллий крикнул и пустил лошадь вскачь. Двое других последовали за ним галопом по этой узкой, тщательно обработанной долине, и рабы расступались перед ними, угадывая в них сановников. Затем они выехали на заброшенное поле, пересекаемое Саларийской дорогой. Вдруг Атиллий остановился, пораженный:

— Я их ясно видел! Почему они исчезли?

Он объяснил своим товарищам, что только что видел, как две человеческие тени внезапно сгнули в землю, точно поглощенные ею. Однако никакого следа этого исчезновения они не могли обнаружить; и так как Атиллий собирался осматривать все поле, то Антиохан и Аристомах стали его отговаривать, опасаясь, что то были маны неведомых мертвецов. И оба они дрожали, подавленные ребяческим страхом.

Но там, в глубине, где тянулись полосы яркой травы, среди чертополоха с тощими ветвями, постоянно возникали и исчезали все новые и новые тени. Но откуда они появлялись и где потом скрывались — это оставалось загадкой. Им ясно было одно: все происходило в песчаной части поля, — и тогда они вспомнили древние предания о могилах христиан, скрытых в щелях земли. Атиллий, любопытный до всего, что касалось христианства, хотел убедиться,

облечены ли эти тени в плоть и кровь, но Аристомах и Антиохан удержали его.

— Зачем проникать в эту тайну? — убеждал Антиохан. — Пусть они приблизятся, и мы заколем их мечами! Но они слишком далеко, и нам не поймать их.

— Смрадные маны, христиане, полные заразы, плуты и воры! — проговорил Аристомах. — Пусть только приблизятся, и я убью их во второй раз!

Они возвращались и угрожали, но не смотрели больше на горизонт, боясь там снова увидеть подозрительные тени.

Вскоре они подъехали к Саларийским воротам, через которые входили люди, идущие в город, — преимущественно бедняки со своими жалкими повозками, плетенными из ивовых прутьев и нагруженных сломанной мебелью и грязными пожитками. На одной тумбе сидела женщина, опустив голову на руки, полузакрытая распущенными волосами. Услышав конский топот, она поднялась и стала посреди дороги:

— Вы не убили его? Не замучили? Не заключили в тюрьму? — воскликнула она.

Трепещущая и прекрасная, она откинула край паллы; ее волосы падали на плечи, и белая одежда плотно облегалась ее стройное тело. Ее черные влажные глаза с мольбой обратились к Атиллию, и этим она покорила его. Он решил, что это не женщина из народа, но супруга или вдова какого-нибудь знатного римлянина, который добровольно устранил себя от дел Империи.

— О ком ты говоришь? — спросил он, сдержав жестом своих товарищей, готовых проехать мимо.

— О Зале, персианине, он ушел в лагерь со старцем, и я его больше не видела.

Она ответила без определенной надежды, но заметив их седла из кожи пантеры, их панцири с выпуклыми украшениями, шлемы с золотыми узорами и драгоценными камнями, медные наколенники и их оружие, она догадалась, что это были высшие военачальники, которые могут сообщить ей о судьбе Магло и Заля. Великая тревога и в то же время великая нежность светились в ее взгляде.

— Я приказал отпустить их обоих, женщина, — сказал Атиллий. — Если ты их не видала, то, наверное, потому, что они прошли через другие ворота.

— Если только солдаты не убили их в пути! — грубо проговорил Антиохан, желая испугать побледневшую женщину.

— Твоя имя? — крикнул Аристомах. — Ты христианка, как Заль и Магло, не так ли?

— Да, я христианка и зовут меня Северой, — ответила она быстро, уходя со слезами на глазах.

— Зачем ты вздумал пугать ее? — тихо заметил Атиллий. — Наверное, она любит этого Заля, который молод и бесстрашен, но нам-то что до этого? Любовь есть любовь.

Им овладело сострадание, когда он подумал, что и он любит и любит безумно!.. вольноотпущенника, овладевшего всецело его сердцем. Эта любовь делала его несчастным, так как мир, восставая против его символизации Черного Камня, допускал только любовь двух различных полов.

Они уже собирались въехать в город по Саларийской дороге, как вдруг раздались крики. В нескольких шагах от них была таверна с открытыми ставнями,

над которыми качалась сосновая шишка. Множество солдат сидело на скамьях перед маленькими круглыми столами, в ярком свете солнца. При появлении начальников солдаты удалились с почтительными приветствиями, хотя Атиллий и крикнул им, чтобы они остались.

Поручив коней смущенному хозяину таверны, они вошли внутрь помещения, сначала показавшегося им совсем опустевшим. Но на краю каменного водоема, предназначавшегося для мытья глиняной посуды, в полутемном углу, стоял какой-то человек, худой, с непокрытой головой, в грязной тоге, безжизненно падавшей складками вдоль его дрожащего тела; он шевелил свитком папируса в руке и, увидев, что его заметили, стал кричать:

— Нет, это не для тех, но для вас троих, достославные граждане, я, Зописк, известный во всей Империи, написал эти поэмы!

И Зописк сошел, смущенный появлением трех военачальников, в шлемах и панцирях, сияющих золотом. Он лихорадочно собирал в кучу куски папируса, разбросанные по столам. Антиохан схватил один из них.

— Простите меня, я забавлял их, я льстил им, я составлял стихи для их возлюбленных и с обращением к фортуне, чтобы она благоприятствовала им, но моя поэма только для вас троих, достославные! Я прочту ее, если позволите.

Он развертывал свой манускрипт, тот самый, который Амон считал посвященным богам Зому, Нуму и Апепи — поэму о Венере. Он собирался читать ее, на ходу меняя имена, но его остановили.

Подозрительный Аристоммах, опустив свою широ-

кую бороду на плечо Антиохана, с трудом начал читать по складам латинские буквы, но Зописк поспешно помог ему.

Это была короткая строфа о достоинствах некоей Бебии, заказанная ему одним солдатом. Зописк имел многих клиентов, влюбленных, которые заказывали для женщин стихи. И, несмотря на желание Аристомаха прочитать их все, поэт скрыл в складках своей тоги те папирусы, которые успел схватить раньше.

— Я могу, достославные, написать для вас такие же стихи! Приказывайте! Нужно ли воспеть доблести войска, непобедимый меч Рима, высокую волю Императора? За несколько ассов всего!

Но они расстались с ним и пока садились на коней, Зописк, несколько не смущаясь, бегал вокруг них, держа в руках свои манускрипты с удивительными посвящениями:

— О, достославные! Меня знают во всей Империи и никто не сравнится со мной в сочинении поэмы в честь ваших достоинств и вашего значения! Вот эта посвящена вам, и я прочту ее, когда только вам будет угодно.

Они вернулись в Рим через Эсквилин, людные улицы которого были полны шума. В этом квартале многие из граждан, вольноотпущенников и рабов были еще в состоянии отупения после празднества Черного Камня, которое справлял Антонин. В течение трех дней происходила колоссальная манифестация в честь Начала Жизни, обожаемого в форме Черного Камня и в образе Элагабала. Он был написан во весь рост в одеянии жреца Солнца, длинном и с широкими рукавами, в тиаре, в неопишемом апофеозе золота, ароматов, плясок и песен.

В течение трех дней народ видел это необычное изображение, возимое на колеснице, отделанной металлами и драгоценными камнями, запряженной тридцатью шестью конями, тщательно расчесанными, в богатых пополах и с золочеными копытами. И эта колесница, которой не касались человеческие руки, несла на себе только одно это изумительное изображение, а живой Элагабал, идя спиной вперед, почтительно правил лошадьми, среди стражей, оберегавших его от падения, и рабов, бросавших ему под ноги золотой порошок, отмечавший пройденный им путь. В течение трех дней необузданное песелье развертывалось в виде грубых процессий, при свете факелов, среди разбросанных повсюду цветочных гирлянд, под звуки варварской музыки Черного Камня, объединявшей вместе флейты-скрипки, простые флейты, двойные, золотые и камышовые флейты с тимпанами, обтянутыми овечьей кожей, с медными кимвалами, с широкими арфами, с гордыми фригийскими лирами, с изогнутыми трубами, с цистрами из железа и слоновой кости, с барабанами из одного выжженного внутри ствола дерева, на которых играли изогнутой палочкой. По всему Риму шел колоссальный пир и лились потоками вина, а в цирках устраивались игры, где текла кровь гладиаторов и пленников и царил разврат между мужчинами и женщинами, между мужчинами и мужчинами, в особенности с жрецами Солнца; и это гнилое болото Порока расцветало под ярким полуденным солнцем и при ночных факелах, в притворах и на ступенях храмов, под портиками, на перекрестках и площадях, в термах, садах, — невзирая ни на каких свидетелей. И пос-

тавив своего бога в храмы Солнца среди других богов, среди патрицианских приношений, императорских знамен и позолоченной, узорчатой и эмалированной мебели, с наглыми формами грудей нагих сирен и спокойных львиных голов, Элагабал бросал с высокой башни золотые и серебряные вазы, одеяния и ткани, в то время как в городе были выпущены на свободу дикие звери. Люди погибали, но что за важность!.. Антонин Элагабал чувствовал Черный Камень; символу Жизни еще раз было совершено служение и какое служение! Потом он вернулся в сады дворца Старой Надежды, где недавно поселился; его сопровождала армия, которую затем Атиллий отвел вместе со своей конницей в лагерь преторианцев.

Пьяные валялись на пути примицерия и его товарищей; полуодетые женщины показывали свои отвратительные бедра; рабы обнажались в закоулках, отроки с гнусными движениями бежали за ними, привлеченные блеском их одежд, шлемов и брони. На узкой улице под ярким солнечным диском мужчина и женщина отдавались друг другу под отеческим взором жреца Кибелы и, ничуть не смущенные, в откровенной наготе своих тел, они как бы приглашали зрителей принять участие в торжестве жизни. Музыканты, играя на флейтах и тимпанах, кружились в облаке золотой пыли под звуки меди, дополняя обряды жрецов Солнца, покушавшихся на гнусное сближение. Иногда, опустив глаза и закрыв лицо концом тоги, проходили люди, не желавшие ни видеть, ни слышать ничего этого, а другие бежали за ними с поднятыми кулаками, и тогда поток глухих ударов оставлял кровавые следы на стенах и на земле.

То были христиане или евреи, последние обыкновенно в черном; чтобы не принимать участия в празднестве, они спасались с безумной поспешностью, преследуемые по пятам разъяренными людьми, и в ужасе призывая, одни Крейстоса, другие Иегову.

Всадники свернули к Целию; хотя то был и аристократический квартал, но празднество заканчивалось там новой, еще более сильной вспышкой, с колоссальным проявлением пьянства, обжорства и разврата. Чтобы продвигаться скорее, они пустили коней вскачь. Задавленные люди падали, толпа отеснялась, упорно желая остаться на месте. Жрецы-галлы, появившиеся из какой-то улицы, преследовали женщину, в которой Атиллий узнал Северу. Он поспешил к ней на помощь и ударил мечом одного из преследователей, который свалился, истекая кровью. Другие разбежались с поднятыми руками, преследуемые Антиоханом и Аристоммахом, в которых это всеобщее опьянение вином вызвало опьянение крови.

— Благодарю, благодарю, — сказала Севера.

Она быстро ушла, испуганная, закрывая лицо, а Атиллий следил пристально за ней, в то время как его конь мордой толкал тело умирающего жреца. На миг она обернулась, с движением признательности и исчезла в каком-то доме.

— Должно быть, там жилище Заля, — промолвил Антиохан, гордый своей победой, так как он убил еще одного галла, и тот в судорогах лежал невдалеке. Антиохан не ошибся: Севера вошла в дом Заля, который был также домом и Зописка, как раз в это время показавшегося в конце улицы с неизменным свитком в руке.

III



адех лежал на ложе с бронзовыми ножками. На нем была одежда с висячими рукавами; завитые волосы были сильно надушены вербеной. На его груди, округлой, как грудь девушки, лежал амулет.

Когда ему было тоскливо, он часто выходил из своей ком-

наты в атрий, оттуда в перистиль и дальше в сад — маленький, как разложенная тога, но таинственный и глухой; в нем росли деревья и цветы, напоминавшие ему далекую родину. Он любил сидеть здесь на мраморном кресле и часами наблюдать мир зелени, среди которой лучи солнца играли, как сверкающие мечи, — он наслаждался началом вечного забвения... Но оно быстро нарушалось течением внешней жизни, ему запрещенной.

Что случилось с Атиллием? Прежде он не был таким, ревниво охраняющим его, Мадеха, словно мучающимся сознанием того, что наступающая зрелость вольноотпущенника пробуждает его для новой жизни.

Конечно, Мадех все еще тосковал о Востоке с его пальмами, сальсолами, кактусами, лестницами храмов и дворцов, по которым восходили жрецы, такие же, как он, и императоры, как Элагабал, среди людей, несущих благовония и ткани на позолоченных подносах. И эту жизнь там, почти растворяющую человека в Вечности, он мечтал здесь начать вновь с

Атиллим, еще не до конца развращенным безумием нового культа, и с Атиллией, поразившей его своей красотой. Но это желание в нем все чаще сопровождалось вялостью мысли, заглушающей стремление к независимости, — горизонты устремлений его души не простирались дальше влюбленных взглядов и улыбок. Он, Мадех, принес себя в жертву Атиллии, его любви, казавшейся бесконечной, потому что она была телесной. Считая себя созданным для воцарения Андрогина, он смотрел на себя, как на существо среднее между мужчиной и женщиной, как на слияние двух полов, — как бы на опыт Жизненного Начала для создания определенной формы будущего. Существа, которое, как учил его Атиллий, будет соединять в себе оба пола и зарождать само от себя.

Вытянувшись на своем ложе, он ждал Атиллия, не имея желаний общаться с фамилией, то есть с толпой рабов, которые следили за порядком в доме. Мадех стоял выше их по образованию и развитию, благородство отличало цвет его тонкой кожи и прекрасных глаз. Его положение в доме давало ему право командовать ими, но Мадеху не хотелось знать ни их имена, ни национальность или вероисповедание, — он не хотел даже думать о них.

Раздался звук шагов, и он вздрогнул. Внезапно раздвинулась завеса, и вся в блеске пурпура и золота, звеня драгоценностями и самоцветными камнями, в сияющей шелковой одежде, появилась Атиллия. Шедшая за ней старая эфиопка с красной тканью на голове тут же исчезла, оставив их одних.

Атиллия не испытывала робости. Громко смеясь, она уселась в высокое кресло, соблазнительно вытянув ногу и устремив взгляд своих фиолетовых глаз

на смутившегося Мадеха. Хотя причуды в Империи Черного Камня, казалось, должны были приучить его ко всему, тем не менее его удивила смелая раскованность Атиллии, еще девственницы. Ускользнув из гинекея, она теперь вела себя как женщина, как Сэмиас, которой подражала. А Сэмиас получала удовольствие не только от того, что отдавалась всем подряд, — она еще и председательствовала в Сенате Женщин, где знатные дамы рассуждали о любви, о драгоценностях, одеждах и прическах, о красках, лошадях, носилках и о способах украшать их и управлять ими. Атиллия вынесла из этой школы смелость и распутство блудницы. В ней трепетало сладострастие, множась, звучали поцелуи, которые она почитала за любовь, и мужское начало всегда стояло перед ее отуманенным взором. В Риме тысячи таких же девственниц, как она, уже умудренных, свободных, покидали гинекей и настраивались против мужчины, уклонялись от него, чтобы в свою очередь создать в дали Времен Андрогину, объединяющую в одном существе мужчину и женщину.

Атиллия была очень изящна, очень нервна и соблазнительна! Мерцающим светом глаз она напоминала Атиллия, как будто чрезмерная возбужденность ее искусственной жизни привела к раздвоению ее личности. Брат ни слова не говорил ей о своем доме в Каринах, но она жаждала увидеть Мадеха. Ее страсть и изощренное воображение создали из него существо изящное, благоухающее, таинственно сходное с ней самой и так не похожее на других мужчин. Потому-то она и приказала эфионке следить за Атиллием. Однажды, идя следом за примицерием, Хабарраха легко разыскала дом, откуда, как узнала Атил-

лия, Мадех не выходил уже несколько месяцев. И тогда помчаться с Хабаррахой, пересечь Палантин, взобраться по улицам Целия в бешеном беге убранных золотой попоной мулов и постучаться в дом брата — было для Атиллии делом одного мгновения... На стенах дома она увидела картины, изображающие всевозможные извращения любви, — и это вызвало в ней громкий смех, в особенности ее смешили полотна, на которых женщины в борьбе страсти победоносно опрокидывали под себя совершенно обнаженных мужчин.

Когда Атиллия вошла к Мадеху, то перед глазами ее все еще стояли эти безумства, и она предвидела забавы вдвоем, предчувствуя раздражающие наслаждения девственности, вызываемые легкими прикосновениями к коже.

— Э, Мадех! Ты смотришь на меня глазами крокодила! Встряхнись, отрок! Взгляни на меня! Я убежала с Палатина с Хабаррахой, чтобы видеть тебя, чтобы говорить и смеяться с тобой, развлекать тебя, отрок, и развлекаться самой. Пойдем! Проводи меня в покои моего брата Атиллия, и дай мне увидеть их наконец. Я видела павлина, распутившего свой хвост, и обезьяну, которая сделала мне гримасу, и рабов, убежавших от меня. И янитора, который смутился при моем появлении. Разве он сердит на меня, этот янитор? Чтобы сделать ему удовольствие, я по совету ему поцеловать губы Хабаррахи.

Она встала, прижалась к Мадеху, взяла его за руку, поднесла ее к губам и рассмеялась:

— О! От тебя хорошо пахнет, как и от меня!

И Атиллия поднесла к его ноздрям свою руку, чтобы он вдохнул аромат ее кожи. Затем она села

на ложе Мадеха, взяла его за руку и усадила рядом с собой. При этом движении одна из ее белых ног с браслетами на лодыжке и с завязками сандалий из красного войлока, наполовину открылась.

— Не правда ли, как изумительно красива эта нога! Бани и пемза постоянно заботятся о ней, — воскликнула она.

Мадех не в силах был вымолвить слова: его взгляд был прикован к ее ноге, которую она покачивала нервно и быстро, откинув переливчатую ткань платья. Внезапно девушка положила ногу на его колени, обнажив ее всю.

— Она лучше твоей ноги, — сказал Атиллия. — Ты не показываешь мне свою. Что с тобой?

Она опустила ногу на пол и приподняла край шелковой одежды Мадеха. Он позволял ей делать, что ей было угодно, покорный и безучастный, как если бы перед ним был ребенок. Но она захотела откинуть выше его одежду. Тогда он со сдержанным смехом, но в некотором смущении привстал, говоря:

— Нет! Нет! Нельзя!

Повторяя «нет, нет!» он стал медленно отходить от ложа. Атиллия подскочила к нему, бросилась на шкуры пантер, сложенные в углу, и села, скрестив ноги по-восточному, так что из-под ее бедер были видны изогнутые носки сандалий.

— Иди сюда! Будем играть в кости!

Но в доме не было костей, и Мадех сказал ей об этом. Он предложил спросить их у янителя или послать Хабарраку к какому-нибудь торговцу квартала, но Атиллия воспротивилась этому.

Она сняла с себя ожерелья, браслеты и кольца и стала подбрасывать их, придумывая игры. Смеясь,

она бросила ему одну из этих вещей, и та упала между его сложенными крест-накрест ногами. Девушка схватила ее, при этом нежно проведя по его коже чуткими пальцами. Мадех сильно разволновался, он по-идиотски, в упор, смотрел ей в глаза. Атиллия резко притянула его к себе, и он упал ей прямо на грудь. Смеясь, она опрокинулась на шкуры — строфиум, охватывающий ее стан, порвался. Мадех с трудом высвободился. Не привыкший к таким играм, он хотел уже выйти в сад, чтобы там немного отдышаться, а заодно и позвать рабов, чтобы эта сцена больше не повторилась, как вдруг Атиллия вскочила и удержала его, смеющаяся и неумолимая:

— Э! Что ты имеешь против меня, отрок? Что сделала я тебе? Мы так хорошо провели бы время, если б ты только хотел.

Она завязывала распутившуюся сандалию, высоко поставив ногу на кафедру, и снова рассмеялась, глядя на него снизу:

— Подойди! Завяжи мне ее! Я люблю, чтобы узел был сбоку. Но, смотри, не порви ленты.

Он покорно обвязал ее икру лентами и сделал бант посредине. В этот момент Атиллия склонилась на него всем телом и страстно крикнула:

— Неси меня! Подними меня! Я хочу знать, мужчина ли ты, который может похитить женщину!

Всем своим весом она опустила на его плечи, рискуя опрокинуть. Страшно взволнованный, Мадех понес ее, не говоря больше ни слова. Атиллии решительно нравилась эта забава и, когда он дошел до конца комнаты, она попросила его еще раз проделать этот путь.

Наконец, девушка прыгнула на пол, очень веселая, и обняла рукой стан вольноотпущенника; она

предложила ему отдохнуть на ее груди и даже готова была нести его на плечах. Но занавес открылся, и появилась Хабарраха с гримасой, открывшей белые зубы на ее широком черном лице:

— Надо уходить! Оставаться дольше нельзя! Тебя уже ищут.

— В Сенате Женщин, — сказала Атиллия со скукой. — Однако я хотела бы видеть брата.

— Брату неприятно будет увидеть тебя здесь!

Она упорствовала, но более благоразумный Мадех посоветовал ей удалиться, хотя и чувствовал, что ее отъезд доставит ему сильное огорчение. Атиллия наполнила на миг его жизнь шумом, смехом и радостью, она пробудила в нем смущение, которое и мучило, и в то же время очаровывало его; она вливала в него могучий огонь жизни и движения. Даже в ее готовности отдаться светилось блаженство — для него это было как бы проникновение в недра какой-то солнечной природы цветов и ручейков, и он долго дышал их ароматом.

— Я вернусь к тебе, мы будем забавляться, мы будем носить друг друга на руках, будем играть в кости, ты будешь так же смеяться, как я, — крикнула ему Атиллия, которая, сделав, точно в танце, прыжок, исчезла в звоне своих драгоценностей, в шелесте столы и в шуршании сандалий.

— Не говори твоему господину, что сестра его Атиллия была здесь, — посоветовала Хабарраха привратнику, который кланялся с восхищением. Атиллия же, напротив, крикнула ему:

— Скажи моему брату Атиллию, что маленькая Атиллия ждала его здесь и вернется, чтобы увидеться с ним.

IV



Между Ардеатинской и Аппиевой дорогами тянулись ряды вилл, которые подразделялись на городские, сельские и доходные; в первых имелись столовые, спальни, скамьи и сады с террасами, другие являлись жилищами рабов, хлевами, сараями и птичниками. При более обширных виллах были великолепные сады; отсюда восхищенному взору открывалась радостная голубая даль, неподвижная зелень, вода, струящаяся во рвах, окаймленных ивовым кустарником и густо засаженными грядами.

Довольно большой была вилла Глиция, из рода Клавдиев, давшего Риму одного диктатора. В настоящее же время Глиция был очень богатый патриций, ворчун и чудак, уже в двадцать пять лет удалившийся от дел, чтобы наблюдать за своим латуком и плодами. У него было несколько рабов — ровно столько, сколько нужно; садовник в определенное время постригал деревья; виноградник покрывал землю у подножья холма, на котором стоял легкий бельведер. Оттуда открывался чудесный вид на Рим, на сеть дорог, наполненных путешественниками, солдатами и чиновниками, на виллы, тянущиеся до Сабинских гор, на акведуки, мавзолеи и желтый клочок Тибра, сливающегося с голубым морем.

Глиция бродил под портиками своего сада с блестящим бассейном для рыб посередине, под тенью

высоких роз, поднимавшихся над землей, точно камыш. Он слегка кашлял, не смотря на лето. Вдруг, быстро прикрыв горло краем тоги, он скрестил руки над головой с жестом отчаяния. Перед ним тянулись сараи и житницы, крытые розовой черепицей, группы кипарисов, беседки из тонких жердей в тени, столь дорогой для часов его отдыха, затем уступами шли виноградники, поверх которых виднелись на фоне неба обнаженные головы рабов. Он смотрел на все это, покашливая, как будто озябший и чем-то встревоженный. Но вот он крикнул, страшно заикаясь, отчего глаза его сделались совсем круглыми:

— Руска! Руска!

На этот зов прибежал старый раб в коричневой тунике и деревянных сандалиях. Его розовое лицо избороздили морщины, череп был ослепительно белым.

— Что, этот старик уже окончил свой обед? Не подвергнемся ли мы снова вторжению этих людей?

— Старик поел, — ответил Руска, — но он не хочет уходить. Геэль еще не вернулся. Заля не видно уже несколько дней. Христианам, по-видимому, хорошо в Риме, потому что они не приходят сюда больше.

— Ну, а раз им хорошо в Риме, — сказал, покашливая, Глициа, — так пусть они там и остаются. Я же поклялся, что ноги моей не будет там до тех пор, пока Империя не будет снова принадлежать римлянам, а не иностранцам. Я отверг предложения Септимия, Карракаллы и Макрина; я был с Пертинаксом, но Пертинакс умер, и мне ничего не надо. Пусть оставят меня в покое. То, что ты говоришь о христианах, меня не удивляет, они в хороших отношениях

с сирийскими императорами, которые покровительствуют их культу, а Рим теперь принадлежит им: они хорошо знают это.

— Не то утверждает Магло, — отважился сказать Руска. — Он порицает Северу за то, что она, — как и Заль, Геэль, некоторые другие христиане, которых она здесь принимает, — верит, что Элагабал послан им, чтобы помочь свергнуть других богов.

— Ах, он и не думает утверждать этого! И все же Севера рукоплещет Элагабалу! — резко вскрикнул Глициа. — Я чувствовал, я предугадывал, что Севера будет рукоплескать всему, что захотят христиане, которые имеют на нее влияние.

— Севера добра и слаба, — сказал Руска. — Это не может иметь никаких последствий. И затем, чего хочет женщина, того хочет и Юпитер.

Глициа качал головой и покашливал, поднимая плечи и все еще заворачивая горло концом тоги. Раздался шум шагов. Позади них протянулась тень палки, длинная, пересекающая тень широкой шляпы, с полями, опустившимися, как два вороньих крыла. И Магло, пообедавший в доме Северы, то есть в доме Глициа, ее супруга, появился, подняв свой посох и протягивая свободную руку как бы для благословения.

— Вы поклонники ложных богов, — сказал он, — поэтому мне остается только стряхнуть с моих сандалий вашу пыль и молиться за вас Крейстосу.

Он отвернулся. Но затем, прежде чем они успели ему ответить, спохватился:

— Я могу научить вас основам веры, просветить вас и утешить в лоне Агнца, которого я вижу одесную. Дух же витает над ним.

И, принимая Руску за Глициа, не замечая разницы между грубой туникой и тонкой тогой, он прибавил:

— Очи Северы — твоей супруги, видят свет, но к несчастью, она разделяет мысли Заля относительно Элагабала и его мерзостей. Я, Магло, утверждаю, что грех есть грех и что эта Империя на глиняных ногах упадет, подобно Зверю, в объятия смерти.

Глициа сдержал подступивший к горлу кашель:

— Значит, ты полагаешь, что Элагабалу еще недолго властвовать? Это мне нравится, да, это мне нравится!

Он повторил последние слова, опершись рукой на плечо Руска. При нем впервые предвещали близкую гибель Императора. Магло поднял посох и продолжал пророчествовать:

— Пасть Смерти поглотит не только Элагабала Антонина, но и Империю, этого зверя на глиняных ногах. Предвещаю это. Слава Крейстоса воссядет на место низверженного зверя и церковь будет жить вечно, несмотря на грех.

— Ты хочешь сказать, — спросил Глициа, — что Империя будет существовать, но без Императора?

— Да! — воскликнул Магло в порыве внезапного просветления. — И Крейстос будет главой ее!

Он поднял руки, словно распятый, откинул назад голову, устремив взгляд в голубые небеса, где изредка пролетали стаи птиц, и заговорил с самим собой:

— Я не хочу знать всех этих римлян, с их епископом Калликсом во главе, предсказывающих, подобно мне, торжество Крейстоса в Империи без Императора!

И он удалился, приветствуя Глициа. В это время

ношла Севера и скромно склонила колени перед Магло.

— Я могу благословить тебя, сестра, — сказал старик, — но не твоего супруга, поклонника ложных богов, противящегося Крейстосу.

Он возложил на нее руки и затем исчез, а Глициа, жестоко кашляя, бросил раздраженный взгляд на Северу, которая, подойдя к нему, мягко взяла его под локоть.

— Я отлично знаю, что ты никогда не будешь слушать слугителей Крейстоса, что ты не откроешь своих глаз перед Истиной, — тихо произнесла она, — но все равно ты мой супруг, и я обязана помогать тебе и любить тебя.

В этом «любить» слышалась затаенная горечь, как бы сожаление, что само это слово произнесено, и Глициа, все еще кашляя и отстраняя руку Северы, сказал:

— Помогать и любить! Да, твоего Магло, Каликста, Заля и Геэля! Римский закон дает мне право распоряжаться твоей жизнью и смертью, но я освободил тебя, я позволил тебе ходить на их собрания, даже принимать этих людей в моем доме. Ты не думаешь о своем супруге, потому что он стар и не желает этой Империи, деяниям которой ты рукоплещешь вместе с Залем и Геэлем. Но мне нравится, нравится, что этот Магло предсказывает гибель Эдагабала и императоров. Он прав, твой Магло, если только я верно его понял.

И, оставив ее, он ушел по залитой солнцем тропинке в сопровождении Руска, но не смог утерпеть, чтобы не крикнуть ей издали, перемешав, по обыкновению, все в своей слабой памяти:

— Да, он прав, твой Магло! Погибнет Элагабал вместе с этим Геэлем и Залем и их богом, и ты раскаешься, что оказывала им услуги!

Севера вошла в дом и прошла через ряд комнат, в которых висели неброские картины. В одной из комнат старая служанка складывала куски тканей: едва просохшие тоги, заштопанные субукулы, кучу всякого тряпья, которое Севера чинила для бедных христиан. Супруга Глиция отдавала свое имущество на нужды братьев во Крейстосе, а их было много, — тех, кто касался губами щедрой патрицианской чаши. Десять лет назад исповедник из Вифинии окрестил Северу, и с тех пор она посвятила себя Крейстосу, отдав своего ворчливого супруга на попечение Руски, забыла виллу и перестала наблюдать зорким оком хозяйки за этим домом, славой римлянина. И потому теперь он имел жалкий вид, особенно на фоне роскошных соседних вилл, владельцы которых приписывали необычайные страсти этой матроне, еще молодой и привлекательной, несмотря на ее кажущуюся строгость. Но никто не знал величия и вместе с тем простоты души Северы, прекрасной тем светом, которым она все озаряла; и не все знали, что она, любящая и пылкая, каждый день отрывала что-нибудь от себя и что через несколько лет такой жизни бедность может наступить для нее и ее супруга.

Она стала женой этого беспокойного Глиция, потому что так хотела ее семья, также патрицианского происхождения, удаленная уже целый век императорами от службы. При ее замужестве — десять лет тому назад — ей было пятнадцать. Глиция едва коснулся ее юности. По природе склонная к таинственности, она стала рьяной противницей Тела, и эта

телесная жизнь заснула в радостях веры, в милосердии, в самоотречении, в добрых чувствах к братьям, в пролитых слезах и нежном общении душ, целомудренных, холодных и как бы бесполох.

С тех пор как Заль привлек ее к идее Вселенской Веры, мощно воздвигающейся над гнойной мерзостью Элагабала, образовалась значительная партия мистиков, в особенности восточных, которые, как и он, поддерживали Элагабала, не преследовавшего христиан, допускаявшего их собрания и их негодование против богов; а культ Черного Камня, основанный Императором, покончит с многочисленными религиями политеизма и с философиями, более или менее пантеистическими, и будет поддерживать последователей Крейстоса наравне с последователями Черного Камня.

Эти мысли занимали теперь Северу, и она спрашивала себя, почему Магло прокликает Империю и Императора, благосклонного к христианам? Севера, Заль, Геэль и тысячи бедняков с Авентина, из Транстиберинского предместья и с Эсквилина и богатые с Целийского холма, из квартала Садов и из Кампании видели в гнусностях Черного Камня не разврат, а уничтожение старых верований, гибель старых культов, исчезновение греха испускающего последнее дыхание в мерзостях Содома и Вавилона. Будущее являлось им за пределами всего этого, светлое и чистое, как хрустальное небо, и новое человечество сияло под властью Крейстоса, язвы которого на руках и ногах истекали кровью, источающей Благоденствие и Мир, Вечную Любовь и Братство, возросшие пышными цветами в святилище его церквей, распустившихся, как белые незапятнанные лилии.

Все это вихрем проносилось в уме Северы, перед которой восставал облик Заля, каким он являлся в христианских собраниях, в особенности в последнем, когда он пришел с бледным пораненным лицом. Она думала об его душевной тоске в момент, когда он пошел в лагерь преторианцев вместе с Магло, не разделяя его идей, но и не желая оставить его на поругание солдатам; и о своем поспешном посещении его на Эсквилине в бедном христианском жилище в тот незабвенный день, когда она сделалась бы добычей жрецов, если бы ее не защитил Атиллий. Она встречала Заля и после этого, всегда пылкого, всегда таинственного, с царственным видом в расцвете своих тридцати лет: в ряду его предков один был из царей Персии, прославленный царь, когда-то заставивший трепетать землю; и эта кровь сделала Заля великодушным, таинственным, сильным духом, смелым и мыслящим.

Севера зашивала одежды для бедных, а перед глазами ее среди наплыва мыслей возникал лик Крейстоса, затем вспоминался Заль. В ее воображении образы сменились быстро, живые и яркие. Она молчала, а служанка нараспев считала перед ней тихим голосом одежды: шерстяные коричневые тоги, туники без рукавов, кожаные ремни, столы и паллы, полотняные субукулы и лицерны с капюшонами. Но здесь к ее счету присоединились долетевшие издали слова Глициа, возвращающегося вместе с Руской; кашляя, он повторял без конца:

— Да, мне нравится, мне нравится, Руска, что этот христианин предсказал гибель Элагабала. Она погибнет, поверь мне, эта Империя Северы, погибнет вместе с Богом и со своим Геэлем и Залем.

V



Атта, словно в горячке, бродил вокруг терм Антонина и Каркаллы, оживленных смехом, толкотней и восклицаниями толпы. Лысые люди с черными амулетами на шее входили в залы и выходили оттуда в сопровождении молодых банщиков, как правило, красивых, на которых они указывали друг другу пальцем. Атта, потерявший поддержку в лице Амона, который исчез месяцев шесть тому назад, не ел уже два дня и искал глазами кого-нибудь, от кого могла бы быть польза. Вдруг близ него разразились страшные крики, и он увидел, что перед портиками начали собираться люди.

Он направился к все более разрастающейся толпе. Возле него группы людей осыпали постыдными названиями лысых индивидуумов и молодых людей, уходивших с ними, обвиняя их в потворстве Элагабалу, который приказывал выискивать в термах Рима самых красивых мужчин. Атта приблизился к толпе; до него долетел звук сильного голоса; в солнечном свете чья-то рука размахивала посохом над головами. Голос предавал Императора анафеме, посох угрожал любопытным.

«Это, конечно, Магло», — подумал Атта, пробираясь к нему.

— Люди! Граждане! Я предсказываю вам! Стопы зверя ходят в смерти, а слава Крейстоса победит навеки грех, — восклицал Магло.

Атта взял его за руку и Магло сказал:

— Не правда ли, брат Атта, зверь погружается в смерть?

Он умолк, опираясь на посох и глядя своими красными глазами на Атту. Он стоял неподвижно, толпа стала расходиться в поисках новых зрелищ. Наконец Магло и Атта остались одни.

Гельвет положил руку на плечо своего брата во Крейстосе:

— Это есть пророчество, и я сомневаюсь, чтобы подобное вдохновение могло быть послано епископу Калликсту и его римлянам!

— Я тоже сомневаюсь, — сказал Атта, не зная в точности, в чем дело.

Они ушли от терм. Перед ними потянулись многолюдные улицы Капенского квартала, который окаймляла Латинская дорога слева от Авентина. Они прошли мимо многочисленных водохранилищ, придающих приятную свежесть в этой части города, пересекли сад Прометея с серебристым спокойным прудом, не глядя на храмы, в особенности на пышные храмы Бури и Сераписа. Они бродили без цели: Магло, чтобы говорить о своем предсказании, Атта, чтобы заглушить голод.

На Палатине, под портиками, стоя на тумбах, несколько человек с непокрытыми головами читали рукописи перед редкой публикой, которая их слушала, постукивая сандалиями о мостовую.

— Они читают мерзости, — сказал Магло и, подняв посох, направился к ним. Но Атта, узнав острую бородку и бритую губу Зописка, которого он давно не видел, удержал старца.

— Да, ты прав. Это Зописк, он написал кощунства

о Крейстосе. Но что нам до того? Крейстос победит их всех. Оставим их.

И он увлек его, втайне желая либо соблазнить Магло на вкусный обед, что было в этот час весьма сомнительно, либо сопровождать его до дома какого-нибудь богатого христианина, где их наверняка оставили бы ужинать. Словно угадав его мысли, Магло спросил:

— Ел ли ты? Пил ли ты? Подкрепился ли ты как подобает верующим, для того чтобы противостоять искушениям гнусного тела?

— Увы, нет! — ответил, вздыхая, Атта. — И уже со вчерашнего дня я ожидаю этого подкрепления.

— А я только что был у Северы, которая накормила меня. Я поучал ее супруга, которого зовут, кажется, Глосиа.

— Нет, Глициа, — поправил Атта и прибавил: — Я сказал тебе, что я ничего не ел.

— Значит это не было угодно Крейстосу, — произнес Магло.

И возвращаясь к своему пророчеству, добавил:

— Видишь ли, этот Глосиа или Глициа был очень рад моему предсказанию. И странно, что Севера поддерживает Элагабала Антонина, а Глосиа или Глициа — как тебе угодно, — жаждет его смерти. Они не сходятся во взглядах, этот Глосиа или Глициа, и Севера.

— А! Глициа радовался твоему предсказанию! — воскликнул Атта со странным выражением.

Он погрузился в молчание, обдумывая необычный план, давно уже созревавший в нем. Ах, если б он мог привести этот замысел в исполнение! Настал бы тогда конец голодным дням и оскорблениям богачей,

у которых он попрошайничал, настал бы конец скитаниям по грязным улицам и всем унижениям паразита, каким он был только потому, что не имел ни имущества, ни положения, хотя и был ученым — грамматиком, философом и писателем, сведущим в Апологетике; и никто этого не отрицал, несмотря даже на его гнусную нищенскую жизнь. Настал бы конец лихорадочным поискам насущной пищи и жилья и не нужно было бы избегать встречи с Залем в собраниях христиан, где он стал бы господствовать над всеми! Несмотря на свои действия, Атта, этот человек будущего, был все же христианином, но со спекулятивной и расчетливой уступчивостью во взглядах, готовый уступить букву ради духа и очень близкий к Ереси. Чувствуя, что вера в его веке нуждается в смелых толкователях и руководителях совести, он сам мог бы стать таким руководителем и толкователем, лишь бы события благоприятствовали этому. Не может ли он когда-нибудь достигнуть Престола Петра, великая и таинственная власть которого царит над тысячами покорных христиан, богатых и бедных, взаимно поддерживающих друг друга? И это завидное положение прекратило бы, наконец, вечную заботу о насущной пище и жилье, введя его в мир обильных приношений, поклонений и подчинения. Что же надо сделать для этого? Оказать церкви такую услугу, за которую она в благодарность создаст ему авторитет перед верующими; словом, надо послужить заговору Маммеи, — которая уже имела свою партию, — против Элагабала. О, есть христиане и среди них этот гнусный Заль, воображающие, будто культ Черного Камня безбоязненно будет развиваться наравне с христианством и оспари-

вать у него мирское и духовное владычество. Нет, этого не будет! Он, Атта, докажет, что все это лишь внушение зверя и греха, являющихся под разными формами, даже самыми соблазнительными, которые церковь должна рассеять.

И так как его упоение этой мыслью изливалось в потоке слов, среди которых прозвучали и такие, как зверь и грех, то Магло, все еще погруженный в свое пророчество, нагнулся к нему и крикнул на ухо, пересиливая шум толпы:

— Да, да, ты прав! Стопы зверя ходят в смерти и Крейстос победит грех! Я предсказал это Глосиа или Глициа!

— Да, Глосиа или Глициа, — бессознательно повторил Атта, мысли которого текли своим чередом.

И, желая придать практическую оболочку своей мечте, он подумал, что Глициа, муж Северы, патриций, что вместе с ним и другие патриции ждут, чтобы Империя стряхнула с себя Элагабала, как пыль с тоги, что вслед за этими патрициями к услугам Маммеи будет весь народ, если только Маммея этого захочет.

Они шли теперь вдоль стен Дворца Цезарей, зелень садов закрывала отдаленные белые колоннады; из закругленных окон торчали головы преторианцев в шлемах, которые меланхолически смотрели на залитый солнцем Город, раскинувшийся перед ними. Изредка, с легким звоном меди, открывались низкие ворота; входили и выходили таинственные люди, за которыми следили другие из-за углов соседних улиц. Атта узнал в них переодетых сенаторов и военачальников, по всей вероятности, единомышленников Маммеи.

Какое значение может иметь для него неудача? Злополучная жизнь тяготит его; он готов рискнуть

ею на этот раз, несмотря на свойственную ему ужасную трусость. И, оставив Магло, который продолжал свой путь, не понимая, зачем Атта хочет проникнуть во дворец, он храбро вошел в ворота, наполовину прикрыв голову углом своей тоги.

Его остановил привратник:

— Куда ты идешь?

Атта пробормотал наугад фантастический пароль, которого не понял старик, почти глухой. Но он подал знак другому, гулявшему с видом скучающего номенклатора, а тот в свою очередь сделал жест рукой третьему, за которым оказался и четвертый в глубине тщательно ухоженных садов со множеством статуй и бассейнов.

Они пропустили Атту, несколько удивленные длинной фигурой плохо выбритого паразита в дырявой тоге, не раз виденной около дворца в дни приемов; предполагая, что этот человек имеет сказать что-нибудь важное, обыскав его и не найдя при нем оружия, они впустили его в залу, соединявшуюся коридором с атрием. Затем перед Аттой открылись другие залы, другие атриии, приводившие в восторг брундузийцев год тому назад, а теперь безмолвные в своем пустынном величии. Он не был ослеплен ими, высокий и гордый, как будто обитал во дворце со дня рождения; с надеждой на успех он повторял про себя те слова, которые скажет перед Маммеей в случае, если она его примет.

Атта был уже в гинекее, о чем догадался по чистым и звонким звукам женских голосов, долетавших до него издалека. Он по-прежнему шел через огромные залы, портики, перистилии, атриии, мимо статуй и ваз на подставках, ковров на стенах с гигантскими рисунками и облицовки из эмалированных

плит с мифологическими картинами. Высокий и толстый раб взял его за руку и повел сначала вниз, потом вверх по тихим ступеням и затем через лабиринт темных комнат, где он наверняка заблудился бы один. Раб спросил его:

— Не ради ли ее Величества и ее Светлости, матери Цезаря пришел ты сюда?

Он щурил глаза и сжимал зубы, как бы готовый, в случае ответа «нет», — задушить его или зарезать кинжалом, заткнутым за пояс. Но Атта твердо ответил:

— Да, раб! Ради ее Величества и ее Светлости пришел я сюда! Я должен поведать ей тайну.

Тогда раб, не говоря более ни слова, повел его быстрее и, впусив в узкую комнату, запер одного. Атта увидел трон с золотыми ручками в виде крыльев сфинкса, спина которого образовывала сиденье со скульптурными символическими изображениями.

VI



ослышался звук скользящих шагов, открылась дверь, и вся в белом, с широкой перевязью из самоцветов на черных волосах, собранных в завитки, появилась Маммеа.

Она села, положив руки на крылья сфинкса; открытый взгляд ее глаз, взгляд дикой самки, остановился на Атте, строгость движений делала ее страшной. Он припал к земле и поцеловал носки ее сандалий, вышитых золотом и фиолетовыми

аметистами. В противоположность Сэмиас, которую он часто видел на улице, мать Цезаря не была ни нарумянена, ни вызывающе одета; но, высокая и простая, она казалась более опасной, в особенности благодаря этому упорному взгляду, полному мыслей.

— Ты хотел говорить со мной тайно. Кто ты? Что ты делаешь? Говори, я тебя слушаю, — медленно сказала она. Голос ее был спокоен и мужествен, одной рукой она отодвинула позади себя завесу, за которой в тени стоял неподвижно раб, гигант, державший обеими руками рукоять кинжала со сверкающим, как хрусталь, лезвием.

— Да, я имею сообщить тебе важные вещи, — сказал Атта, приподнимаясь. — Кто я? Я христианин. Что я делаю? Я охраняю тебя. Я пришел предложить тебе помощь христиан, чтобы спасти твоего сына и избавить тебя от Элагабала.

Ему нечего было терять, и он решил, что лучшая хитрость это не прибегать ни к какой хитрости. Маммеа примет его услугу или откажет без долгих разговоров — и все таким образом кончится скорее. И голод, мучивший его, вливал в его жилы какую-то лихорадку, побуждал его не жалеть ни о чем, лишь бы все побыстрее кончилось, а если такова его судьба — то хоть под кинжалом раба. Голод придавал ему своего рода превосходство, основанное на вдохновении, почти гениальность. И, так как Маммеа, не разжимая губ, молча смотрела на него с некоторым недоверием, он проговорил, возвысив голос:

— Да, нас тысячи — народ, рабы, патриции, и мы жаждем конца этой запятнанной Империи, в которой твой сын является святой жертвой! Тысячи нас жаждет воцарения добродетели и добра там, где ныне

царят зло и коварство. Мир страдает, о Величественная, от насилия сына твоей сестры и жаждет того, кому предсказано быть Августом и Императором. Помнишь ли ты тот день, когда во храме Александра Македонского появилось на свет твое дитя? Великая звезда сияла тогда над Кесарией и ореол света окружил Солнце, старая женщина принесла тебе пурпурное яйцо, снесенное голубем; кормилицу звали Олимпией, а ее мужа — Филиппом. Тот, над чьей головой витают подобные предсказания, есть избранник Судьбы. Помощь, которую я предлагаю тебе, имеет силу рычага. Знай, что если мы шепнем на ухо мужчинам и женщинам несколько таинственных слов, мы сможем привлечь к тебе и твоему сыну поток сочувствия, неотразимый в Риме и в провинциях, и тайно поколебать все то, чем Элагабал задумал бы еще поразить и обольстить. Нам легко будет побудить к восстанию наших в день зрелищ или в лагере во время празднеств и обессилить сопротивление Нечистого, который желает смерти твоему сыну. Знай же, что я доверил тебе очень большую тайну, а прошу от тебя только мира для христиан, безопасности для моих братьев и доверия к рабу, который осмеливается с тобой говорить!

Атта остановился и сложил руки и, так как Маммеа молчала, снова заговорил. Теперь он рассказывал о том, что Крейстос присоединяет Свою Церковь к Империи; о том, что грядущие века увидят в Риме не императора, а священника в белой одежде на золотом троне, имеющего больший почет, чем все великие жрецы; народы придут целовать его сандалии и осветить себя кровью Агнца. Не жажда почестей привела его, Атту, к ней, ибо он предвидит в

будущем только Царство и Закон Крейстоса, — но он устал, а вместе с ним и весь мир, от мерзостей Антонина Авита. И теперь просто необходимо объединить добродетель ее имени с добродетелью христиан, чтобы низвергнуть чудовищную Империю, которой природа противится всеми силами. Тогда очищенный от скверны мир увидит, кому себя посвятить: Императору ли с его богами и жрецами, или же Крейстосу, победителю душ!

Она не совсем понимала его, чуждая всей этой мистики, хотя советники ее сына — Ульпиан и Сабин, Ветулей и Модестин — сильно расширившие заговор, разъяснили ей учение Крейстоса. Ее тронуло только напоминание о предсказаниях, суливших Алексиану Империю. И она видела перед собой отрока, снявшего с себя претексту, уже не юношу Алексиана, а мужа Александра: под копытами его коня содрогается земля, с вооруженными ордами он гонит перса и преследует германца, восходит на Капитолий в колеснице, запряженной слонами, украшает своим присутствием Игры в цирке перед стотысячной толпой зрителей, господствует над сенаторами, превознесенный в апофеозе Императора и Августа; а она, Маммеа, тайно управляет миром — не как нервная Сэмиас, а с мудростью матроны, охраняющей свой очаг! Сердце ее забилося, и лицо оживилось.

— Я принимаю твою помощь. Не забывай прекрасного Алексиана, уже ставшего и именуемого ныне Александром. Воздвигай своими руками будущую Империю. Вместе с тобой тысячи добродетельных и сильных, которых не могут увлечь мерзости Черного Камня. И мать Отрока будет тебе рукоплескать!

Она встала и величественно улыбнулась ему. Атта припал лицом к земле, но она сказала:

— Встань. Я не забуду тебя.

Он остался один. Уже раб отодвинул занавес, чтобы увести его, как вдруг снова появилась Маммеа. Обратив внимание на худобу Атты и его плохую одежду, она решила, что ему нужна помощь, и вернулась с золотыми монетами, но он поспешно ответил:

— Я пришел не для этого! Нет, нет!

Он отказался от золота, хотя так нуждался в нем, — оно поддержало бы его в течение нескольких месяцев до решительного поворота событий. Но Маммеа, забыв свою бесстрастность, взяла его за руку и опустила монеты в одну из складок его черной туники.

— Приди снова, когда власть Элагабала пошатнется, когда начнется крушение его Империи. Твой Крейстос и мой Александр ждут того часа, когда они будут единственными властителями мира.

VII



ножество людей бежало к портикам Ливии, где широко раскинулся пышный, многолиственный виноградник, ползущий до гигантских крыш, которые вместе с четырьмя башнями Хорагия и тяжелой массой колоссея возвышались над оживленным районом

Изиды и Сераписа с его десятью горреями, или общественными амбарами, с двадцатью тремя пист-

ринами, или булочными, с кварталами Близкого Счастья, Малой улицы, Строителей и Шерсти. Туда вела улица Табернолии, между Целием и Эсквилином. В этом районе находились также термы и бассейны: Нимфей с большой купальней Клавдия, Термы Тита и Траяна, украшенные храмом Эскулапа; затем галльская школа и лагерь мизенских солдат, построенный двухъярусным амфитеатром, вершина Сабурь, небольшие храмы Доброй Надежды, Сераписа Минервы, Изиды, затерявшиеся среди громадных домов из мрамора и гранита.

Там можно было встретить молодых патрициев, которые ходили на цыпочках, изгибая торс, с тщательно причесанными или завитыми волосами, облитых благовонным маслом. Так как это происходило в ноябрьские иды, как раз на следующий день после большого праздника в Капитолии, где Элагбал появился, к изумлению римлян, в колеснице, запряженной оленями, то эти молодые патриции, как бы опасаясь воображаемого холода, обвязали себе горло шерстяными повязками и обернули ноги полосами ткани. Одни из них были в пэнулах, застегнутых на груди серебряными пряжками, и мохнатых капюшонах разных цветов; другие — в тогах, искусно задрапированных поверх туник с вышитыми рукавами; третьи не опоясывали вовсе своих длинных полосатых одежд; иные были в алых башмаках, украшенных драгоценными камнями, с острыми носками.

Некоторых встречали редкими рукоплесканиями; их бритые лица имели суровый вид; в глазах отражалось беспокойство, в худых руках они держали свертки листов тонкой кожи, накатанных на палку с

деревянным, роговым или костяным шариком, висевшим на конце.

Другие, тоже с суровым видом, бритыми лицами и тревожными глазами, но без свертков в руках, довольствовались тем, что молчаливо проходили под взглядами молодых патрициев, которые не приветствовали их рукоплесканиями.

Были и такие, которые не имели ни сурового вида, ни бритых лиц, ни тревожных глаз; толкаясь, шевеля плечами, с потухшими взглядами и сложенными сердечком губами, с осторожной походкой и речью они восторженно восклицали, в особенности слушая тех, которые не имели ничего в руках; некоторые из изречений, казалось, заставляли их терять сознание от удовольствия.

Постепенно портики заполнялись толпой настолько, что прохожим приходилось сворачивать с дороги. Кое-кто старался устроиться поудобнее, и на поставленных в ряд скамьях появились люди со свитками кожи, на которых грустно висели шарики.

Они возвышались над остальными, которые, задрав вверх носы, встряхивали плечами, поднимали на голое остроконечные капюшоны или закутывали шею тогами, и спины этих людей представляли собой колеблющееся море белых тканей, на большом протяжении вливавшееся в портики Ливии.

Наконец, раздался угрожающий, ироничный, холодный голос одного из суровых, бритых и тревожных людей. Расположившиеся в первом ряду слушатели смотрели на обладателей свитков с видом педагогов, готовых сдержать стих в границах морали, добродетели и традиций, сафического, асклепиадийского, гликонийского, алькайского, архилокического и ям-

бического метра, укутать стих наподобие носителей капюшонов и шейных повязок, оледенить его, как и они сами оледенели, и влить в оду, эпод, дифирамб, сатиру, элегию ровно столько теплоты, сколько нужно лишь для поддержания жизни.

Те, кто поместились на скамьях, точно стилеты, со свертками в худых руках, были поэты, а другие, с видом педагогов, — критики; те же, которые замирали, слушая их, были поклонниками критиков и слушателями поэтов; были еще сторонники одновременно и поэтов, и критиков, но все внимательно прислушивались к чтению произведений первых и к мудрым, уравновешенным, сдержанным, прозорливым, тонким, умным — главным образом, умным — речам последних.

Итак, голос сурового, бритого и тревожного человека, которому никто не рукоплескал, произнес:

— Начни читать степенно, Оффолл, чтобы мы слушали тебя, мы, люди со вкусом, любимые богами.

Голос другого сурового, бритого и тревожного человека долетел издалека:

— Высморкайся прежде всего и сплюнь хорошенько, Сцева, чтобы твой голос был чист и мог удачно передать оттенки твоих стихов!

Другой, очень громкий голос проговорил среди возникшей паузы:

— Не раскачивайся, держи левую руку на сердце, склони скромно голову, не имей гордости и, в особенности, будь добродетелен, Коран! Мы согласны тебя слушать!

Возмущенный голос крикнул:

— Зачем ты носишь острую бородку без усов, Зописк? Зачем выделяться? Посмотри на нас, мы

обриты, хотя и суровы и тревожны, как того требует наша добродетель. Ты достоин порицания! Борода без усов отталкивает Музу, которая так охотно льнет к бритым лицам.

Тогда несколько слушателей поэтов и поклонников критиков заявили:

— Кальвизий прав. Мы не можем дольше терпеть острую бородку без усов у Зописка, поэма которого отвратительна, если так о нем судить. Уйди! Уйди, поэт, не способный обрить свою бороду, подобно прочим!

Но молодые патриции ответили слушателям:

— Что вам за дело до того, что Зописк носит острую бородку без усов? Ему так нравится! Муза тут ни при чем, и мы думаем, что лучше быть хорошим поэтом с бородой и без усов, чем плохим, но бритым!

— Кошунство! Кошунство! — воскликнул тот, которого поклонники критиков называли Кальвизи-ем. — Муза поругана, Аполлон отвергнут, Пегас упал на бок, Поэзия умерла, благодаря бороде безусого Зописка!

Тогда поднялись оживленные споры. Один хотел, чтобы Зописк пошел обриться немедленно, другие, чтобы он остался, в то время, как поэты и сам Зописк терпеливо ждали конца бури, стоя на своих скамьях, в одной руке с достоинством сжимая свиток, другую прижав к сердцу, устремив взгляд на фризы портика и выпрямив все тело.

Наступило спокойствие: Зописк остался. Один из критиков крикнул:

— Мы слушаем зас, поэты!

И внезапно все поэты начали читать одновременно! Это были гимны Юпитеру и Вакху, оды любовни-

цам или частным лицам. Оффолл жалобно читал элегию о красотах Тибуры; Сцева быстро скандировал эпод о дружбе; Коран воевал с поэмой о мореплавании. А Зописк уткнул нос в свою поэму о Венере и никто не понимал, что тот читает, хотя он и держался с видом самого гениального поэта.

Слушатели открыли рты и подняли носы; затем, повернувшись боком, они пытались уловить стихи, которые путались, порхали, вертелись, катились, сыпались из уст поэтов светлыми каскадами правильных безукоризненных метров. Они сменяли страницы своих свитков. Некоторые нетерпеливые уходили; ряды редели; но критики не двигались с мест, свирепо решив выслушать все до конца, чтобы внушить поэтам принципы своего здорового вкуса, по их мнению, всеобщего вкуса!

Так как некоторые слушатели жаловались на неясность чтения, то поэты снова перечитывали свои стихи с необычайным журчанием речи, похожим на шум воды. И, постепенно оживляясь, они делали жесты, качали головами и принимали вдохновенные позы; в их глазах выразилось теперь не беспокойство, а энтузиазм и вдохновение. Но чтение все же не становилось от этого более понятным, тем более, что они читали все вместе. Слушатели разошлись, оставив их наедине с критиками.

Зато стали приближаться любопытные, среди которых какой-то всадник в панцире и шлеме, не стесняясь, подъехал верхом. Поэты читали, а любопытные смотрели на них сперва с вниманием, затем с удивлением, наконец, с величайшим негодованием. Поэты, продолжая чтение, уткнувши носы в свитки или воздевая руки в порыве вдохновения, видели

одних лишь критиков, вроде *bene, euge, pulchre, belle*; однако эти слова не вырывались из уст обладавших таким Вкусом; венки также не посыпались поэтам. Критики сжимали губы, опираясь на руки своими задумчивыми подбородками и бросая свирепые взгляды на поэтов, отчего некоторые из них внезапно вздрагивали.

Это длилось около часа, и вот уже чтение стало подходить к концу. Всадник с неслыханным трудом сдерживал коня, бросавшегося из стороны в сторону, оттесняя людей вокруг. Наконец, возвысив голос, он оборвал чтецов:

— Клянусь божественностью Антонина! Как это вы, поэты, не написали ничего в честь Империи?

Это была правда. Насколько можно было разобрать, произведения поэтов совсем не касались Императора. Они воспевали все: богов и богинь, блудниц и матрон, преступления и добродетель, лук из римских садов, египетскую чечевицу, коз, пастухов, Цезаря Юлия, корабли, живопись, скульптуру, ветер, источники, море, город, Игры в цирке и игры в Кости, все, кроме Элагабала и его божественности. И это возмутило всадника, который вынул меч из ножен, висевших у его бедра, покрытого медью. Поэты подняли глаза; критики зашевелились. Кто-то закричал. И вскоре поэты бежали со своих скамей, а критики удалились с суровым видом. Исчезли тоги и туники, бритые лица и тревожные глаза; точно это был необычайный отлет белых птиц, сидевших над мутным прудом.

— А ты? Что ты тут делаешь? — вкладывая меч в ножны, крикнул всадник Зописку, который продолжал читать.

И так как тот не обращал на него внимания, то он грубо схватил его за острую бородку. Зописк взвыл:

— Пощады! Пощады! Я читал, я победил бы всех поэтов, которые не умеют писать стихи, как я!

Однако он быстро узнал во всаднике одного из офицеров, виденных им у Саларийских ворот: то был Антиохан.

— Эта поэма, о достославный, была посвящена тебе. Я отлично помню тебя. Я воспевал твои добродетели, твою храбрость и твои услуги общественному делу. Хочешь я тебе прочту?

Но Антиохан дернул еще сильнее его бороду и сжал ее, как мокрую тряпку.

— Ты мне посвятил это? Ложь! И кроме того, ты должен был написать в честь Божественного Антонина!

Зописк изобразил гримасу отчаяния.

— Да! Да! Я посвятил поэму его божественности; я оговорился. Но и ты также заслуживал этого посвящения. Пусти меня, достославный. Чтобы немедленно удовлетворить тебя, я превознесу Антонина выше всех богов.

— Он и так выше всех богов, — крикнул Антиохан, постепенно успокоившись. — А если ты хочешь воспевать Императора, то пойдем со мной.

И он увел его, продолжая держать за острую бороду, сам сидя на коне, который ускорил шаг, принуждая поэта бежать с расстроенным лицом, но все еще с драгоценным свитком в руке. Прохожие оборачивались, многие смеялись, а школьники издевались над ним.

— Куда ты ведешь меня, о достославный? — проstonал Зописк.

— К Императору, он бросит тебя зверям, если твоя поэма плоха.

Они приблизились к Целийскому холму, где дома сияли блеском белого и красного гранита и мрамора. Любопытные шли следом, узнав поэта, они предположили, что Император велел привести его ради какой-нибудь невероятной жестокости. Вскоре сквозь сеть улиц показались сады Старой Надежды, а вдали, за деревьями, уже различались фризы белого дворца, украшенного золотом.

Громадная дверь позади портика отворилась. Антиохан отпустил совсем растерявшегося Зописка, а несколько преторианцев выбежало из небольшого здания, скрытого растениями, высокими, как дома.

VIII



Антиохан слез с коня и, передав его одному из преторианцев, сказал Зописку, награждая его ударом кулака в спину:

— Иди, иди! Император будет доволен, увидев тебя.

Аллея гигантских деревьев окаймляла этот, казавшийся бесконечным двор, обнесён-

ный каменными стенами, заросшими сверху дикой травой; сквозь просветы рыжеватых листьев падали яркие лучи жгучего солнца; вдали виднелась зеркальная поверхность садков с длинноногими фламинго, которые стояли, поджав под себя одну ногу.

Парки чередовали спокойную зелень лужаек с темно-зелеными сосновыми рощами и светлыми сирийскими кактусами, а тростник покачивал своими косматыми верхушками. Там были бассейны, удивительным образом укрепленные на одной колонне, извергавшей из щелей чистую прозрачную воду в каменные водоемы, на поверхности которых плавали крупные ненюфары; в других бассейнах чудовищные каменные лягушки с раздутым зобом разбрасывали веером водяные брызги; гrotы светились кристаллами застывшей смолы; там и тут высились небольшие храмы из голубых и розовых изразцов, с острыми крышами и колоннами, напоминающими издали складки белой одежды, мраморные и бронзовые статуи нагих людей в позах преследования и насилия.

То и дело пересекали дорогу бесшумно скользящие жрецы Солнца, и Зописк часто с любопытством оглядывался на них, за что выслушивал грубую брань от своего спутника, заставлявшего поэта не обращать на них внимания. Вдруг до них донеслась тихая музыка флейт и тимпанов. В колеблющейся дали, среди зелени, в блеске яркого солнечного света показалось странное шествие: двенадцать голых женщин везли колесницу, на которой стоял Элагабал, нагой; другие обнаженные женщины плясали вокруг колесницы, а прочие играли на музыкальных инструментах; за шествием следовала стража Императора, пышные хризаспиды, ударявшие в золотые щиты золотыми палицами.

— Ты увидишь, как проедет Божественный, — сказал Антиохан.

И он увлек поэта ближе к процессии, которая проследовала перед ними в ослепительном блеске

золота и нагих тел. Элагабал, весело смеясь, бросил на них с колесницы быстрый взгляд.

— И главное, читай внятно твою поэму, — сказал Антиохан, когда они остались одни. — Божественный — хороший судья, и тебя бросят зверям, если твои стихи плохи.

Сад, суживаясь, переходил в лабиринт тропинок со статуями, павильонами и алтарями, увенчанными черным каменным конусом с надписями. Потом оказалась площадка, посыпанная песком, залитая золотыми лучами солнца, и весь, окруженный зеленью, дворец: два этажа портиков, колоннада с ведущими к ней красными ступенями, белые террасы с белыми же балюстрадами и округленные вверху окна в стенах с пилястрами, на узорчатом архитраве которых был изображен фаллос. Этот дворец отличался от обыкновенных построек куполом на плоской крыше и бельведерами у портиков. В отверстия в стенах дворца причудливо проникали, спускаясь до пола, ветви деревьев; ряды колонн примыкали к аркам, за которыми скрывались двери. Пронзительные и дикие крики зверей раздавались в глубине: крики леопардов, тигров носорога и гиппопотама, который барахтался в обширном бассейне.

На площадке прогуливались восемь лысых; молча и с достоинством они взирали друг на друга, придерживая одной рукой тоги.

— Подожди здесь, — приказал Антиохан Зониску. — Я исполнил поручение. Божественный велел мне привести к нему поэта: я привез тебя. Если твоя поэма хороша, Антиохан наградит тебя, в противном случае бросит тебя зверям. Не вздумай уйти отсюда, или я прикажу преторианцам убить тебя.

Зописк остался на месте, нервно сжимая в руке свою рукопись. Мимо него прошел человек, совершенно косой; немного спустя, в конце красной под лучами солнца песчаной площадки показался другой, тоже косой — и так, один за другим, вскоре собралось восемь косых людей. Скривив головы, они не спускали глаз со входа во дворец и важно прохаживались, не обращая внимания друг на друга.

Затем появилось восемь подагриков, они медленно тащились, опираясь на палки, за ними шли восемь черных, одетых в великолепные красные одежды, а далее — восемь невероятно худых и восемь очень толстых.

Наконец, некто с чрезвычайно важным видом подошел к Зописку и спросил поэта, не опоздал ли он... Зописк ответил что-то и по реакции вопрошающего понял, что перед ним глухой...

Действительно то был глухой; к нему присоединились вскоре еще семь глухих и, не понимая друг друга, они завели громкий разговор, к которому издалека прислушивались лысые, не теряя при этом своего достоинства.

По временам рычали звери, тишину дворца нарушало также бряцанье оружия и стук передвигаемой мебели; в глубине садов, среди зелени, вспыхивали золотые блики, звуки флейт и тимпанов росли и потом замирали; появлялись изящные обнаженные женщины, их груди были приподняты, волосы свободно падали на спину — они катили золотую колесницу, на которой величественно стоял, задевая головой за листья деревьев, Элагабал.

Иногда быстро и испуганно проносились гигантские олени, и их легкий топот таял в тишине сада; за

ними бешено гнались люди в ярко-красных одеждах, бросавшие палки и камни, и настигали их на берегу голубоватых озер, где те, вздрагивая, останавливались пить.

Несмотря на музыку, шум и крики, полное умиротворение царило в этих садах, совсем не похожих на сады по Дворце Цезарей. Здесь Элагабал давал свободу своим порокам, утонченно культивировал их, как странные причудливые цветы, и только о них и думал, забывая об Империи.

Толпа мужчин высыпала из простиля дворца, и Зописк узнал в них банщиков, которых Элагабал призвал к себе из терм несколько месяцев тому назад. Вероятно, они все это время жили во дворце Старой Надежды, потому что в городе их больше не видели. Он думал, что Император, насладившись ими, лишил их жизни, но оказалось, наоборот, они были здоровы и веселы, сыты и сильны, как Юноши Наслаждения.

Зописк любил поболтать, поэтому обратился с вопросом к одному из восьми подагриков, медленно двигавшемуся, подобно большой улитке.

— Гражданин! Что мы стоим здесь, перед дворцом Божественного? Я думаю, что если нас позвали, то мы можем туда войти.

Подагрик согласился, а с ним и семь других подагриков, и все — чернокожие, глухие, лысые, худые, полные и косые — беспорядочной толпой стали подниматься по ступеням простиля. Но тут отворилась дверь, блеснули золотые пики преторианцев и оттеснили их. Больше всех кричали худые: древки копий с глухим звуком больно ударяли их по костям.

— Если нам нельзя войти, — сказал расхрабренный Зописк, — то погуляем пока.

И они стали прохаживаться по площадке; черепа лысых блестели на солнце, а косые отвратительно поглядывали друг на друга, и морщины собирались в уголках их глаз.

В эту минуту звуки музыки стали расти, и Император пронесся перед ними среди голых женщин; а так как они недостаточно быстро склонялись пред Божественным, то хризаспиды наделяли их ударами золотых палиц по затылку, после чего они падали ниц в безграничном обожании.

Но видение быстро исчезает! Во дворце раздаются звуки труб, они сливаются с ревом голодных зверей, ожидающих жертв... Наконец, номенклаторы в желтых митрах и в красных хламидах призывают Зописка, глухих, подагриков, черных, лысых, косых, худых и толстых, и все спешат на зов. Перед ними открывается обширный вестибюль. Его стены расписаны самым причудливым образом: колоннами с тянущимися по ним в диковинным изгибах растениями; пляшущими кораблями, мачты которых увенчаны вилами, а от вилл во все стороны раскинулись ветви с висящими на них мужчинами и женщинами, фигуры которых оканчиваются пальмовым листом или рыбьим хвостом; обнаженными женщинами, похищаемыми чудовищами с когтистыми лапами; сиренами и дельфинами, прыгающими в волнах среди стройных водорослей, оканчивающихся красными фаллосами; нагими героинями мифов с раскрытыми недрами плоти. Все творения являли собой противоестественный разгул похоти и сладострастия. А у стен, в окружении рослых преторианцев, стоят гигантские канделябры, помещенные на спины мраморных человеческих фигур, и эти канделябры, в виде пауков с

длинными лапами, тянутся к сводам, украшенным розами, совершенно увядшими, будто готовыми вот-вот оборваться и упасть.

Номенклатор ведет их в светлый и просторный агриум; там из бассейна крокодил выставил пасть и смотрит на испуганную толпу приглашенных. Они идут дальше, через таблинум, в комнаты с поднятыми длинными занавесями у входа, убранные роскошными пурпурными сиденьями в виде сигмы, бронзовыми и золотыми тронами, шафрановыми ложами, кафедрами из слоновой кости, четырехугольными и круглыми столами на ножках в виде звериных лап, украшенными цветами и выпуклыми фигурами с головами быков или царей с заплетенными волосами.

Звуки инструментов раздаются совсем близко. В глубине одной из комнат, в желтом свете золота тканей и стен, они видят, как Элагабал, нагой, пляшет, играя на флейте, и, двигая бедрами, кружится в вихре танца, а Юноши Наслаждений, также нагие, стоят вокруг, опустив руки к чреслам. Среди приглашенных раздается голос:

— Элагабал хочет нас осквернить!

Поднимается жалобный вопль, особенно громко вопят подагрики и глухие. Но номенклатор указывает им на темную комнату, которую они нерешительно проходят. Наконец, он открывает другое помещение, светлое, с полукруглой сигмой, окружающей одну сторону стола, уставленного яствами.

— Божественный предлагает вам утолить голод и жажду, но тех, кто не найдет себе места на ложе, он бросит зверям.

Все кинулись к столу, даже Зописк, но номенклатор удержал его за руку.

— Эй, ты! Ты не из приглашенных, ты ни лысый, ни глухой, ни худой, ни тучный, ни косой, ни чернокожий, ни подагрик. Ты только поэт. Подожди. Божественный известит, чего он от тебя хочет.

И вот при звуках золотых труб открываются все двери и появляются одетые в длинные одежды Элагабал и юноши, а за ними Гиероклес, Зотик, Гордий, Муриссим, Протоген, Аристомах, Антиохан — все приближенные Императора. Здесь нет только Атиллия, соучастника в забавах однополый любви Элагабала, в которой тот воплощает свое горячее безумие.

На сигме не хватает места всем приглашенным, которых приближенные Императора толкают друг на друга. Элагабал хохочет, и его красивое и безбородое юношеское лицо принимает шутливое выражение опьяневшего Вакха. Он еще не заметил Зописка, который в ужасе забился в угол.

Приглашенные не могли все уместиться на узкой сигме. По знаку Императора уносят стол, а рабы палками гонят их. Раздаются отчаянные крики глухих, толкаются лысые, прикрывая руками голые черепа, тучные трутся об острые плечи тощих, подагрики сбивают с ног косых, которые уродливо глядят на Императора, смеющегося все веселее.

В полуоткрытой двери видны руки, поддерживающие золотые занавеси; руки опускаются на шеи приглашенных, испуганных, обезумевших.

— Божественный прикажет бросить их зверям, — утверждает Антиохан, подойдя к Зописку. — Теперь очередь за тобой, Император выслушает твою поэму. Он хороший судья, повторяю тебе, и если твоя поэма плоха, то ты последуешь за приглашенными.

И он повлек его к Элагабалу, который, увидев поэта, рассмеялся.

— Хорошо! Я буду тебя слушать. Читай, как тебе удобнее.

Зописк разворачивает рукопись, но Элагабал уже на другом конце залы разговаривает с Гордием. Поэт бежит к нему:

— Я буду читать, Божественный.

Внезапно Элагабал делает большой шаг в другой конец залы.

— Читай, читай, я слушаю тебя! Я хороший судья, я, Император!

И он делает несколько кругов по комнате, а поэт следует за ним, бормоча прекрасные стихи из поэмы о Венере. Элагабал плохо их разбирает и кричит ему:

— Начни снова, я ничего не понял! Ты читал про Венеру, выходящую из раковины моря. Продолжай! Не останавливайся! Ничего не понимаю в твоих стихах.

Поэт продолжает бегать за Императором, которого, по-видимому, чрезвычайно забавляет подобное чтение, достаточно продолжительное, пока наконец Зописк, совершенно измученный, не прерывает чтение с мольбой:

— Пощади, Божественный! Я не в силах более!.. Я ослабел и признаю себя побежденным. Ты победитель победителей и нет равного тебе в беге, в борьбе, в прыгании, кулачном бою и метании диска. Ты без малейшего усилия, не умадив тела церомой, опрокинешь всякого атлета, я же, бедный поэт, могу только целовать твои ноги и воспевать тебя.

Элагабал останавливается, грозный:

— А! Ты признаешь себя побежденным. Я ждал этого. Посмотрим, на что ты еще годен.

И, сильной рукой схватив поэта за шею, он опрокидывает его.

— Я изнасилую тебя!

— О, Божественный! — стонет Зописк, не смея шевельнуться. — Пощади! Я напишу в твою честь поэму; ты будешь жить на Олимпе, превыше Юпитера. Моря будут лизать твои ноги, павлины и страусы повезут твою колесницу. У тебя будет венец из гор и скипетр из звезд. Отпусти меня!

— Так на что же ты годен? — продолжает Элагабал, смотря ему в глаза и не ослабляя хватку. — Я — Бог, но моя милость принадлежит всем.

Зописк умоляет:

— О, Божественный! Я не смею коснуться края твоей священной одежды.

— Ты тонко чувствуешь! Впервые встречаю я такого, как ты... А! Я знаю, ты влюблен в моих эфиопок. Подожди, подожди! Я тебе отдам одну из них, поэт, и ты мне расскажешь о ней завтра.

Он зовет номенклатора.

— Вот мой поэт, номенклатор. Он хочет провести ночь с эфиопкой. Поручаю его тебе. Завтра ты приведешь его ко мне.

И он оставил Зописка, которого взял за руку номенклатор:

— Повинуйся Божественному, или же тебя бросят зверям.

— Как и приглашенных? — спросил Зописк, бледнея.

— Да, если бы они посмели отказаться от эфиопок.

— А они молоденькие, номенклатор?

— Еще бы! Девяностолетние! Я сведу тебя к Хабаррахе, самой молодой: ей едва исполнилось шестнадцать люстр. Она ждет тебя: ты поэт, а она любит тебе подобных!

IX



В уединенном помещении дворца Старой Надежды, с портиками, окружавшими двор, в центре которого был бассейн с ленивым крокодилом, сидел, задумавшись, Атиллий. Положив ногу на ногу и подперев голову левой рукой, он мечтательно глядел перед собой, как бы созерцая мирное течение вод, отражающих картины конечных берегов.

Сперва то был сирийский вид: города с высокими башнями, пересекаемые лентами голубых вод, в которых отражаются белые храмы, колеблясь и удлиняясь без конца; дворцы с террасами из красного кирпича, охраняемые гранитными сфинксами или рогатыми гигантами, поддерживающими ряды витых колонн с капителями в виде лотоса; блики солнца лежали на них днем, а ночью луна, колеблющаяся и голубоватая, играла на этих красных ступенях и они казались кровавым водопадом; сад, в котором росли сальсолы, илекссы, кактусы, кедры и платаны, светлые бассейны сияли, как серебряные щиты, зеленые аллеи уходили вдаль, с просветами голубого неба, озаренного золотым светом.

Потом виделось ему затихшее море, его поверхность бороздил мерными взмахами весел корабль, бегущий к Брундузиуму, и в быстром его ходе рождались мимолетные видения городов на пологих, ласкаемых волнами берегах, и пляски жителей под звуки цистр и свирелей.

Вот по Аппиевой дороге стремятся путешественники из всех стран, чтобы погрузиться в ненасытность всепоглощающего Рима.

Наконец, возник и Рим, раскинувшийся на семи холмах, обомлевший в объятиях Жизненного Начала, под гигантской тенью Черного Камня, которая от садов Старой Надежды грозно поднималась в небо, как башня бесконечной высоты.

И в этой тени исчезали храмы, базилики, портики и арки; солнце меркло, встречаясь с ней, и становилось кровавым, как при затмении, а луна источала зловещий свет, желтый, как гной, и исчезали звезды, и не было ни дня, ни ночи, а все тонуло в голубой мгле.

Да, окутывая все беспросветным туманом, близилась и росла однополая мужская страсть, постепенно заглушая страсть к женщине с ее красивыми мечтами и светлыми зорями любви; под гнетом Черного Конуса судорожно билась Империя в похотливых стремлениях Андрогина, в объятия которого ее бросил Атиллий.

Он существовал, погруженный как бы в мрачную пустоту, в беспросветную тьму, подобную небытию. Ничто из наслаждений, о которых он мечтал, и из утонченностей, к которым он стремился, ничто из ожидаемых им удовлетворений не ласкало его неподвижное сердце и его тело, чуждое волнений. Его

мысль витала в головокружительных пропастях, как светоч, угасший среди ночи.

И черный цветок страсти, мрачный и холодный, без очертаний и запаха, непрерывно светился в душе Атиллия, властно сжимая ее своими лепестками, и зловеще поднимался так же высоко, как Черный Камень, в тени смертной.

И в этой тени Мадех также исчезал, и его глаза были, как два затмившихся солнца, а голос по странной аналогии вызывал представление желтого гниения. А в Каринах, где был заключен Мадех, подобно святыне в скинии, уже не было больше ни деревьев, ни бассейна, ни расписанных стен, ни золотой мебели, ничего, прежде наполнявшего дом, но какие-то бесформенные развалины, упавшие во мрак.

Извращенная любовь Атиллия к Мадеху, по воле Элагабала распространенная в Империи, постоянно раздражала его, потому что она приводила в финале к огромным нелепостям, к безвозвратному обессилению человеческой энергии.

И все-таки извращение было неспособно пустить корни в Природе, которая восставала против Черного Камня, готовясь к борьбе с ним до последнего издыхания, и если даже извращение побеждало, то только благодаря стечению обстоятельств, обыденных и лишенных гения, уродливых и смешных, очень далеких от Вечного Единства и Всемирного Совершенства, о котором мечтал Атиллий. Да и сам Элагабал, возвеличенный императорской властью, полубог по красоте, чьи золотые сандалии ступали по миллионам склонившихся голов от Востока до Запада, смотрел на культ Начала Жизни через призму забав развращенного эфеба, падая все ниже и ниже; хуже того,

он губил навсегда смелую попытку восстановить культ, возвращающий к началу Творения путем создания вновь двуполого существа, которое каждый чувствует в себе в часы смутных грез и которое наверно когда-нибудь появится.

Разочарование! Разочарование!

Не лучше ли было остаться в Эмессе, жить без Империи, приносить жертвы Черному Конусу, шествовать в процессиях жрецов, увенчанных митрами, по красным лестницам, на берегах рек и под портиками храмов. Зачем унижать еще больше дорогой сердцу культ, который, вместо того чтобы проявляться во всем величии, казался теперь зловещим и шутовским.

Элагабал куда-то несся, ослепленный своим могуществом, которое может пасть при малейшем движении римского народа, при малейшем толчке его врагов — врагов Жизненного Начала.

И Атиллий ясно видит, как эти враги мечтают бросить Элагабала в клоаки; они уже рычат слова смерти, угрожают резней, которая лишней раз покроет кровью Рим и разбросает трупы на его улицах, в его дворцах и в садах Старой Надежды, видевших безумства Элагабала.

Во главе этих врагов стоят Маммеа и Александр, военачальники, сенаторы и вожди христиан, готовые поднять народ и солдат.

У Элагабала не было защитников кроме его матери Сэмиас, Атиллия и жрецов Солнца — соучастников его удовольствий, Юношей Наслаждения и близких ему людей, слишком ничтожных, чтобы действовать: небольшая кучка преданных ему людей против затаенного чувства мести и ненависти народа.

Если бы, по крайней мере, Маммеа согласилась при-

нять новый культ, если бы она захотела сделать из Александра второго Элагабала, более достойного и величественного! О, тогда Атиллий не задумался бы покинуть Императора, как причину близкого падения нового культа! Но эта женщина отказывается от Черного Камня. Она желает, чтобы Александр был императором, замкнувшись в холодной бесполой добродетели, в особенности покорным прежним богам!

Так думал Атиллий, сидя на глубоком деревянном троне с золотыми инкрустациями и задумчиво смотря вдаль, как бы созерцая мирно текущие воды, отражающие бесконечные берега. И его не пробудили звуки труб, извещавших о прибытии Сэмиас и наполнивших громкой пронзительной музыкой сады Старой Надежды, залитые ярко-золотыми лучами солнца.

Х



рат! Старший! Зачем ты прячешь Мадеха в Каринах?

Так говорила Атиллия, вбегая в вихре своих развевающихся тканей, в звоне драгоценностей к Атиллию, который ответил ей слабым жестом. Она села к нему на колени, поцеловала его худые щеки и прижалась к его груди.

— Видишь ли, императрица очень озабочена: надо будет убить Александра, чтобы сохранить жизнь Элагабалу.

Она спрыгнула на пол и сделала изящное па.

— Да! Я хотела увидеть Мадеха, который очень скучает там. Что тебе сделал Мадех, скажи, Старший?

Она опять поцеловала Атиллия и рассмеялась.

— Надо было его видеть таким, как я его видела; он от скуки лениво бродил по комнатам, и одно у него было развлечение: пойти в атрий и таращить глаза на крокодила или делать гримасы обезьяне.

Атиллий выпрямился и спросил:

— Как! Ты, сестра, видела Мадеха? Ты его видела у меня? Кто же провел тебя туда? И как ты узнала, где я живу?

Атиллия сделала шаг, откинула голову и вытянула ногу настолько, чтобы открыть ступню, обутую в сандалию, которая при этом звонко ударилась о мозаику пола.

— При помощи Хабаррахи! Очень хитрая эфиопка! Один поэт недавно провел с нею ночь по приказанию Антонина, который любит утешать старух.

Атиллий пришел в раздражение.

— Хабарраха! Но зачем? Я запретил, чтобы кто-нибудь в мое отсутствие приходил к Мадеху, а тебя я доверил императрице, чтобы ты жила в гинекее.

Атиллия громко рассмеялась.

— В гинекее! Но разве ты не знаешь, что я принадлежу императрице, что я присутствую на собраниях Сената Женщин и что я свободна, свободна, свободна! Брат! От меня зависит, отдать или нет свою девственность римлянам. И мне захотелось повидать Мадеха, который так молод и от которого так хорошо пахнет.

Атиллий прошелся из угла в угол, а Атиллия села на трон, смущенная необычным приемом брата, ко-

того она никогда не видала таким. На ее глазах появились слезы.

— Надо было запретить мне его видеть, и я никогда бы не пошла. Но почему ты не берешь его с собой? Он чем-нибудь виноват, брат? Послушай, отпусти его на свободу!

И прибавила:

— Почему он не сказал тебе, что я его видела? Разве ты его больше не видишь?

Наступило молчание, потом она снова сказала:

— Я не раз туда приходила. Последний раз там был также один человек из народа, по имени Геэль, который очень любит Мадеха, и мы веселились втроем, нет, вчетвером, потому что я позвала еще и Хабарраху.

И немного погодя продолжила:

— Хм!.. Хм!.. Я вижу, тебе это неприятно, потому что ты не отвечаешь мне.

Атиллий молчал, взволнованный признаниями сестры. Его удручало, что Мадех не сказал ему ни слова о набегах его сестры в Карины.

— Не ты ли, сестра, запретила ему говорить мне об этом? — спросил он у Атиллии, которая сейчас же рассердилась.

— Я! Я ничего ему не запрещала, только Хабарраха посоветовала янитору не говорить с тобой об этом.

— А янитор, наверно, посоветовал Мадеху не говорить мне, — добавил Атиллий, довольный в глубине души, что нашел оправдание Мадеху.

И, чтобы добиться от сестры наиболее полного признания, он, с болью в душе, спросил:

— Ты, значит, любишь Мадеха, если ходишь его

утешать? Я держу его там потому, что здесь моя служба Императору не оставляет мне свободного времени, и он еще больше скучал бы во дворце Старой Надежды.

— Люблю ли его? — воскликнула Атиллия, вставая. — Он молод, он такой благоухающий, свежий, и, конечно, я люблю касаться его кожи, его лица с тонкими чертами. Люблю ли? Да! Я очень люблю Мадеха.

Она остановилась перед Атиллием, сверкая глазами и приоткрыв рот, собираясь вымолвить еще какое-то необычное слово и не находя его. Наконец, она быстро сказала:

— О! Я не думаю заменить тебя, потому что с тех пор как Черный Камень пожелал обходиться без нас, вы, мужчины, совсем нас не понимаете!

Она убежала, чувствуя, что глубоко задела кровавую рану страсти Атиллия.

XI



глубине дворца громко заиграли трубы. Послышался шум медленно открывающихся тяжелых бронзовых дверей, шаги хризаспидов, ударявших золотыми копьями о мозаичный пол, и повелительный голос женщины. Сэмиас обнаженной рукой приподняла занавес, впустив в комнату поток яркого света. На ней широкая красная палла, связанная на плече, желтая стола с шитой жемчугом каймой, сандалии, высоко

завязанные лентами, — весь ее наряд блестит золотом вышивок и сверканием гемм.

Сэмиас подошла к Атиллию, стоявшему не в покорной позе подданного, а с гордо поднятой головой, со скрещенными на груди руками. И в этот же момент утихли звуки труб.

— На правда ли, примицерий, благо Империи требует этой смерти? Благо моего сына, сияющего императорской властью, может угаснуть в поднимающейся волне заговора, исходящего из ловких рук Маммеи. Я родила его, чтобы посвятить Черному Камню; я разделяла с ним и ради него опасности битв и опасности осад, я страдала и плакала много раз; ради культа Жизни я, как и он, отдавала всем свое священное тело, и все это напрасно! Этот дивный цветок власти будет без труда сорван Александром и Маммеей, моей сестрой и сыном моей сестры, тогда как мы для его расцвета орошали кровью этот росток от зари до заката солнца!

Тяжело дыша, Сэмиас посвятила Атиллия в свой решительный замысел: ночью преторианцы, подкупленные золотом, врываются в покои Маммеи и Александра, связывают их и швыряют на съедение хищникам. Возможен и другой вариант: отравить их мгновенно действующим ядом и избить главных заговорщиков, которых народ, опьяненный вином и кровью, утопит в Тибре. Она развивала свои проекты обдуманно, как женщина, имеющая врожденную склонность к изощренным убийствам своих родных, обостренную к тому же подозрительностью матери, боящейся за своего сына. Но в ответ Атиллий лишь покачал головой:

— К чему? К чему?

— К чему? Чтобы спасти сына, чтобы спастись самим, чтобы сохранить Империю для культа Черного Камня, который иначе погибнет в предстоящем разгроме. Разве ты не чувствуешь, что заговоры поднимаются из земли и скоро разразятся ураганом, который унесет нас всех?

— К чему все это, если мир отвращается от Черного Камня и твой сын, Императрица, уже запятнал символ порочными ребяческими забавами?

— Под твоей рукой преторианцы, и достаточно одного твоего знака, чтобы смести этот черный заговор. Разве ты не хочешь спасти сына, спасти меня и себя самого?

Атилий нерешительно сделал несколько шагов, тронутый материнским чувством этой женщины, которая, однако, могла бы сломать его, как тростник, потому что именно она скрепляет своей подписью указы Императора и ничто не делается без нее сенатом, ничто в Империи не ускользает от нее. Но он не хочет крови, потому что ничто уже не может спасти Черный Камень и Императора, который в его мимолетном видении уже был погружен в небытие.

— Нет, Госпожа! Нет, Светлейшая! Эти убийства все равно позднее поднимут народ против Элагабала и тебя. Если мы должны погибнуть, так что же — такова воля судьбы.

— Да, ты не любишь, и у тебя нет сына, у тебя нет сердца. Ты глух и слеп! Что ты за человек? — воскликнула Сэмиас и, схватив его за руку, добавила, желая испугать:

— И твоя сестра погибнет вместе с нами, и ты, и твой Мадех!

Она сказала — «и твой Мадех!» — полагая, что

таким образом ей удастся привести его в волнение, но вместо этого сама испытала острую боль ревности, которая ранила ее сердце. Но Атиллий остался непреклонным:

— Нет! Нет! Для чего? И почему? Да, ты можешь вырвать из моих рук должность примицерия и передать другому власть над преторианцами и бросить меня зверям вместе с Атиллией и Мадехом, — так как ты, Императрица упомянула и про Мадеха, — но я не совершу этих убийств. У меня совсем нет сил и я желаю только умереть.

— Умереть! — воскликнула Сэмиас. — Ты вовсе не человек, ты только мысль, и у тебя нет пола. — И при воспоминании о своей любви, которую она испытывала к нему и о которой он не знал, улыбка презрения появилась на ее лице.

Атиллий же ответил ей:

— Я человек, я слишком человек, но моей человеческой природы ты не понимаешь, ее пока не существует и ее нет, но она будет существовать!

Они изучающе смотрели друг на друга, пытаясь вызвать скрытые в глубине души мысли, как воду, которую поднимают из глубокого колодца; и окружающая их тишина дворца едва нарушалась отдаленными звуками труб.

В следующий миг она кинулась к Атиллию, крепко прижала его к себе и, не встречая сопротивления, в припадке яростного безумия стала осыпать поцелуями его лоб и темно-русые волосы:

— Я знаю, ты лучше меня, ты лучше всех нас. Ты спас бы Империю, если бы ты был Императором, а я твоей супругой, если ты захотел бы. Я не проникаю в глубину твоих мыслей, потому что ты

скрытен, как ночь; твоя страсть к Мадеху сводит меня с ума, и я не знаю, что думать о тебе. Но ты силен, ты победил себя, ты девственник по отношению к женщине и ты господствуешь надо мной. Ах, я хотела бы вернуться в Эмессу, в твои сады и в мои сады, быть с тобою вдали от Рима, от мира, снова жить, как в прежние дни с тобой, с тобой, Атиллий, брат мой и любовник Мадеха, муж, человеческая природа которого не существует, но будет существовать! Предоставим заговору расти, Маммее мечтать об Империи и Элагабалу потерять ее. Действуй, как ты желаешь. Если мы должны умереть, то умрем, и я буду довольна тем, что еще раз поцелую твои волосы и что ты умрешь вместе с матерью твоего Императора, вместе с Атиллией и вместе с твоим Мадехом!

XII



им озарился блеском апреля, месяца Афродиты, и над небом, нежно-голубым, город, торжествующий и ясный, шумно пробуждался не после зимы, — которая никогда еще не была такой мягкой, — а после зловещего кошмара Черного Камня, охватившего Рим в последние месяцы. Все безумие Элагабала, все его шутовские выходки проявлялись без удержу, и римляне были рады светлым дням весны, которые, по крайней мере, вносили свое очарование в

развращенность нового культа, смягчая тени, сглаживая их.

Атта проходил по народным кварталам, где он уже давно сеял среди христиан идеи восстания против Императора. Он пришел теперь в Транстиберинский район, откуда виднелись острая вершина Гробницы Адриана, горбатые очертания Ватиканского холма, покрытого виллами, и река, великая Латинская река, несущая свои желтые воды с отражениями памятников и домов. Эта часть города делилась на бесконечное множество узких улиц и грязных переулков, полных рабочим людом. Улицы оканчивались глухими переулками, которые тонули в тени выступающих вперед этажей из крашеных досок, с шаткими лестницами у окон, украшенных цветами в глиняных вазах; с деревянными балюстрадами на террасах и с крытыми переходами, в глубине которых открывалась светлая даль. На этих улицах были лавки ремесленников: мелких башмачников, скульпторов, резчиков по слоновой кости и перламутру, столяров, токарей, литейщиков, медников, ткачей и портных, изготовлявших тоги. Многие из этих ремесленников принадлежали к различным христианским общинам, более или менее признававшим власть римского епископа, и каждая из этих общин имела представление о Крейстосе, объединяя с христианством и учение о Митре, и символизацию Солнца, и воплощение Озириса или Зевса, — то есть все эти боги получали в их понимании единое выражение.

Атта, очень популярный среди христиан, с прибаутками, улыбками, с выражением презрения настраивал их против Императора. В результате, вместо того чтобы быть благодарным ему за ту чрезвычай-

ную свободу, которую он им даровал, христиане начинали думать, что им плохо живется в его царствование и желали другого, который может дать им еще больше свободы или же наградит их гонениями, недавно лишь миновавшими. Они жалели о них, завидовали мученикам, которых видели на жестоком пиршестве смерти; они жаждали пыток и предсмертных мучений, смутно чувствуя, что это нужно для укрепления разнообразных верований, пока доктрины и догматы, исповедуемые их вождями, не сольются в одном высшем единстве. После свидания с Маммеей Атта скромно жил на полученное от нее золото, мечтая сыграть важную роль в будущей трагической борьбе двух империй. Он уже не был больше паразитом и чувствовал себя спасенным христианской нравственностью, и потребность в работе духа перерабатывала его характер, очищая его честолюбивые порывы, слагавшиеся из высокомерия учителя и низких страстей.

В одной маленькой улице, населенной черноволосыми и подвижными евреями, Атте показалось, что он узнал Амона, который исчез более года тому назад. Однако лицо этого человека было не таким круглым и добродушным, его диплойс не показался Атте знакомым, — человек печально бродил под дерзким наблюдением молодой еврейки и глядел на просветы голубого неба между близких крыш, точно пленник, тоскующий о воле. Все это показалось Атте очень странным, и он решил, что ошибся.

Он прошел в район Аветинского холма, также населенный бедняками, среди которых было много последователей древних доктрин. Но христиане внедрили в них несколько энергичных общин и своей

проповедью понемногу разрушали эту глыбу древнего многобожия, которое прежде считали незыблемым. Атта нашел там некоторых единоверцев, занимавшихся ремеслом в тесных лавках, и убедился, что его долгая работа уже приносит свои плоды.

В общем, очень немногие, за исключением фанатиков и вдохновленных, разделяли идеи Заля, так как были убеждены, что грязь Империи останется навсегда несмываемой, если она запечатлется на религии Крейстоса. Они в особенности ожесточились против перса и его учеников, которые не прекращали проповедовать, правда, не соглашение с Элагабалом, но молчаливое принятие его пороков, должных расчистить путь христианству.

— Агнец избирает свой путь, — говорили последние, — и гонение часто губит человека гордостью своей жертвы, скорее, чем мирное существование, предоставляющее его страстям жизни. С Элагабалом христианство победит.

Они постепенно распространяли свое смелое учение, и Севера — в своем горячем увлечении идеями Заля — первая среди них. Но другие христиане покачивали головой и оставались к нему глухи, часто вздыхая:

— Крейстос не хочет Элагабала! Ночь и день не могут соединиться.

Иногда в своих беседах они жаловались на Заля:

— Злой Дух внушает дурные мысли Залю. Мы знаем, что никогда он не мыслил одинаково со всеми; его мысли слишком смелы. Не правда ли, брат Атта, что он ложно обвинил тебя в одном собрании?

— Да, — отвечал Атта победоносно. — Но, не желая оскорблять братьев непристойным спором и дабы

смирение проявлялось в каждом, я ушел, унося на себе ложное обвинение. Но ложь Заля не лишила меня любви братьев.

— В чем же он обвинил тебя, мужественный исповедник? — спросил один из христиан, торговец сухими травами от разных болезней.

— В том, что я ношу грех в своей душе, — ответил Атта с кроткой улыбкой, — точно в нем самом не пребывает грех. Он часто обвинял меня перед братьями и сестрами в том, что я имею сношение с язычниками, отказываюсь от Крейстоса, и что жизнь моя наполнена скрытыми страстями. Пусть меня сожжет огонь Содомы, если это правда!

Но он тут же спохватился:

— Нет, нет, я не прав, исповедуюсь вам! Я только что поклялся, а бесполезная клятва нам запрещена!

— Ты святой, и мы должны почитать тебя, — сказал Випсаний, торговец травами, — а Заль дурной брат.

— А Севера — дурная сестра, — добавил другой по имени Каринас, занимающийся разделыванием мясных туш для богатых христиан.

— Не будем злословить, — заявил властно Атта. — Севера любит Заля, но любовью, которая ей самой еще не ясна.

Все громко рассмеялись; Випсаний и Каринас нежно смстрели на Атту, а он добавил, уходя:

— Да! Эта любовь не очень ясна ей пока, но она уразумеет ее потом. И тогда будет слишком поздно.

Он шел по району Большого Цирка и, пройдя Новую улицу, уже спускался к Велабру, но тут Типхронос, стоявший у своей лавки, окрикнул его:

— Эй! Что же ты не поговоришь с Типохрономом, которого ты давно не видал?!

Атта вернулся к цирюльнику, пребывавшему в это время в одиночестве:

— Я очень спешил, жизнь коротка, — и теперь нельзя быть уверенным, что встретишься, потеряв из виду друг друга. Да, я очень рад тебя видеть, очень рад!

И для важности, а также для того чтобы отдохнуть от усталости этого дня, он сел в прекрасную греческую кафедру. Типохронос сказал ему:

— Удивительно, как ты исчез. Что ты делал? Амон также исчез, Зописк также. Что такое происходит в Риме, что мои клиенты уезжают, не предупредив меня?

Он был очень ласков в надежде вновь приобрести в нем клиента. Атта ответил, вздыхая:

— Я переписывал один том, который стоил мне много забот и труда. Ты знаешь, как я хорошо умею выписывать буквы заостренным тростником. Щедрый владелец книги заплатил мне за это. Вот и все.

— И ты совсем забыл Типохроноса! — воскликнул цирюльник, приготавливаясь брить Атту. — Это дурно, очень дурно.

Он надел ему салфетку на шею. Атта, не видя возможности ускользнуть, разрешил ему делать, что угодно. Типохронос сказал:

— Если бы мне, по крайней мере, найти Амона! Пускай я потеряю Зописка, который, кажется, стал поэтом Императора. У Зописка была шероховатая кожа и к тому же его пристрастие к острой бородке без усов не было мне приятно. Но Амона очень легко

было брить: у него не было бороды и, кроме того, он щедро платил за мои услуги. Аристес и Никодем не таковы!

— А эти греки все еще в Риме? — спросил Атта для поддержания разговора.

— Все здесь. Это мои стойкие клиенты, но очень скучные. Они едва позволяют надушить себя и причесать. Впрочем, если верить им, они много тратят, только не у меня.

— Что говорят они про исчезновение Амона?

— Странные вещи, но, хотя он и их соотечественник, я подозреваю их в преувеличении. Так, в последний раз они уверяли меня, что Амон стал евреем, что он принят еврейской общиной и собирается жениться на девушке, принадлежащей к этой религии. Допустимо ли это, скажи?

— Все допустимо среди невзгод нашего существования, — меланхолично сказал Атта. — Но мне было бы приятней, если б Амон стал христианином.

— Так ты христианин! — воскликнул Типохронос. — Однако ты раньше заботливо скрывал свою религию!

И он прибавил, как бы про себя:

— Как все странно с некоторого времени! Боюсь, что и мне тоже придется стать христианином.

— Это придет, — сказал Атта, уходя от него, хорошо выбритый, — это придет, и гораздо раньше, чем ты думаешь.

На форуме он встретил еще нескольких христиан. Многие из них бросали презрительные взгляды на статуи богов и богинь в портиках базилик и храмов и отказывались приветствовать их наклоном головы,

как это делали язычники. Иногда вокруг христиан собиралась толпа граждан, готовых проявить свое враждебное отношение к ним, но тотчас же, как бы повинувшись приказу, данному свыше, преторианцы врезывались в толпу и рассеивали ее ударами поясов, снятых с кожаных туник.

Атта удивлялся, что нигде не встречал Магло. Гельвет не прекращал своих проклятий против Рима и Элагабала и странным образом он, несмотря на то, что с первых же дней своего пребывания в Риме желал покинуть его, теперь был во власти вечного города. Накануне Атта видел, как он размахивал своей огромной палкой перед толпой, стоявшей, точно стадо, и призывал римлян к уничтожению Черного Камня. Магло стал маньяком, за ним бродили толпы детей и на него лаяли собаки, сыпались насмешки со всех сторон, но он не обращал на это внимания; своими манерами он не казался опасным для власти, и она его оставляла на свободе.

На Vicus Teacus Атта увидел Геэля, шедшего очень быстро. До сих пор он мало дружил с ним по причине неразвитости сирийца и еще потому, что ему не нравилась его мягкая откровенность. Он еще не забыл торжественной церемонии у храма Солнца, вс время которой ему пришлось, благодаря Геэлю, оспаривать Амона у Зописка. Однако довольно странные слухи ходили последнее время про горшечника; про него говорили, что он был в сношениях с вольноотпущенником одного военачальника высокого сана, близкого к Элагабалу, быть может, самого Атиллия, его таинственного советника и его примицерия, который ни перед чем не

отступал, внедряя в Риме культ Солнца. И про этого вольноотпущенника говорили, что он жрец Солнца, а значит, человек без пола, как и другие жрецы этого божества.

Издаেকে Атта последовал за Геэлем на расстоянии, и они долго шли так, от Vicus Teacus через Субуру в сторону Карин.

Геэль ничего не опасался и, без сомнения, не думал прятаться, потому что подолгу останавливался перед лавками, в особенности возле торговцев вазами, точно желая усвоить специфику их новых форм. В Таберноле он встретил женщину, в которой Атта узнал Северу. Геэль поговорил с нею недолго и пошел дальше, а Севера направилась прямо к Атте, которому нельзя было избегнуть ее:

— Да будет милость Крейстоса с тобой, сестра, — сказал он, кланяясь ей.

Севера, не изменив выражения лица, ответила:

— Милость Крейстоса в сердце чистого человека, в котором не пребывает грех, Атта!

Неприступная, как всегда, строгая, с сияющими глазами, она прошла мимо Атта, который быстро обернулся.

— Сестра! Разве я оскорбил тебя? И почему ты так встречаешь того, кто признает твою высокую святость?

Тогда Севера мягко, но с тем предчувствием, которое помогает женщинам угадывать скрытого врага, ответила:

— Нет, ты не оскорбляешь меня, но я ненавижу смуту, которую ты давно сеешь между нами, как будто это угодно Крейстосу. Но Крейстос устранил обман и обманчика.

И она покинула его; когда же он, стиснув зубы, хотел снова идти за Геэлем, тот уже исчез.

Атта поднялся по склонам Эсквилина, где, как ему было известно, жил Заль. Правда, он не искал встречи с ним, но желал бы увидеть его сейчас разговаривающим с каким-нибудь чиновником Элагабала, чтобы торжественно обвинить в сношениях со служителями культа Солнца, мерзостного культа, в сравнении с которым все другие религии были проявлением невинного духа. Но это удовольствие прошло мимо него: Заль ему нигде не встретился.

Из Эсквилина он отправился в Виминал, потом в Квиринал. Везде христиане встречали его жалобами на Элагабала. В отсутствие Атты эти обвинения носили бесформенный характер и выражались в мечтах о другом Императоре, без грязного культа Черного Камня; при нем же они разрастались мощной лавиной, готовой разрушить все.

— Да, Руфь! Да, Равид! Да, Корнифиций, Криний, Лицинна, Понтик, Сервий! Да! Мы низвергнем Элагабала, и новый Император будет обязан вступлением на престол нам, презираемым и гонимым!

— А что нам надо делать, святой и уважаемый брат? Правда, мы не можем выносить Элагабала, но не знаем, как нам, сынам Агнца, вести себя?

— Вы узнаете об этом в свое время. Сейчас же остерегайтесь дурных внушений, в особенности исходящих от недостойных членов церкви.

— Как? Мы должны не доверять своим братьям?

— Иным из них, которые явно погублены Змием.

Руфь, Равид, Корнифиций, Криний, женщина Лицинна, Понтик и Сервий спросили:

— Следует ли считать в числе их Заль, уважаемый брат?

— Я не произнес его имени, — сказал Атта с улыбкой. — Но если вы назвали его, значит Дух вдохновил вас несомненно, и мы должны преклониться пред ним. Но Заль не один.

— И Севера, и Геэль, и восточные христиане также, Атта?

— Без сомнения, хотя я ничего не утверждаю. У восточных христиан есть склонность к заблуждениям культа Черного Камня, потому что Император принадлежит к их племени. В особенности им нравятся обряды Элагабала; если их слушать, то из учения Крейстоса они сделают учение Греха.

Волнение охватило слушателей, слышались громкие вздохи.

— Да охранит нас Крейстос от этого несчастья!

Уходя, Атта добавил:

— Заль живет на Эсквилине. Он ваш сосед! Севера часто проходит по Эсквилину — кто знает, может быть, ради встречи с Залем! Геэль часто посещает Мадеха, вольноотпущенника примицерия Элагабала, и даже сегодня я видел, как он направлялся в Карины. Когда гнев Божий обрушится на Черный Камень, мы отделим плевелы от доброго зерна, не так ли? Мы вернем доброе зерно земле, а плевелы бросим в огонь, как говорит наш брат Магло, мысли которого о божественной сущности ни вы, ни я не разделяем, но который, подобно нам, чувствует ужас перед грехом, которому Заль, Севера, Геэль и восточные христиане охотно поклонялись бы, если бы мы не были на страже Крейстоса, Сына Божия, трижды святого!

XIII



вященные изображения тают в чарующей полутьме, и символические образы смутно вырисовываются на фоне моря, которое истекает от струи, бьющей ключом из скалы. В камень ударяет Агнец расцветшим жезлом. В водах плавают рыбы; на ветвях легких деревьев висят плоды, к которым влекутся змеи с открытой пастью; и все освещено солнцами, восходящими из-за далеких фиолетовых гор.

Эти картины, изображающие также и другие сюжеты, не увидишь в залах христианских собраний, а только у таинственных общин, соединивших поклонение Солнцу с поклонением Крейстосу, который есть бог египетский Озирис, ассирийский Бэл, персидский Митра и которому миллионы людей поклоняются под многими другими именами.

Они представляют протест против христианского Запада, который остановился на вере в Крейстоса без всякой связи с другими культами. По отношению к Римской Церкви они являются ересью; и она молча выжидала время, чтобы уничтожить христианские общины, несогласные с ее системой.

Эта зала неизвестна непосвященным, и вход в нее находится в полуразвалившемся доме на Виминале, — в залу скрытно ведет кривой коридор, едва освещенный глиняной лампой в форме башмака. Ночная темнота и лучи луны падают внутрь кубикул

и на опрокинутые колонны во дворе, покрытом разросшимся терновником, проскурняком и чертополохом; колеблющееся море растительности доходит до обрывающейся лестницы без перил, у высокой стены с мрачными отверстиями окон.

Христиане, мужчины и женщины, почти все восточные, входят туда; они отличаются своими пестрыми, большей частью шелковыми развевающимися одеждами, коническими шапками и выразительными манерами, резко не похожими на западных христиан, застывших в позе внешнего приличия и достоинства.

Заль у входа встречает собирающихся, среди которых он видит женщину в белой палле и белой столе, с черными длинными волосами; она ласково ему улыбается:

— Я пришла, потому что Крейстос велик, воля Его исполняется.

Она спускается по винтовой лестнице в очень большую залу, поддерживаемую четырехугольными столбами с изображениями буквы Т и равноконечными крестами и освещенную желтым светом восковых факелов на высоких бронзовых светильниках, стоящих на полу с неясными узорами мозаик.

Собралось довольно много верующих, чтобы прославлять Крейстоса по восточному обряду. Женщины отделены от мужчин проходом посредине; он ведет к святилищу, обнесенному мраморной оградой, покрытой голубой материей; там возвышается алтарь в виде четырехугольного пьедестала под навесом из узорчатого золота; в глубине, в сиянии скрытых светильников, видно живописное изображение Крейстоса, величественно-неподвижного, с округленным ореолом в виде огромной луны, с открытой окровав-

ленной грудью, с обнаженными руками, из которых сочится кровь; на бледном лице очи кротко взирают на мир; черные волосы извиваются вокруг шеи и по плечам. Крест, к которому он пригвожден, имеет форму не креста, а буквы Т, египетского тау.

Наверху слышится шум запираемой двери, — теперь все верующие в сборе, сосредоточенные, молчаливые.

Заль идет по проходу, появляется в алтаре и поднимает руки, как на изображении Распятого. Его губы тихо движутся; кажется, что он молится, устремив вверх взор; потом он повергается ниц перед золотой сенью на жертвеннике.

Собрание преклоняет колена, и неясный ропот, похожий на жужжание вылетевших из улья пчел, поднимается к сводам, прерываемый слабыми стонами, которые издает Заль.

Один из собравшихся подходит к нему, снимает тунику, обнажает торс и выпуклую грудь и раскидывает руки, изображая крест. Заль делает ему под сердцем укол золотым острием и собирает кровь в золотую чашу, которую он поднимает несколько раз, в то время как верующий удаляется, сложив руки возле кровавого пятна на снова надетой тунике.

Молодая женщина, высокая и худая, направляется в глубь алтаря; на нее обращены взоры взволнованного собрания; она также обнажается до пояса: снимает столу, открывает нижнюю тунику, срывает льняную рубашку и оголяет свою худую, едва заметную грудь. И Заль укалывает ее золотым острием, собирает ее кровь в золотую чашу, и ни одна черта его лица не вздрагивает при легком крике жертвы.

В продолжение часа верующие подходят один за

другим к Залю, принимая укол в грудь, и он ставит золотую чашу, теперь уже полную крови, на жертвенник при странном и восторженном пении.

Севера также разделась, обнажив свою прекрасную грудь. Она встала перед Залем, который вздрогнул, укалывая ее золотым острием под сосок левой груди; он не смеет взглянуть на нее, когда она возвращается на свое место и что-то тихо смущенно шепчет.

Нарастают могучие звуки гидравлического органа, на котором играет прекрасный эфеб с длинными волосами, падающими на шею, и мучительная страстность этой музыки подавляет мужчин и женщин, заставляя их плакать от волнения, поднимающегося из недр их души.

Начинается всеобщее пение, и вот уже нежная мелодия возникает на фоне музыки органа: порывы высоких женских голосов среди раскатов басов, наполняющих могучими звуками эту залу, сияющую изображениями Крейстоса и Агнцев.

Заль спускает со своих плеч тунику, открывая смуглый торс, колет себя золотым острием под грудь и собирает свою кровь в золотую чашу, взятую им с жертвенника под узорчатой сенью.

Снова звучит могучая музыка и пение мужчин и женщин. Потом все склоняют колена с легким шелестом тихих молитв, соприкосновения рук и поцелуев мужчин с мужчинами, женщин с женщинами, — эти звуки, как волны, перекатываются по зале из одного конца в другой.

Заль подзывает одного из верующих, и тот подходит и пьет из золотой чаши.

И все, преклоняя колена у подножья мраморной балюстрады, один за другим подходят и пьют из

золотой чаши, в которой Заль смешал свою кровь с кровью братьев.

Севера также подходит и пьет, и на ее обнаженную грудь падает капля крови; Заль спешит стереть ее краем своей туники, как будто то была настоящая рана, рана, нанесенная ей золотым острием.

Наконец, последний после Северы, он выпивает из чаши все, и в ней не остается больше крови присутствующих, которые теперь простерлись на земле в восторженном поклонении Крейстосу.

Наступает очередь взаимной исповеди. Каждая женщина избирает себе исповедника, и скоро кающиеся, почти все молодые и красивые, с мольбой, тяжело дыша от угрызений совести, признаются в воображаемых грехах — каждая у ног мужчины, склонившегося к ее шепоту, и нет мужчины, у которого не было бы кающейся, и нет женщины, у которой не было бы исповедника.

Севера идет к Залю, сидящему на низкой скамье, и вот она у ног его, и, слушая патрицианку, перс тихо покачивает головой, и смущение проступает на его подвижном и сильном лице с коротко остриженной темной бородой.

— Я исповедуюсь в том, что слишком много думаю о тебе, что вижу в тебе Божество, что слышу только тебя и вдохновляюсь только тобою. Но я чувствую, что это наполнение не волнует моего тела и что лишь мой дух говорит с твоим. Но такое постоянное присутствие твое в моей душе излишне, Заль, и в этом я исповедуюсь и умоляю Крейстоса о прощении через тебя, его священника!

— Сестра, — нежно отвечает Заль, поспешно отирая слезы, — грех быстро родится в твоей душе, если образ созданного будет закрывать собою образ Создателя. Крейстос повелевает мне наложить на тебя

наказание, и ты услышишь голос Заля, который чаёт соединить свою душу с твоей, — лишь в день всепобеждающей смерти, но не в день любви.

— Как! Ты хочешь наказать меня, Заль? Ты хочешь наказать меня!

— Мы больше не увидимся, и таким образом мое лицо не будет стоять между тобою и ликом Бога. Так надо, так надо!

— О нет! Нет! Нет!

И Севера не может сдержать рыдания, берет за руки Заля, который теряет твердость.

— Нет! Нет! Нет!

Но это уже конец исповеди. Как бы повинувшись приказу, исповедники возлагают руки на прекрасные головы, склоненные к их коленам. Севера хочет последовать их примеру, но Заль останавливает ее:

— Поцелуй теперь был бы опасен; я не хочу этого...

Собираются уходить мужчины и женщины.

Гидравлический орган издает безнадежные жалобы; в пении слышится стон, и верующие еще раз простираются ниц перед изображением Крейстоса, слабо освещенного в глубине святилища скрытыми потухающими факелами. Голос прекрасного эфеба сливается с печальной гармонией; так волнуемая река прорезает берега с нависшими деревьями, с бескрайним лесом кольшущегося тростника, — с девственно чистым пейзажем, величественно окутанным туманом.

О, Крейстос! О, Крейстос! Ради Твоего торжества, дабы Ты, — великое и ясное Солнце, — прошел под триумфальной аркой Твоей Божественности, ступая по склонившимся главам людей к достославным победам будущего, каких только жертв не принесут, чего только не сделают Твои последователи, в осо-

бенности сыны Востока, которые в лице Твоем поклоняются источнику жизни, великому Океану, из коего живые существа бесконечно исходят в Космос, и высокой горе Милости и Страдания, на которую истинный верующий восходит без боязни...

Гаснут факелы; в умирающем трепете света верующие обмениваются поцелуями, обнимая друг друга, а песнь прекрасного эфеба продолжается при звуках органа, и последние трели его замирают, как поток рыданий.

— Идем! Идем!

Так зовет грозным голосом Заль Северу. Развалины дома на Виминале кажутся зловещими, и в особенности лестница, колеблющаяся в пустоте, и отверстия в высокой стене, через которые видна красивая и громадная луна, склонившаяся к горизонту неба, омраченного темными облаками.

Они идут рядом, не разговаривая; луна исчезла и стало темно; встают гигантские тени памятников; голоса патрулей с улиц долетают до них.

— Идем! Идем!

Севера падает в ров, вскрикивая. Заль на ощупь в темноте отыскивает ее, с силой схватывает за плечи, за груди, за стан, содрогающийся под одеждой, и, прижимая ее к себе, говорит:

— Идем! Идем!

Они быстро идут по темным улицам, едва освещенным мерцанием ламп в нишах. Их обступают высокие дома термы с таинственными коридорами, колонны, поднимающиеся длинными линиями в темное небо, арки, прямоугольники стен, за которыми ходят взад и вперед солдаты, ударяя о землю копьями, отдельные дома и кварталы, известные только Залю, — он интуитивно находит дорогу к Саларийским

воротам, за которым расстилается Кампания в тумане приближающегося утра. Севера, все время тихо плакавшая, приходит в себя.

— Мой дом направо. Вот Ардеатинская дорога! Я вижу отсюда виллу, где спит Глициа, в то время как его жена присутствует на собрании восточных христиан.

— Ты не пойдешь одна, — отвечает Заль, — в Кампании бродят солдаты, которые могут задержать тебя, или же злые люди могут обидеть тебя. Я пойду с тобой, и Глициа не помешает мне.

Севера, показывая Залю на придорожный столб, виднеющийся в утреннем свете, говорит:

— Здесь ждала я тебя год тому назад, когда ты ушел в лагерь воинов вместе с Магло. Я думала, что тебя схватили или убили вместе с ним, и справлялась об этом у одного военачальника, который сказал мне, что отпустил тебя.

— Это был Атиллий, — сказал Заль, — быть может, это единственный из язычников, благосклонный к христианам.

— Я никогда не говорила тебе, но ты теперь узнаешь. Этот Атиллий был с двумя другими, и один из них уверил меня, что солдаты убили тебя на дороге. Я быстро пошла к тебе, открыла дверь твоей комнаты, бедной комнаты, но в которой царит благодать, и я положила там цветы. Ты видел их?

— Да, позже, — ответил перс после некоторого молчания. — Я провел несколько дней в местах погребения христиан, и мы приводили их в порядок, потому что внутренний голос говорил мне, что мы скоро умрем. Успокойся, я говорю «скоро», но это случится не завтра. И я приготовлял с Магло наше последнее жилище. Возвратясь и увидя высохшие

цветы, я подумал, что они принесены тобою, но ничего не сказал тебе. Они всегда при мне с тех пор.

Он взял ее руку и прислонил к груди, где под туникой хранил вытканый мешочек с засохшими цветами.

— Они будут здесь всегда и будут захоронены со мной в гробнице, которая меня ожидает!

— О, я последую за тобой! — восклицает Севера, — если я не твоя супруга на земле, то буду ею на небесах.

Они расстаются перед виллой, просто пожав друг другу руки и не обменявшись даже дружеским поцелуем, не из страха, что их увидят на темной пустынной улице, а в силу чувства, которое их взаимно сдерживает. И это чувство было настолько сильно, что могло разрушить всякое воспоминание о кровавых уколах на груди и о прощальных поцелуях на собрании восточных христиан. Они были и будут целомудренны, потому что они сильны во Христе, и не голос тела говорил в них, а живой и вечный дух!

XIV



Заль проснулся в своей залитой солнцем комнате с деревянной кроватью, грубым столом и складной скамьей. На узкой доске, прикрепленной к стене кожаными ремнями, лежал свиток папируса. Заль взял его и погрузился в чтение восточного Евангелия.

Раздался нетерпеливый стук в дверь, и в следующий момент в комнату вошел Геэль.

— Он ждет тебя, он хочет говорить с тобой. Я рассказал ему про тебя, и Мадех настаивал, чтобы он с тобой увиделся.

— Кто же, брат? — спросил Заль.

— Атиллий, ты знаешь, Атиллий, господин Мадеха, живущего в Каринах. Мадеха, моего брата из Сирии.

Заль встал, ничего не понимая из слов Геэля, речь которого отличалась скомканностью и быстротой. Тот объяснил свои слова: Геэль давно уже был принят у своего друга детства, по имени Мадех, вольноотпущенника Атиллия, примицерия, которого, по крайней мере, по имени, знал весь Рим. Атиллий был добр к своему вольноотпущеннику; он посвятил его Черному Камню. Он любит его, да, он любит его! — Геэль распространился относительно любви Атиллия к Мадеху, а потом продолжил: однажды Атиллий спросил у него, у Геэля, готовы ли христиане поддерживать Империю, столь благосклонную к ним. И Геэль рассказал о Зале, о том, что он — апостол восточных христиан, проповедующий убеждение в величии Крейстоса, могущего утвердить добродетель в порочной Империи. После этого Атиллий, заинтересованный, пожелал увидеть Залю.

Они спустились с восьмого яруса дома, в котором семьи бедняков жили в низких комнатах, наполненных шумом. Геэль заметил, что соседи Залю его сторонились, точно боясь этого человека, про которого говорили, что он присутствует на собраниях восточных христиан, где пьют кровь зарезанных детей. Все эти соседи поклонялись различным богам трех материков, и среди них были бальзамировщики, готовые бороться с христианством, потому что оно

повелевает просто зарывать трупы в землю, вместо того чтобы сжигать их после омовения и бальзамирования. Они мало знали Заля, но уже норовили оскорбить его бранными словами, что его, однако, нисколько не трогало.

На улице они как раз встретили похороны политиста и поклонились, несмотря на то, что этот поклон вызвал смех.

Покойника, мелкого фабриканта папируса, несли в гробу четыре раба-носильщика. Распорядитель, в сопровождении ликторов в длинных черных одеждах, вел шествие, состоявшее из родственников, друзей, рабочих покойного и его соседей по кварталу, где он долгое время занимался своим производством. Впереди шли музыканты, игравшие на флейтах, трубах и рогах. Музыка чередовалась с воплями плакальщиц, раздиравших свои одежды и осыпавших себя пылью, собранной на краю тротуаров. Архимим, приглашаемый обыкновенно на все похороны этого района, был заgrimирован под умершего, старался подражать ему в прежних жестах и говорить с его интонацией. Сыновья покойного с закрытыми лицами и дочери с непокрытыми головами и спуганными волосами брели вслед за архимимом со стенаньями.

Заль и Геэль быстро пересекли ряд улиц и дошли до Целия, где вскоре показался маленький дѐм в Каринах. Янитор был удивлен при виде их.

«Что случилось с господином Атиллием? Кроме Геэля еще и этот человек тоже бедный, наверное! Часто ли он будет приходить сюда и заставлять меня, янитора, отворять ему двери дома?»

Но все это было сказано про себя, а следуя пра-

вилам, он низко поклонился Геэлю и скромным наклоном головы приветствовал Заля.

Мадех прибежал к ним.

— Вот Заль, — сказал Геэль, указывая ему на перса, которого Мадех взял за руку и провел в атриум, где тут же крокодил высунулся из бассейна, обезьяна стала кривляться, потирая бедра, а пышный павлин распушил свои перья. Мадех оставил там Заля, но скоро вернулся:

— Он ждет, и я проведу тебя к нему!

Заль остался равнодушен и к странному убранству дома, и даже к украшениям кубикул, расположенных по обе стороны таблинума. Его внимание не привлек и пустынный перистиль, блиставший красным мрамором колонн с капителями в виде лотоса, величаво свисавших над бассейном, в котором струилась вода под ярким светом солнца. Мадех быстро шел впереди в легко развевающейся одежде с желтыми и голубыми полосами, обрисовывавшей его несколько женственные формы. Наконец, они увидели Атиллия, который уединился в помещении, ярко освещенном с вершины свода; он подозвал к себе Заля движением руки. Мадех удалился.

Перс, взглянув на Атиллия, заметил, что со времени их встречи в лагере преторианцев он похудел, побледнел, его длинные тонкие пальцы казались бессильными и странные фиолетовые глаза глубоко впали. Но это наблюдение было мимолетно; Атиллий пригласил его сесть на бронзовый стул, как равного, и это тронуло Заля.

— Я знаю, что ты доблестен и мудр, — сказал Атиллий, — и сириец Геэль, друг детства моего отпущенника, говорил мне не раз про тебя. Я захотел

узнать тебя ближе. Я позвал тебя ради важного дела, оно касается твоей религии.

— Между верою Крейстоса и Черным Камнем не может быть сближения! — возразил Заль. — Ваш догмат есть догмат физической жизни, а наш — духовной. Но Крейстос знает, чего Он хочет, и почему Он хочет того, что Он делает.

— Я знаю, что вы доброжелательны; Антонин и Сэмиас расположены к вам. Я люблю вашего Крейстоса, но в желчных устах иных из верующих в Него, Он наш враг. Ты умен и сейчас же поймешь смысл моих слов.

И он рассказал ему, что некий человек, по имени Атта, не прекращает с некоторых пор возбуждать христиан против Элагабала, горячо призывает их к мятежу, из которого они не извлекут никакой пользы.

— Знаешь ли ты, кто руководит Аттой? Маммеа! Она хочет убить Антонина и всех нас ради своего сына Цезаря Александра. Христиане ничего не выиграют от этой перемены, потому что у Маммеи меньше склонности к христианству чем у Сэмиас.

При упоминании имени Атты Заль, по обыкновению, презрительно улыбнулся:

— Он способен на все, даже изнасиловать свою мать, если она у него есть, и отречься от Крейстоса, если еще не отрекся от него.

— Вы не такие христиане, — добавил Атиллий, — вы не восстаете против Антонина, потому что вы с Востока. И я предлагаю вам союз между Антонином и вами. Поддержите Империю и Империя поддержит вас. Не допустил ли он уже Изображение в свои храмы? Он среди нас, ваш Бог!

Сопровождаемый Залем, он направился в храм, куда Геэль уже проникал раньше. Открылась круглая

дверь и Заль увидел статуэтки египетских и финикийских богов, очертание Т, курильницы с дымящимся ладаном. богиню Весту и большое изображение Крейстоса с черным ликом против Черного Конуса, на подставке, украшенной драгоценными камнями.

— Ты видишь, мы также признаем славу вашего Крейстоса!

Они медленно пошли дальше; фиолетовые глаза Атиллия блестели, и Заль почувствовал влечение к нему. Примицерий, как будто стремясь убедить перса, говорил ему об Андрогине, об этом высшем существе, появившемся на заре мироздания и соединявшем в себе оба пола, впоследствии разделенные. Их единение и составляет символ Черного Камня, видимое выражение культа Жизни, который, делая бесплодным в отдельности каждый из полов, способствует возникновению Единого Вечного Существа, Мужчины-Женщины, с двумя лицами, с четырьмя ногами и двумя парами рук, того существа, мысль о котором скрывается в каждой религии.

— Если мужчина будет принадлежать мужчине, а женщина — женщине, то что случится тогда? Природа направит свой поток жизненной силы к единому существу, обладающему свойствами того и другого; возникнет мужчина с полом женщины и женщина с полом мужчины, соединяя в себе духовную прелесть, силу, восприимчивость, красоту и высшую степень ума обоих полов.

Но Заль остановил его:

— Мы разделяем это учение, но только мы стремимся, чтобы это единство проявилось в душах, а не в телах. Наш Крейстос обладает духовной прелестью, силой, восприимчивостью, красотой и высшей степенью ума людей, обожествленных в нем, но телесно

он был только мужчиной. Вы принимаете символ за значение, конечное за бесконечное, вот и все. Мы ставим понятие выше двуполого существа.

Их речь становилась темной и они придирались к оттенкам слов; Атиллий обвинял Заля в увлечении неуловимыми мечтами и в том, что он не уверен в другой жизни, про которую говорит; Заль уверял Атиллия, что физическая попытка создать андрогина противна естественным законам, установленным Богом. И перс проявил такую высокую степень духовного развития, что Атиллий воскликнул:

— Чей ты сын? Где ты научился тому? Ты меня изумляешь.

Заль как бы вырос, луч гордости блеснул на его челе, а в глазах засветилась ласковая неустрашимость апостола! Стоя, заложив руки за пояс, он ответил спокойно:

— Среди моих предков был могущественный человек, который изменил бы внешний вид земли, если бы смерть не помешала ему сделать это!

Он назвал его имя. То был великий царь, покоривший Азию во главе миллионной армии под звуки военных барабанов и труб, колесницы которого прошли такой путь, какой гонец не пройдет и в десять лет; он изменял русла рек, преграждал путь морю, разрушал горы, сметал с земли города и воздвигал новые, а однажды, тихо умирая, подумал, что он все совершил и все разрушил. Увы! Память о нем протекла в веках, как ручей среди песков, а четыре ветра земли разрушили памятник вышиною в триста локтей, в котором находилось его набальзамированное тело, и ничего не осталось от него, кроме потомков, все более и более неизвестных, с его кровью в жилах,

но без его славы. Заль помолчал с минуту, взволнованный своим необычным признанием, и продолжал совсем тихо, хотя Атиллий слушал его:

— Будь я на твоём месте, предок, и я отказался бы от господства тела, чтобы привести душу к Крейстосу, ибо без Агнца все тщетно.

Продолжая переходить из одного помещения в другое, они приблизились к атриуму, откуда долетали до них голоса Геэля и Мадеха. Заль грубо оборнил:

— Посмотри на Мадеха, твоего жреца. Глядя на него, не скажешь, что природа изменилась, и не думаешь ли ты силой создать в нём двуединство пола?

Атиллий улыбнулся:

— Если не он, так будет другой. Стремление к Андрогину должно продолжаться и восторжествует Начало Жизни.

Не прибегая к доказательствам, как Заль, он лишь высказывал свои убеждения, погруженный в видение Единого Существа, которое требовало его любви к Мадеху, чисто телесной. И он не смутился от того, что говорил Заль, как и Заль не покраснел, затрагивая такой щекотливый вопрос о мужской любви.

Во время спора они даже забыли о цели их встречи: установить предварительное соглашение между Элагабалом и христианами. Примицерий первый возвратился к этому вопросу, указывая на выгоды для христиан:

— Я должен поведать тебе вот что, — сказал Заль. — Западные христиане по большей части не захотят этого, но восточные, без сомнения, согласятся. Мы будем защищать Элагабала не для того, чтобы поддержать его грех, от которого отворачивается Небо, но дабы подготовить путь Агнцу, тайны которого непроницаемы.

Он покинул Атиллия гордый, ничего не принявший от примицерия, предлагавшего ему свой дом, одежды и золото, и позвал Геэля, гулявшего в саду с Мадехом, который в ярком солнечном свете казался издали каким-то сверхъестественным существом. Оба христианина прошли под взглядами янителя и нескольких рабов, изумленных видом гостей, которых стал принимать их господин Атиллий. На улице Геэль сказал Залю:

— Мой бедный брат Мадех несчастен, очень несчастен. Видишь ли, наша бедность лучше его богатства, потому что он подобен павлину в клетке и его жизнь уже не принадлежит ему.

XV



идишь ли Руска, Севера возвратилась на заре и пришла неизвестно откуда. Я даже слышал голос мужчины, который, должно быть, провожал ее до дома, и я клянусь, что это был Заль, сторонник Элагабала. Севера может сколько угодно представляться добродетельной, я могу быть снисходительным к ней, но все же она будет казаться виновной в прелюбодеянии с этим Залем. И что скажут римляне про Северу, Северу, супругу Глиция, среди предков которого был знаменитый диктатор? Я долго был для нее снисходительным и доверчивым мужем, но теперь горе женщине, которая бесчестит меня с людьми низкого происхождения!

Он закашлялся, покраснел от прилива крови, сжал кулаки и с тяжелыми усилиями плюнул, поддерживаемый Руской, который говорил ему:

— Господин! Севера знает свои обязанности, и если она ходит на собрания христиан, то вовсе не для чего-либо дурного, клянусь в этом!

Он прилагал все усилия, чтобы оправдать Северу, не допуская мысли, что она обманывает мужа. И в трогательных выражениях высказывал веские доводы, что на миг тронуло старого патриция.

— Ты, может быть, прав, — сказал он, — но кровь кипит во мне при мысли об оскорблении, и я хочу ей высказать свое презрение, потому что возвращаться на заре, хотя ее муж и у порога смерти, это дурно, очень дурно!

— Севера думает только о тебе; она не обращала свои взгляды ни на кого другого, и потому не огорчай ее. Это гордая душа и, хотя закон дает тебе права над ней, она может уйти от тебя. И оба вы будете несчастны!

— О, я не люблю ее, — отчетливо проговорил Глиция, — и ее уход не тронет меня. Но не то же самое будет для нее.

Он закашлялся, повторяя, по обыкновению сбивчиво, что не любит Северу, но что она, может быть, любит его. Он вернулся в дом, сопровождаемый Руской, который опасался бурного объяснения между ним и Северой.

В доме кипела работа. Рабы вытирали мебель, мыли полы, чистили кухонную посуду, внося повсюду свет и воздух. Хотя Севера и возвратилась рано утром и едва успела отдохнуть, но теперь вместе с домоправительницей она следила за общим порядком с расторопностью, ей не изменявшей.

— Да, да, я сказал это, — кричал Глициа, — клянись, что этот человек был Заль.

— Господин, оставь ее, — говорил Руска. — Ты видишь, она спокойна и доверчива.

— Я тоже был доверчивым, Руска, но теперь не хочу больше терпеть!

Он вырвался от него и, сдерживая кашель, побежал к Севере в таблиниум. Он схватил ее за локоть и грубо сжал.

— Не правда ли, то был Заль?

Она быстро повернулась, покраснев, но не теряя достоинства, хотя и не зная, что сказать и не желая отвечать. Тогда Глициа оживился:

— Я сказал, что это он! Я готов поклясться, что то был Заль, который поддерживает Империю! И ты тоже пособница Империи! И Заль вместе с тобою! Разве я знаю, что он делает с тобою? Отвечай, женщина, отвечай же!

Он запинаясь, бормотал, подняв худой кулак перед лицом Северы. Она ответила ему:

— За что эти оскорбления? Ты хорошо знаешь, что я соединена с тобой и моя жизнь посвящена тебе.

Но Глициа стал грозным:

— Я могу велеть закопать тебя живьем в землю, могу сжечь тебя на костре или бросить зверям; я могу убить тебя или приказать убить тебя. Я могу взять меч и зарезать тебя. Я господин над твоим телом и если я ничего не делаю с тобой, так потому, что жалею тебя. Да, я жалею тебя, хотя ты и виновна в прелюбодеянии с Залем. Руска, утверждающий противоположное, старик, и потому не видит так, как я все вижу. Вот тебе за твоего Заля, вот тебе за твоего Заля! За твоего Крейстоса, за твоего Элагабала, вот

тебе за всех, кто сюда приходит есть хлеб Глициа и пить вино Глициа!

Он бил по ее лицу ладонью, она отстранялась. Тогда муж стал ударять ее кулаками в грудь. Она пятилась назад, безответная, покорная, давным-давно ожидавшая, что Глициа когда-нибудь побьет ее в припадке гнева, который перейдет все пределы. Подоспевший Руска удержал хозяина, чуть не ломая ему руки.

— Я вас обоих продам как меченых рабов, и про вас все скажут: вот дурной раб Глициа, вот неверная жена Глициа!

Глициа уже не кашлял и на его губах показалась пена. Руска, бледный, увлек его силком, а Севера, совсем подавленная, в слезах, опустила в кафедру и тихо прошептала:

— Если это начало страдания за Тебя, Крейстос, то да будет благословенно имя Твое! Но Ты ведаешь, что я люблю Заля не телом, а только душою!

XVI



аммеа печально смотрела, как бабуку Мезу одевали в богатую шелковую одежду, отягощенную золотым шитьем, а поверх нее в пурпурную паллу. Александр, теперь уже красивый юноша с решительным взглядом, обнимал бабушку с такой нежной страстью, будто прощался с ней навсегда. В комнатах гинекея, видимых через полуоткрытые двери и занавеси, находились

женщины, которых тоже одевали, и преторианцы на службе у Маммеи — аргираспиды, — сверкавшие серебром шлемов, щитов и палиц. Они ожидали приказаний центурионов, которые расхаживали по голубому эмалевому полу, стуча железными подошвами.

Элагабал принудил Мезу присутствовать вместе с Сэмиас на Играх в цирке на другой день после его брака с Паулой, вдовой из знаменитого рода, занявшей место отвергнутой Фаустины, в прошлом супруги сенатора Помпония, которого он велел приговорить к смерти, а также место Корнелии, которой, как и Фаустины, он никогда не коснулся.

Маммеа и Александр, бывшие с Императором в холодных отношениях, отказались участвовать в торжествах, а потому оставались во Дворце Цезарей. И теперь Александр обнимал бабушку, а Маммеа прятала у себя на груди азиатский яд, который она готовилась выпить вместе с сыном в час опасности, чтобы не подвергнуться позорным ударам убийц.

Взрывы звуков длинных бронзовых труб и медных рогов призывали аргираспидов, и они побежали, подняв вверх палицы и закрывая щитами свои тела, покрытые серебряными кружками. И вслед за Мезой, паллу которой несли два раба, появились женщины и девственницы во главе с Паулой, усыпанной драгоценностями, очень бледной под слоем притираний. По всему дворцу захлопали двери и зашелестели тяжелые драпировки, лучи солнца проникли сквозь колоннаду и заиграли бликами на тяжелых сводах, красных и голубых стенах, обнаженных статуях.

Женщины легли в носилки с кожаными занавесями, и их понесли черные рабы в туниках с ярко-

красными и зелеными полосами, слегка покачивая, что вызывало веселый смех у девственниц.

Шествие уже приближалось к выходу из дворца, когда показались убранные шелком носилки из золота и слоновой кости, вставшие во главе процессии наравне с носилками Мезы. В них находились Сэмиас и Атиллия; несли их сильные белокурые гельветы, резко отличавшиеся от других носильщиков — черных рабов. На внешней площади перед дворцом их ожидали воины с дротиками и щитами, а в глубине изнемогающих под солнцем улиц виднелись всадники в шлемах и блестящей брони, державшие в зубах узду лошади, а в руках длинное копьё со знаменем и круглый щит.

Наконец, процессия тронулась: впереди шли трубачи, флейтисты и барабанщики, за ними мерно вышагивали аргираспиды, далее двигались трое носилок, в которых находились Меза, Сэмиас и Паула, а после них — носилки с придворными дамами; замыкали шествие солдаты и всадники. Весь этот шумный эскорт направлялся к Большому Цирку, который уже наполняла гудящая публика.

Элагабал приехал из дворца Старой Надежды в колеснице, запряженной оленями, которые, как и прежде, вызывали у римлян сильное удивление. Император был очень красив в своей тяжелой пурпурной одежде с причудливыми золотыми узорами, с тиарой на голове, густо покрашенный румянами. За ним следовали также нарумяненные, с подрисованными глазами и осыпанными золотой пудрой волосами Гиероклес и Зотик, его приближенные Муриссим, Гордий, Протоген, Юноши и Девы Наслаждения, жрецы Солнца в митрах и хор людей в белых тогах

и лавровых венках, провозглашавших себя поэтами. Действительно это были поэты — без фанаберии! — собранные Зописком, который принадлежал теперь к высокой фамилии Элагабала, ради восхваления слов, действий и славы Императора.

Защищенный от голода и жажды, хорошо одетый, Зописк был теперь очень горд, хотя легкая тень омрачала эту гордость: Император несколько дней тому назад женил его на Хабаррахе, и отныне старая негритянка не давала ему покоя своей страстностью. То была печальная сторона блестящего положения поэта, который никак не мог понять, как пришла в голову Элагабала фантазия соединить браком такого поэта, как Зописк, с эфионкой в возрасте шестнадцати люстр!

Большой Цирк, длиной в шестьсот метров и шириной в двести, был разделен на овальной арене спиной, то есть стеной из кирпичей, увенчанной на каждом конце тремя пирамидами на общем фундаменте. По центру стояли большой обелиск, обелиск поменьше, вывезенный Августом из Египта, и семь остроконечных столбов, увенчанных изображениями дельфинов и жертвенниками. Ярко-голубое небо вырезалось эллипсом сквозь открытый верх цирка, и солнце, угрожавшее близкой жарой, высветило желтой охрой большой угол одной из его сторон.

Арена была пуста, но на ступенях портиков, окаймлявших с трех сторон колоннады подиума, разместились двести пятьдесят тысяч зрителей, приветствовавших мощным криком Элагабала, Мезу, Сэмиас, Паулу, Атиллию, женщин и девственниц гинекея, приближенных и Юношей Наслаждения, жрецов Солнца, музыкантов и поэтов. Император с Мезой, Сэ-

миас, Паулой и Атиллей сели на подиуме, где также заняли места сенаторы, консулы и весталки в белых одеждах.

Элагабал глазами сытого зверя оглядел публику, особенно внимательно посмотрев на Юношей Наслаждения, а Паула, смущенная своей новой ролью, застыла как изваяние. Рядом с ней оживленная Сэмиас теребила край одежды Атиллии, а старая Меца задумалась о другой своей дочери, которую, быть может, в этот момент убивают во дворце. Она нагнулась к Сэмиас и что-то зашептала, но та отрицательно замотала головой:

— Нет, нет! Говорю тебе, что нет, мать! Твоя дочь клянется тебе: нет!

Иногда зрители, замечая новые лица вокруг Императора, прекращали кричать, и тогда слышался тяжелый топот кавалерии, под начальством Атиллия объезжавшей вокруг Большого Цирка.

Случалось, что кто-нибудь бросал тыквенную или арбузную корку, даже целые плоды на спину, и тогда на арене появлялся распорядитель и с торжественным видом подавал знак. И тогда над виновным воздевались руки и сыпались удары, от которых он съезживался, — но удары уже переносились на голову другого несчастного.

Появились смешные люди: карлики и мимы с чрезмерно удлиненными лицами и круглыми глазами. Какие-то гимнасты, с клочком ткани у бедер, спускались сверху вниз на руках, падали на арену и, преследуемые распорядителями, быстро взбирались обратно под дружные раскаты смеха.

Наконец, из двери возле конюшен вышли музыканты, и раздались звуки флейт, бубен, кротал, тим-

панов, лир, рогов, барабанов, труб и цистр. Открывая процессию колесниц с атлетами, певцами, обритыми жрецами Изида и жрецами Кибеллы в тиарах, Гие-роклес выехал на запряжке, украшенной золотом, одетый не Юпитером Капитолийским по обычаю, а Великим Жрецом Черного Камня в сирийской одежде с развевающимися рукавами, в высокой тиаре, с драгоценностями на шее и на кистях рук, нарумяненный подобно Элагабалу. Шествие шумно двигалось по арене; тимпаны врезались в резкий ритм флейт, цистры трепетали среди широких звуков рогов и труб, а чарующие лиры, в высоко поднятых руках взволнованных музыкантов, присоединялись к странной мелодии, сопровождаемой ударами тамбуринов и мерным отбиванием такта ладонями двухсот пятидесяти тысяч зрителей.

Это шествие сменилось другим: процессией богов и богинь из мрамора и бронзы на тяжелых носилках и колесницах, запряженных слонами и тиграми под ярмом. Жрецы жгли фимиам в золотых вазах, а музыканты приветствовали шествие изысканной музыкой, то медленной, то быстрой, которая закончилась повторяющейся темой пляски.

Предстояло начало Игр, но Элагабал подал знак. На круг цирка торжественно спустились поэты и развернули свои свитки. Их фигуры терялись в широких лучах солнца, и виднелись только черные головы с бритыми лицами, за исключением Зописка, который по-прежнему носил свою острую бородку без усов. Зазвучал сочиненный Зописком гимн Богу-Элагабалу, главе Империи и властителю Неба, гимн, скандируемый группами поэтов под управлением самого Зописка. Зрители многого не понимали,

но Элагабал откровенно наслаждался, испуская громкие восклицания: — О!.. Эге!.. Эвге!.. — среди мертвой тишины и даже аплодируя во время чтения поэмы, закончившейся отчаянным воплем читавших...

— Поэт!

Холодный, ироничный голос поразил Зописка. С противоположной от Императора стороны, из толпы зрителей поднялся человек и, протянув руку, повторил:

— Поэт!

С возрастающей иронией и силой в голосе он воскликнул еще раз:

— Поэт!

Зописк, моргая глазами, узнал Атту, а цирк уже дрожал от смеха зрителей. И странно было, что поэта рукоплескали только Элагабал, его приближенные, его мать, Паула, Атилия, Юноши Наслаждения и жрецы Солнца. А народ не желал принимать участия в поклонении Императору.

Элагабал в бешенстве закричал Зописку:

— Кто этот человек? Я прикажу бросить его под ноги слонов!

Зописк ничего не понимал в поведении Атты, который, очевидно, был слишком силен, если мог бросить такой вызов Императору. И Атта действительно был силен или, вернее, чувствовал себя таким, благодаря все возрастающей непопулярности Черного Камня. Вот уже несколько дней, как среди народа ходил слух о готовящемся убийстве Маммеи и Александра и о цепи преступлений, которые во время цирковых игр покроют кровью улицы Рима, его храмы, термы и дворцы. Атта убедил тех христиан, ко-

горые его слушали, присутствовать на Играх, чтобы посеять смущение и тем привести в замешательство Элагабала, наемные убийцы которого, как предполагалось, ожидали только знака.

Зописк гордо выпрямился в своей новой тоге, и, так как Атта назвал его поэтом, закричал ему отчетливо:

— Христианин!

И повторил среди возраставшего шума:

— Христианин! Христианин!

И очень довольный собой, он отправился на свое место во главе поэтов, которые теперь положили свои свитки на колени. Но Атта снова встал.

— Это поэма не в честь Антонина, а в честь Божественного Гиероклеса. Наш Император не Антонин, а Антонина!

— Антонин есть Антонина!.. — И смех тысяч зрителей, как вихрь, долетел до Гиероклеса, который на арене, у подиума, взирал с высоты своей колесницы.

— Слонам! Зверям! На криук! В Тибр! — кричал Император. Весь цирк волновался. Многие, ничего не расслышав, неистово кричали; но в этот момент галопом въехали на арену многочисленные всадники, чтобы возвестить начало Игр.

Гиероклес приблизился к Императору, колесницы и тэнсы удалились и все как будто успокоились. Элагабал бросил кусок белой материи на арену, и шесть колесниц, маленьких и легких, запряженных четверкой, вынеслись из конюшен и помчались по арене с мягким шумом. Слышны были крики возниц, — ауриг, — одетых в туники шести разных цветов — белого, красного, голубого, зеленого, пурпурного и золотого; они стояли в своих колесницах,

натянув вожжи, привязанные к поясу. За поясом у них торчали ножи, которыми, в случае надобности, можно было бы перерезать вожжи.

Они сделали семь кругов. Взмыленные кони посилились по арене в облаках пыли, пронзенных яркими солнечными лучами. Зрители бесновались, приветствуя любимцев-ауриг, периодически вырывавшихся вперед. Но победил аурига в пурпурной тунике, раньше других достигший финишной белой черты. Это был дакиец — красивый, крепко сложенный юноша со смелым взглядом. Он настолько понравился Элагабалу, что тот даже спустился с подиума и поцеловал его в губы. Публика при этом возмущенно взревела.

Но Элагабал не собирался уступать зрителям, показывавшим ему кулаки. Он стал осыпать их ругательствами, угрожал им конницей, грозный топот которой слышался в цирке; его голос становился все более грубым, как бы в подражание крику зверей, по его приказанию тоже приведенных сюда из вивария. Весь цирк волновался: Императору делали непристойные жесты. Тогда Элагабал, приподняв одежду, показал толпе свою наготу, на что некоторые из зрителей, в особенности из народа, ответили тем же.

Женщины уходили, охваченные безумным страхом, предчувствуя, что Игры окончатся какой-нибудь трагедией. Но появились новые колесницы, заиграли рога и трубы, распорядители жестами успокаивали народ, — и все вдруг стали укрываться от солнца под широкими полями круглых шляп.

Так продолжалось до середины дня. Элагабал не целовал больше победителей, но дарил им богатые одежды, золотые чаши, дорогие камни в золотой

оправе, пальмовые ветви, перевитые пурпурной лентой, деньги и серебряные венки.

Он обещал зрителям в цирке вкусные яства, и теперь их раздавали, в первую очередь странникам, прибывшим издалека: вареное мясо и овощи, приготовленные в шафрановых соусах, плоды из разных стран, целые хлеба, которые теперь перебрасывались по рядам. Шум, сопровождающий трапезу двухсот пятидесяти тысяч человек с полными ртами, включающий громкие звуки отрывки и плевков, постепенно распространился по всему цирку. Элагабал тоже ел, его гнев прошел. Он стал очень весел, переходил от Паулы к Юношам и Девам Наслаждения, целовался с Гиероклесом и Зописком и без стеснения при всех с подиума отправлял свою естественную надобность.

Но вот трапеза завершилась. Шествие музыкантов возобновилось, и к ним присоединились юноши, игравшие на металлических треугольниках и быстро щелкавшие кружками из твердого дерева, похожими на черепки. Игры продолжались — и все со вниманием проследили, как снова брошенный Элагабалом кусок белой материи, попорхав в воздухе, опустился на песок.

Появились карлики и стали гоняться друг за другом, тщетно стараясь ухватиться за край туники. Их шутовство, делая комические гримасы, подхватили мимы, а за ними выскочили, тут же вставая на руки, ловкие гимнасты, дрыгающие при этом своими паучьими ногами. Наконец вышли атлеты и разогнали всех ударами голых ног. Они были натерты цермой, чтобы удобнее было бегать, прыгать, драться, бороться и метать диск.

Эти атлеты стали исполнять свою программу. Люди хватались друг за друга, падали и снова поднимались, сцепив руки и напрягая мышцы; прыгуны с разбега прыгали в длину, все время улучшая результаты; бегуны, как молнии, пронеслись по арене, держа в зубах ветки шалфея; кулачные бойцы нанесли друг другу удары хиротеками или цестами — железными или медными перчатками, надетыми на руку; наконец, метатели дисков сорвали аплодисменты, бросая свинцовые пластинки, которые, вертясь в воздухе, падали у намеченной черты.

Цирк с вниманием следил за Играми, как вдруг Элагабал спустился с подиума и громко сказал:

— Граждане, я, Божественный и Август, я бросаю вызов борцам!

Он стоял на арене, подобрав одежду, скрестив на груди руки. Один из борцов подошел к нему и, почти без всяких усилий со стороны Императора, оказался на песке. За ним второй, третий. Атлеты облегчали победу Императору, и скоро вокруг него была куча поверженных тел, и Элагабал гордо опустил на нее ногу.

Но ярость борьбы уже овладела им. Он окликнул карликов и приказал им догнать его. Все смотрели на это шутовское зрелище, как двадцатилетнего Императора вдоль огромной спины изо всех сил преследовали люди ростом по пояс обыкновенному человеку, с большими качающимися головами, отвислыми ушами, с огромными ступнями ног и коротким туловищем. Они бежали и кричали, и иногда Элагабал оборачивался и ударял в нос кому-нибудь из них или цинично поднимал ногу. Цирк не рукоплескал, ожидая грозу.

Утомленные карлики остановились, признавая себя побежденными, но Элагабал, увлеченный забавой, приказал впустить зверей. В ужасе карлики и борцы кинулись к выходным дверям, но те были крепко заперты. Они пробовали влезть на ступени амфитеатра, но распорядители сталкивали их назад. И вот уже около арены показались хоботы слонов и полосатые спины тигров.

Публика безмолвствовала. Отчасти она увлеклась неожиданным ходом Игр, но все же в ее молчании скорее ощущалось недовольство Императором, который нарушил принятый порядок и унизил Империю своей нелепой борьбой и беготней. И вдруг Атта, рискуя головой, вскочил со своего места и, вытянув кулак в сторону Элагабала, громко прокричал:

— Сын Авита, граждане, хочет бросить борцов зверям, но сам он убежит, чтобы они не сожрали его!

Задетый за живое, Элагабал устремился к Атте, но один из зрителей сверху крикнул:

— Пойди поцелуйся с Гиероклесом, он император, а не ты, ублюдок!

И тут со всех сторон, со всех ступеней, верхних и нижних, над подиумом и портиками, протянулись сжатые кулаки, полились ругательства, позорные насмешливые прозвища. Его называли Элагабалом, Авитом, Сирийцом, Сарданапалом, Нечистым, Лже-Антояином, супругой Гиероклеса, Бассианом, Барием. Император возвратился на подиум, угрожая очистить цирк при помощи солдат. Но Атта опередил его:

— Граждане! Пошли, и пусть нас попробуют перебить преторианцы!

И он спрыгнул на арену, а за ним последовала толпа. В этот момент выпустили зверей. Но зрители,

как глыба, скатывались на арену, и звери убежали, испуганные ревушим людским океаном. Распорядители попытались было сопротивляться, но вскоре обратились в бегство; борцы смешались с толпой, карабкавшейся на подиум. И казалось, что белое и пурпурное пятна, — группы Элагабала, Женщин и Дев, консулов, приближенных и Юношей Наслаждения, — были затоплены толпой. Рим решил укусить своего Императора, он крепко вцепился зубами в тело извращенного безумца. С площади прибежали преторианцы и яростно атаковали нападавших, многие из которых рухнули с пробитой мечом или копьем грудью. Всюду хлестала кровь, валялись трупы — и хаос властвовал над всем. Элагабал исчез, но битва солдат и граждан продолжалась.

XVII



а площади Большого Цирка вожатые оленей и олени, запряженные в колесницу Элагабала, были убиты. Но подошла конница и нанося всем удары копьями, смяла тысячи граждан, так что кони топтались в крови. Император, дрожа, прокрался в случайную колесницу; свита последовала его примеру, и императорский поезд, прежде торжественно прибывший в цирк, теперь обратился в бегство, забрасываемый камнями и грязью, которую швыряли в него римляне через шлемы преторианцев. До самого Целия э

была безумная, бешеная погоня Рима по пятам за Императором, Сэмиас и Атиллией, за их лошадьми, впряженными в золотые колесницы. Но все же чем далее они подвигались вперед, тем реже становилась толпа преследователей, рассеиваемых конницей и избиваемых преторианцами и аргираспидами, которые, обращаясь лицом к нападавшим и разгоняя толпу, отступали шаг за шагом. Наконец, открылись бронзовые ворота садов, и на стенах появились солдаты с палицами, стрелки из лука и пращники, готовые защищать дворец Старой Надежды. В глубине его и скрылся Элагабал со своей свитой, в трепете перед внезапным гневом Рима.

Многочисленные христиане, последовавшие за Аттой, были рассеяны на площади Большого Цирка отрядом катафракийцев под начальством Атиллия. Но они вновь собрались, призываемые Аттой, который убеждал их идти ко Дворцу Цезарей, освободить Маммею и Александра и поставить их во главе народа, против Элагабала. Образовалась длинная колонна, которая стала взбираться на Палатин и к которой присоединились многие из римлян; некоторым из них наскучил Черный Камень, другие же искали в мятеже развлечения. Но войска под начальством Антиохана и Аристомаха и опытных офицеров, участвовавших во всех походах в Африку и Азию, неистово преследовали и убивали их, не зная в сущности, чего хочет эта толпа.

Не понимали этого и преторианцы, занявшие позиции на стенах дворца. Они предполагали, что толпа послана Элагабалом для уничтожения Маммеи с сыном, Мезы, возвратившейся из цирка, и других важных жоб, — и готовы были защищать их своими телами.

А Антиохан и Аристомах, глядя на рассредоточенную по группам толпу, в конце концов решили, что эти люди действуют по высочайшему указанию и их маневр должен лишь прикрыть факт предстоящего убийства, о котором они тоже слышали. Поэтому они развернули своих коней и резким галопом умчались к Тибру, на берегах которого уже собирались любопытные.

Атта, вождь мятежа, пытался войти во дворец, охраняемый преторианцами, и тысячи людей окружили его стены, готовые взобраться по приставным лестницам, но Атиллий, увидев, что Антиохан и Аристомах покинули Палатин, стремительно поскакал туда. Как и они, он думал, что нападавшие направлены подстрекателями к этому убийству, о котором по Риму катилась грозная молва. Но его охватила великая жалость к этой женщине и ее сыну, и еще то глубокое чувство, свидетелем которого была Сэмиас, — чувство отвращения к жизни, не оправдавшей ни одной его надежды. Вместе с катафрактариями он попытался очистить площадь, но мятежники упорно сопротивлялись. У многих в руках появились кинжалы и дротики, другие выворачивали из мостовой камни и швыряли их во всадников, пробивая некоторым шлемы. Всюду лилась кровь, уже трупы людей загромождали улицы, а возле них упавшие кони вздрагивали в предсмертных судорогах. И тогда дворцовые преторианцы нерешительно подумали: если нападавшие позволяют убивать себя, значит, они не посланцы смерти, а скорее, друзья, спешащие на выручку Маммеи, Александра и их сторонников.

В этом убеждали и действия Атты, который, прав-

да, из трусости не участвовал в сражении, но бегал под стенами дворца и кричал офицерам:

— Мы друзья, помогите нам! Скажите ее Светлости Маммее, что Атта здесь.

И он упорно повторял эти слова среди возраставших воплей резни, чувствуя, что если вход во дворец не откроется, то они все останутся лежать на улицах, на площади и в переулках квартала. Он боязливо оглядывался, видя, как Атиллий, в ослепительном блеске своего халькохитона, с нечеловеческой яростью сеял вокруг себя смерть. Примицерий уже приближался к нему, как вдруг со стены донеслось:

— Ты — Атта! Скажи своим, чтобы они следовали за тобой. Мы откроем тебе.

Отворились двери, и Атта вошел в сопровождении нескольких сотен людей. Двери закрылись перед всадниками, которые хотели проникнуть во дворец.

— Оставьте! — закричал офицер. — Так решено!

И он сделал знак, как бы объясняя, что это было условлено для удобства их захвата.

Мятежников попросили выбрать из своего состава нескольких человек, которых и проводят к Маммее, но во дворец стремились попасть все:

— Мы хотим видеть ее Светлость! Мы хотим видеть Цезаря!

— Ты взбунтовал их, — сказал офицер, который уже обращался к Атте, — и мы понимаем, конечно, что ты стал во главе их, чтобы спасти ее Светлость, если бы ей действительно пришлось пострадать от Антонина. Маммеа приказала мне впустить тебя. Она тебя знает. Иди, но только возьми с собой нескольких из них.

Атта отделился от толпы, взяв с собой самых

надежных христиан; среди них были Винсаний, торговец травами, Равид, Корнифиций и Криниас. Снова Атта увидел залы дворца, через которые он проходил при первом свидании с Маммеей; и тот же самый громила-раб ввел их в маленькую комнату, где стоял трон с ручками в виде золотых крыльев сфинкса. В гинекее стоял гул взволнованных голосов женщин, убежавших из цирка; мужчины шумно запирали двери, и аргираспиды, защищавшие Императора, хотя они были на службе у Маммеи, возвращались, покрытые грязью, — некоторые были окровавлены. Не зная намерений вошедших, они готовы были напасть на них, но преторианцы силой удержали их.

Маммеа появилась перед Аттой и его товарищами; она была взволнована и слегка дрожала; протянув к ним руку, она села. Атта представил ей Випсания, Равида, Корнифиция, Криниаса, сильно пострадавших, защищая ее.

— Христиане, о Светлость! Христиане, о Величество! Они отразили опасность, которую готовил тебе Элагабал; отстранили, вместе со мною, смерть, направленную на голову твою и твоего сына. Слушай, — прибавил он увлекаясь, не смотря на свою обычную холодность, — мы сильны в Риме; без нас язычники дали бы возможность Элагабалу убить тебя. Предоставь нам не только благорасположение, каким мы уже пользуемся, но первенство. Дай могущество Агнцу, вознеси Крейстоса над Империей. И род твой будет плодовит во веки веков, вечно будет обладать Мечом и Державою мира и будет благословен как праведный, святой и великий!

— Да, да! — подтвердили христиане, увлеченные красноречием Атты, который совершенно преобра-

зился. — Дай первенство Агнцу, вознеси Крейстоса над Империей!

На глазах Маммеи показались слезы.

— Я за вас, христиане. Я разделяю ваше учение; я люблю Крейстоса. Но не спрашивайте с меня большего. Я не стою во главе Империи, и сын еще очень молод, а Нечистый, попирающий ногами Рим, может похитить его у вас. Я вам обещаю, я вам обещаю любить вас и покровительствовать вам.

Она встала, обратившись к Атте:

— Всякий раз, когда Атта придет сюда, пусть он знает, что Маммеа будет счастлива беседовать с ним о Крейстосе. — И она отступила назад, в полутьму коридора, где поблескивал кинжал ее слуги.

А в это время в садах и за стенами, на площади и близлежащих улицах, многоголосая толпа повторяла имена Маммеи и Александра и проклинала Элагабала, — так проявлялась любовь и надежда на лучшее будущее Империи, так выражалось возмущение Черным Камнем, его Великим Жрецом, Юношами Наслаждения и преторианцами, пролившими кровь римлян. Маммею и Александра хотелось приветствовать всем простолюдинам, даже с другого берега Тибра, где ютились восточные христиане.

Дворец заполнялся военными. Христиане Атты растерянно смотрели, как из всех его комнат выходили вооруженные люди. А в садах, под портиками, в атриуме, в глубине перестилей, в кубикулах и залах, украшенных статуями и канделябрами, в гинекее — всюду громко и упорно повторялись имена Маммеи и Александра:

— Да здравствует Цезарь, трижды благочестивый!

— Пусть Маммеа во главе Империи охраняет от рока!

— Он наш, пап, наш император, единственный, кого мы признаем!

Возбужденная криками, Маммеа появилась под портиками вместе с Александром, положила руку на плечо сына и взволнованно посмотрела на огромную толпу, лившуюся по Риму живым потоком. Раздался всеобщий крик радости: так Рим приветствовал ее и Александра.

Однако армия, судя по всему, не собиралось пока признавать этих перемен. За исключением преторианцев Дворца Цезарей, преданных Маммее, войска оставались на стороне Элагабала, точнее, они отождествляли служение Александру, и поэтому мало что понимали в происходящих событиях. Им казалось, что действия толпы направлены против обоих, поэтому безжалостно разгоняли мятежников, восстанавливая общий порядок. Это поняли Маммеа, ее советники и Атта, который по секрету предложил ей:

— Тебе лучше удалиться, думаю, скоро войска, как и народ, перейдут на сторону твоего сына, а значит, на твою. А если не согласишься, можешь все испортить.

Она подняла глаза и увидела в глубине улиц, в основном у лагеря преторианцев, черную массу вооруженных солдат, озарявшуюся, как светом молний, блеском оружия. От Тибра опять поднималась конница — консулы приказали ей занять городские высоты — и всюду Черный Камень, поверженный ненадолго, вновь призывал к жестокой междоусобной войне. Необходимо было как можно скорее привлечь

воинов Элагабала на свою сторону разными выгодами и тем самым избежать хаоса войны, пробуждавшего в них слепые инстинкты убийц и делавшего их неуправляемыми. Маммеа приветливо улыбалась народу, а Ульпиан, Сабин, Модестин и Венулей многозначительно кивали головами. Атта прокричал христианам:

— Ее Светлость спасена, и Крейстос одержал сегодня великую победу. Довольно! Удалимся!

И он исчез в толпе, сопровождаемый рукоплескавшими ему христианами и выросший в своем честолюбии, а Маммеа, Александр и их свита возвратились во дворец под неумолчный рев голосов, разливавшийся по набережным, форуму, по холмам и террасам домов, переполненных народом, который одновременно проклинал Элагабала, замкнувшегося в Старой Надежде, немой и мрачной, на Целийском холме.

XVIII



а дорожках дворца Старой Надежды, в тени листвы, прорезаемой ярко освещенными просеками, у стен, уходящих вдаль смутными очертаниями, вокруг бассейнов с тихой рябью на поверхности воды, вокруг беседок и статуй, в мрачной тишине преторианцы

ждали призыва Элагабала к борьбе, но он колебался. Они были построены в боевом порядке, в три линии: копьеносцы в первой, принципы во второй

и вооруженные палицей триарии в третьей. Между ними выстроились отряды манипул и велитов. Каждый манипул имел свое знамя, в виде копья с деревянной фигурой на вершине и маленьким золотым или серебряным щитом с изображениями Элагабала, которому воины некогда принесли присягу. В глубине развевался вексилум — знамя конницы, частью уже вернувшейся, — кусок сукна на древке; офицеры стремились к простилю, где высилось копьё, обернутое красным знаменем. Звуки труб и рогов раздавались то там, то здесь.

Воины выражали нетерпение. Почти все они были иностранцы, и теперь на непонятных Риму языках высказывали надежду на разграбление города, потому что они не желали защищать Императора ради него самого, Императора, которого, как это предугадывал Атиллий, они убили бы, если б понимали смысл неожиданного мятежа. Теперь они хотели удовлетворить свою жажду убийства и грабежа граждан, богатых золотом, одеждою и утварью. По их мнению, причиной беспорядков в Риме были только его жители, а Цезарь никак не мог быть соперником Императора, — вот почему они не перешли на сторону Маммеи. К тому же до них не дошел слух о возможном убийстве Маммеи и ее сына, иначе они, безусловно, разделились бы на два лагеря.

В одной из зал дворца пребывал в прострации Элагабал. Сэмиас была очень оживлена, Паула равнодушна, почти не страшась мятежа, который мог сделать ее вдовой императора, Атиллия тревожилась, а Гиероклес и Зотик дрожали, ожидая, что гнев народный падет и на них. Хризасниды прохаживались перед занавесями и дверями кубикул, пересекая пер-

спективы мраморных и порфировых стен. Элагабал оставался в своей золотой тиаре, и под великолепными одеждами он нервно вертел шелковый шнурок, а золотой обнаженный кинжал лежал возле него рядом с фиалом — кубком, в который был налит яд. Император предпочитал сам принести себе смерть избранным оружием, а не принимать ее от гнусной руки убийцы, потому что его необычная жизнь должна была и кончиться необычно, беспримерно для будущих веков.

Их слуха достиг топот коней и звуки труб. Показались Аристомах и Антиохан в запыленном вооружении, с кровью на одежде. Антиохан заявил, что он покинул Дворец Цезарей, осажденный толпами, готовыми убить Маммею и Александра.

— Но я не приказывал этого, — сказал Элагабал, тревожно глядя на свою мать. — И вы также не приказывали? — обратился он к Зотику и Гиероклесу.

Это было правдой. Император был совершенно чужд замыслу убийства, о котором в городе в последние дни распространился странный слух. Сэмиас встала:

— Никто, о Божественный Сын, не отдавал приказаний без тебя, и, клянусь, я не принимала участия в этом заговоре.

Она была возмущена: хотя раньше она и желала убийства соперников, Атилий доказал ей бесполезность и опасность покушения, и она выбросила это из головы. Но все же, неподвластная страху, Сэмиас ненавидела римлян, которых, на ее взгляд, не мешало бы покарать силами войск преторианцев и Старой Надежды. Заговорили и другие, образовалось подо-

бие военного совета, на котором явно преобладала мысль о мести Риму.

— И мы покараем их всех, бросив в Тибр, — проговорил дрожавший все время Зотик, на которого Аристомах кинул презрительный взгляд.

В ответ на его угрозы Маммее и Александру, Сэмиас воскликнула:

— Нет! Нет! Такие слова и подняли римлян на мятеж. Маммеа такая же дочь Мезы, как и я; в нас течет одна и та же кровь, и я не хочу братоубийственной войны.

И она заговорила торопливее, как нервная женщина, а не как политик, в ней дрожали струны эмоций. В глубине души она не была жестокой: жадная до наслаждений и неуравновешенная, она почти всегда была снисходительной: жизнь в Риме делала ее расслабленной, в противоположность Маммее, полной честолюбивых стремлений. Да и остальные чувствовали себя истощенными: сказывались затраты сил, отданных беспрерывным в течение двух лет наслаждениям, — поэтому начавшийся распад Империи застал их равнодушными и как бы оупевшими. И в то время, как вне дворца начальники войск думали о борьбе, приближенные Императора стремились только к тому, что наслаждаться, смеяться, объедаться вкусными блюдами, слушать музыку и восхваления, смотреть на мужское и женское тело и справлять гигантское празднество завоевания Запада.

Временами за стенами дворца Старой Надежды усиливался рев и шум толпы — тогда кто-нибудь выходил узнать последние новости о мятеже. Было названо имя Атиллия, который, похоже, выиграл

очередное уличное сражение и теперь торопился к ним.

Действительно, послышался приближавшийся топот лошадей: сады наполнились всадниками и звоном оружия. Вошел Атиллий. К нему на шею, задыхаясь от волнения, бросилась Атиллия, а Сэмиас, забыв о своем достоинстве Светлейшей Императрицы, просто обратилась к нему:

— Ты не ранен? Ты не побежден? Ты разогнал их, не так ли?

— Да, — ответил Атиллий озабоченно, — но перед ними открылись двери дворца и те, с кем я сражался, предлагали Империю Маммее и Александру.

Он быстро рассказал о событиях дня и о том, что народ восстает только против Элагабала, вдохновляемый, наверное, сторонниками Маммеи. И он прибавил:

— Ты видишь, Империя колеблется. Мир отвернулся от нее и Черный Камень возвратится в Эмесс. Сегодня войска были с нами, потому что ни о чем не догадались, завтра они нас бросят и перейдут к Маммее.

— Мы устроим себе божественные похороны, — воскликнул Элагабал, вставая в трепете. Он взял кинжал и трагически сверкая им, завершил:

— Антонин не уйдет бесславно!

Он приравнивал себя к комедианту, атлету или бегуну, которому не безразличен конец состязания. И вслед за ним все стали бурно искать выход из трудной ситуации и негодовать на римлян. А тем временем народ на Палатине без усталости выкрикивал имена Маммеи и Александра, и тем стоило только подать знак, чтобы направить толпы против Элагабала.

Но шум понемногу рассеялся. Сэмиас, несмотря на все происшедшее и не чувствуя страха, захотела вернуться на Палатин. Но когда Гиероклес вяло заметил, что это возвращение может взволновать утихший народ, она сказала ему:

— Что? Ты смеешь говорить, ты, вольноотпущенник, что мать твоего Императора побоится его врагов! Ты достоин носить одежду тех, кто не имеет пола!

Паула собиралась остаться со смутным желанием отвлечь Элагабала от Гиероклеса и Зотика, которые сидели по сторонам его, касаясь пальцами его колен, но Сэмиас увела ее вместе с Атиллией.

Вскоре торжественная процессия двинулась в путь. Здесь были приближенные Императора, офицеры и солдаты, сошедшие с простиля, манипулы, сверкающие высоко поднятым оружием. Слышались новые кличи — возгласы легионеров, постоянно готовых идти по трупам, — они тоже пожелали проводить Сэмиас, Атиллию и Паулу. Декурионы и центурионы, всадники и трибуны, начальники конницы и пехоты, — все кричали о своей преданности, предлагая для защиты Империи свои мечи и щиты, пронося страшные клятвы мести Риму за нанесенные им оскорбления Элагабалу и его матери. Триарии и принципы бряцали оружием, пробегали велиты, слоны с башнями на спине проходили под широкой листвой высоких деревьев; катапульты и баллисты высились на своих черных подмостках.

На следующий день из дворца выступила процессия, возглавляемая Атиллием. Впереди шли преторианцы, ударявшие копьями о щиты, и сигниферы, несшие знамена легионов; за ними двигались носил-

ки с Сэмиас, Атиллией и Паулой в сопровождении конницы.

При выходе из ворот всех отвлекла любопытная картина: на вершине стен группа людей в белом и в лавровых венках, и во главе их человек с худым лицом и остроконечной бородой без усов, читали нараспев стихи, быть может, поэму о храбрости и добродетели, что очень рассмешило Атиллию:

— А, это супруг Хабаррахи и поэт Зописк!

То действительно был Зописк, управляющий хором поэтов, и без критиков; в стихах возможно, асклепиадических или гликонических, они обращались с ободрением к Светлейшей матери Элагабала, к его супруге Пауле и к Цветку всех женщин, Атиллии, — как к живому воплощению мужества, достойного прославления в грядущих веках. Посреди чтения стихов, в шуме оружия и топоте коней, все вдруг ясно услышали одно из указаний Зописка, воздевшего руки к небу:

— Главное, читайте внятно, дабы все поняли, что Святейшая Сэмиас, храбрая и прекрасная Атиллия, сестра героя Атиллия, а также супруга Императора, обязаны вам жизнью благодаря чтению моих стихов.

Шествие спустилось с Целия, пересекло долину и проследовало перед колоссеумом; народ шел за ним, сбегая с соседних холмов, стекаясь с улиц. Конница Атиллия проехала под аркой Тита и уже растянулась за Траяновой колонной; воины отгеснили народ к Капитолию и к Vicus Teacus. И женщины императорского двора, покачиваемые в носилках, смогли на минуту насладиться торжеством Черного Камня, царившего надо всем и устрашавшего всех.

Но крики уже слышались на их пути; в их сторону

вздымались кулаки, народ волновался. Не кричали больше во славу Цезаря, неслись проклятья Элагабалу и Сэмиас, и все предвещало новый мятеж, более страшный, чем накануне. С Палатина и из Субуры подошли оборванцы, рабы и вольноотпущенники, вырвавшиеся из лупанаров квартала, и бросали в них камни. С домов летели черепицы, кирпичи и обломки нищей утвари, продавливая шлемы всадников.

Воины яростно набросились на римлян, нанося им беспощадные удары. Люди защищались, кто чем мог. Причем сражались не только христиане, но и язычники, в которых пробудились унаследованные от предков воинственные наклонности, а может, ими двигало стремление свергнуть Империю ради установления идеального государства — без Элагабала и Сэмиас, — которое не даст себя поработить Востоку, сбросит в Тибр Черный Камень вместе с его последователями. Какое-то кровавое безумие овладело людьми и мгновенно вооружило их; и смерть, которую они распространяли и которой подвергались, была беспощадна, потому что обе стороны были руководимы неустолимой ненавистью.

При первых вспышках восстания войска покинули дверей Старой Надежды, слоны вырвались оттуда, сметая толпу и хватая хоботом сражающихся. И из лагеря преторианцев через Каненские, Саларийские и Виминальские ворота бросились другие отряды, занимая улицы, спускавшиеся к форуму; велиты рассредоточились, поражая дротиками граждан, тут же обращавшихся в бегство; пращники осыпали дождем глиняных шариков даже мирные кварталы, и всадники приказывали толпе разойтись. Теперь все чувствовали, что верх одержит армия, потому что у

восставших не было ни военачальников, ни животворной идеи; но все же они отчаянно сражались, покинутые Маммеей, не желавшей без определенного плана пускаться в рискованную борьбу против армии. К середине дня мятеж был подавлен, оставив после себя трупы по всему форуму, от Велабра до Табернолы.

Носилки подымались на палатин по расчищаемой конницей дороге, и вдруг всадники беспорядочно бросились назад. Римляне, соорудив баррикады из огромных булыжников, перегородили улицу, и кони, спотыкаясь о них, падали с перебитыми ногами. В процессию полетели камни, один угодил в Атиллия, кого-то из центурионов ударили кинжалом. Началась ужасная паника. Носилки опрокинулись. Сэмиас и Паула быстро встали, а Атиллию схватила негритянка, растолкавшая своими кулаками ревущую толпу.

— Хабарраха! Ты унеси меня, унеси отсюда подальше, туда, где не убивают!

— К твоему брату! — крикнула ей Хабарраха.

Действительно, это была эфионка, огорченная тем, что ее не взяли с Атиллией, а оставили с Зописком. И как только поднялось волнение, она сбегала, с опасностью для жизни стараясь догнать Атиллию, и поспела вовремя. Теперь она добродушно улыбалась, открывая желтые зубы, и с довольной гримасой покачивала седой курчавой головой. Хабарраха, еще достаточно сильная, подняла девушку на руки и стала пробиваться через ряды всадников, окружавших кольцо носилки, в которые уже садились Сэмиас и Паула. Через несколько минут они снова бежали по узким улицам, и Атиллия нервно смеялась, обезумев от картин убийства.

— А мой брат? — спросила она. — Он не ранен?

— О нет, — ответила Хабарраха и, видя, что сверкающие одежды Атиллии привлекают внимание любопытных, покрыла ее своей синей паллой, усеянной блестками золота, как небо звездами.

Избегая центральных улиц, они быстро шли мимо домов, крыши которых тесно смыкались, едва оставляя просветы. Там обыкновенно жили проститутки, и, хотя уже было за полдень, они только начинали вставать, расхаживая в простой одежде, наброшенной на голое тело, и через разрез их грязных субикул виднелись груди. Над входом одного из домов висел красный фонарь. В вестибюле, освещенном ярким солнцем, Атиллия увидела непристойные рисунки и, забыв про события этого утра, стала громко хохотать. Но тут показались другие женщины и стали гнусно браниться, постыдно обнажая свое белое тело.

— Мадех ждет тебя, я думаю, — сказала Хабарраха. — Теперь тебе нельзя вернуться на Палатин. Ты пойдешь туда завтра. Мы гораздо ближе к дому в Каринах и к дворцу Старой Надежды, а сейчас главное для нас — это поскорее спастись от нападения римлян.

В глубине улицы уже виднелись Карины: монументы, кварталы и дома с желтыми террасами, выходящими в сады, из которых зелень спускалась на стены с островерхими дверями. Граждане спешили запереться в домах; участники утренней битвы рассказывали толпе слушателей о подробностях сражения. Иногда декурии воинов разгоняли всех ударами копий и мечей, и в короткой схватке снова принимали участие те же люди.

— Бедный Мадех, ты развлечешь его рассказом

о том, что происходит. Давно твой брат держит его там, как тебе известно, и если бы не ты и этот Геэль, он там умер бы с тоски. Твой брат, по крайней мере, мог бы отвезти его во дворец Старой Надежды, но он боится, что его похитят.

И Хабарраха тихо смеялась, взяв за руку Атиллию, которая ей ответила:

— Это все равно, как если бы у тебя похитили Зописка. Ты ведь бережешь его, Хабарраха?

— О, я предпочитаю быть с Атиллией, — ответила эфионка. — Ты сама это видишь. Я могла бы остаться с Зописком в Старой Надежде, потому что мой брак сделал меня свободной, потому что ты хотела, чтобы Элагабал освободил меня, — но я думала о тебе и тревожилась, как бы битва не окончилась печально. А теперь пусть сражаются римляне, пусть Сэмиас будет убита и Паула также, а с ними пусть погибнет Империя. Видишь ли, ничто не вечно. Элагабал исчезнет, уедет вместе с Сэмиас, с Гиероклесом, Зотиком, Муриссимом, Протогеном, Гордием, Зописком и с тобою, и со мною, с Атиллием и с воинами, всадники, поэтами, жрецами Солнца и Черным Камнем, с Юношами Наслаждения и любовниками императора; и твой женский сенат будет рассеян и погибнут твои драгоценности и эти одежды, и твой смех, молодость и красота, — все! Зописк всегда заставляет ждать меня, старую эфионку; он щекочет меня и спит со мною, и я заставляю его щекотать меня, чтобы смеяться, и спать со мною, чтобы наслаждаться. Уже сорок лет, как я была лишена этого. И теперь, хотя я еще и здорова, я чувствую, что все бурлит во мне, мутится разум и жизнь не привлекает меня больше. Наслаждайся, как можно больше,

Атиллия! Не пройдет и года, как мы погибнем и перестанем жить, наслаждаться и смеяться, и тем хуже будет для нас, если мы погибнем и проживем без смеха и наслаждений!

Она говорила отрывисто, вращая большими белками, и ее черное лицо морщилось. Потом эфиопка зашла в сухом, рассыпчатом смехе, от которого задрожали ее расшатанные желтые зубы. Но Атиллия не смеялась под впечатлением мрачных слов Хабаррахи. Позади них шум стихал. Медленно проезжала конница примицерия Атиллия, и ровный топот коней доносился до них. Раздался громкий крик, взрыв других криков, потом все стихло. Рим, без сомнения, успокоился.

XIX



ткрывай скорее, янитор! Кто-то стучится! — торопил Мадех. — Быть может, это Атиллия, или Атиллий, или Геэль, бывший вчера еще здесь и не пожелавший идти в цирк вместе с другими христианами, как он мне говорил!

Янитор встал. Дверь тяжело скользнула, и в светлое отверстие быстро вошли Атиллия и Хабарраха. Мадех отступил назад, увидев, что на Атиллии была надета спанча эфиопки, а низ ее одежды вымазан грязью.

— Ты пришла пешком и наглые люди пытались тебя изнасиловать? — спросил вольноотпущенник у молодой девушки, которая ответила ему:

— В городе вчера весь день и сегодня утром убивают друг друга, и я, спасаясь с Хабаррахой, пришла к тебе, живущему в стороне ото всего.

Она взяла его за руку.

— А Атиллий?

— Мой брат вместе с конницей подавил восстание. Ты ничего не знаешь? До тебя не дошли никакие слухи?

Это было верно. Вот уже год, как Мадех был в стороне ото всего, мало выходя, изредка отвозимый во дворец Старой Надежды, почти заключенный в этом доме, лениво бродивший между своей комнатой и атриумом. К счастью, у него оставались еще Геэль и Атиллия; последняя наполняла его жизнь смехом и шутками, а первый говорил с ним о Сирии, где они жили детьми. Атиллий очень хотел бы запретить Атиллии встречаться с Мадехом, и его упреки в том, почему он ничего не знал о посещениях своей сестры, вызывали странное чувство горечи у Мадеха, и он ответил однажды так печально, что Атиллий замолчал, как всегда уступчивый по отношению к своему вольноотпущеннику.

— Если ты лишишь меня Атиллии, что будет со мной? Ты прячешь меня, потому что ты меня любишь, но если ты меня любишь, то не заставляй меня умирать со скуки. Геэль — моя радость, но Атиллия — мое восхищение. Вместе с ними я могу прожить здесь целую вечность.

И Атиллий закрыл глаза на их дружбу, думая, что Мадех настолько лишен пола, что не воспламенится, коснувшись его сестры, еще ребенка, и он был уверен, что всегда найдет Мадеха добрым, мягким и послушным. Но иногда, хотя Атиллий себе и не признавался

в этом, вспышки ревности охватывали его при виде Мадеха, который вот уже несколько месяцев, как становился более грубым на вид, как будто женственность уходила, уступая место мужественности, просыпавшейся в нем. Он боялся того момента, когда юноша, став совершенно мужчиной, воспротивится, или, что еще хуже, будет только терпеть его любовь с лицемерием вольноотпущенника, который отыграется после. И тогда дикая сцена плясала у него перед глазами — оскпление Мадеха, пол которого он хотел совершенно умертвить, чтобы быть уверенным в его теле.

В атриуме, как и всегда, павлин, обезьяна и крокодил смотрели на них: Атиллия по-мужски обняла за талию Мадеха, и он, увлекаемый ею, был очень счастлив и доволен ее приходом, смехом и словами. Она рассказывала ему про происшествие в Большом Цирке, про бегство Элагабала, о схватках, о том, как текла кровь, про крики раненых и умиравших, о храбрости Атиллия, все время сражавшегося во главе конницы и усеявшего Рим трупами. Одно поразило ее: опасности, которым подвергался Атиллий, несколько не волновали Мадеха, и только одно простое любопытство заставляло его спрашивать об Атиллие. Это ей показалось таким необычным, что она не могла удержаться и спросила:

— Разве ты не любишь Атиллия, раз ты о нем не беспокоишься?

Он не ответил, очевидно, погрузившись в самоанализ: что-то в нем произошло такое, что изменило выражение его лица, придавало блеск его глазам и заставляло дрожать его руки. Она посмотрела на него. Год тому назад он был слабым и тощим, его

лицо худело и в глазах был глубокий блеск существа, незаметно умирающего. Этот упадок здоровья, которым был поражен также и Геэль, мучительно беспокоил ее. Теперь он казался здоровым и сильным, хотя прежний характер его природы давал чувствовать себя в неуверенности походки и мягкости голоса. Она отняла свою руку и пошла рядом с ним, слегка обеспокоенная.

Из перестелия они возвратились в таблинум, бродя без цели и почти не разговаривая. Перед ними открылась тихая комната Мадеха, с постелью из пурпурной материи и с кокетливой обстановкой из бронзы, оникса и слоновой кости; из нее доносились ароматы благовоний. Мадех ввел ее туда.

— Отдохни здесь, — сказал он ей, — ты мне еще расскажешь истории. Я нуждаюсь в том, чтобы ты развеселила меня.

— Хорошо, юноша, — воскликнула она, напрасно пытаясь рассмеяться.

Мадех внушал ей тайный страх. Хотя ее воображение было испорчено, хотя она не была целомудренной благодаря всему, что она видела и слышала, но все-таки Атиллия была еще девушкой; теперь же она чувствовала, что находилась на пороге того момента, когда должна лишиться своей девственности. Такое ощущение вызывал у нее Мадех. Чувство острого холода пронизало ее, но юноша ласково взял ее за руку.

— Что я тебе сделал? Ты боишься меня?

Она вошла, одновременно чувствуя робость и приятное ощущение легкой щекотки. Двери закрывались вокруг них; рабы бродили, тихо разговаривая; слышен был голос янитера, отвечавшего Ха-

баррахе. Эта тишина в доме вызвала замечание Атиллии:

— Как тихо здесь! Понятно теперь, почему ты не слышал звуков сражений, вчерашнего и сегодняшнего.

— Здесь мы на краю Империи, — ответил Мадех, — но это лучше. По крайней мере, никто не может нас смутить здесь, и я доволен этой тишиной, конечно, при условии, что время от времени ты будешь ее нарушать.

— Даже с Геэлем?

— Даже с Геэлем!

— Даже с моим братом?

Мадех не ответил. Они смотрели друг другу в глаза. Наконец, Атиллия сказала:

— У тебя очень красивые глаза, но ты пугаешь меня. Пойдем в сад.

Он привлек ее на постель, с загоревшимся желанием, оживлявшим его, как солнце змею после зимней спячки, понемногу развертывающуюся на камне. Она сидела рядом с ним.

— Нам хорошо здесь, не так ли?

— Да! Нам хорошо.

Они тихо смеялись. Вдруг Атиллия сказала:

— Только пусть мой брат не думает, что я хочу заменить его. Я представляю его себе очень ревнивым...

Мадех встал.

— Я слишком скучаю! Что было бы со мною, если бы ты не навещала меня?

— Но у тебя был бы... мой брат!

И, очень жадная до подробностей, с неприличными словами на устах, она стремилась заставить его

признаться, чем он был для Атиллия. Ее страх прошел, к ней вернулась ее шаловливость и смелость движений. Она в свою очередь схватила Мадеха, принудила его сесть и крепко прижалась к нему боком. Он снял свою митру, мешавшую ему, нервно бросил ее и, встряхнув головой с вьющимися волосами, надушенными и блестящими, сказал:

— Останемся здесь. Нам хорошо вместе!

Их руки, вдрагивая, тихо скользили вдоль их ног, вокруг их талий, поднимая в чреслах горячую волну, наполнявшую молодые тела трепетом. Атиллия плотно прижалась к Мадеху, у которого кружилась голова.

— Нет, постой!

Он крепко сжал ее. Но, должно быть, у него был странный вид, потому что ее прежний страх возвратился к ней в более сильной степени, с дрожью, вызванной этими объятиями. Она встала, желая уйти, но в то же время ей хотелось и остаться.

— Мы пойдем в сад; готова спорить, что я бегаю быстрее тебя!

И она исчезла в темноте таблиума. Мадех догнал ее. Они оставались так в течение нескольких минут, и шелест столы Атиллии и шуршанье развевающейся одежды Мадеха, одетой прямо на голое тело, производили легкий сухой шум, опьянявший их. Мужская сила вольноотпущенника грозно пробуждалась, обостряя и возбуждая его нервы, наполняя теплом его тело; теперь это был не прекрасный и томный сириец, посвященный Черному Камню, нет, это был мужчина, вся мускулатура которого дрожала при соприкосновении с женщиной. Атиллия вновь испугалась: она чувствовала себя, скорее, не женщиной, а юношей; страсть не воздействовала прямо на ее еще не совсем

развитый пол, а производила впечатление восхитительно приятной щекотки. Акт, о котором она знала только со слов, казался ей насилием и грубостью; она хотела бы ограничиться ласкою прикосновений. Вдруг, под влиянием воспоминаний, она сказала:

— Ты напоминаешь мне Сэмиас, которая однажды, когда я, голая, рассматривала себя, также ласкала меня. Останемся, юноша, нам так хорошо здесь!

— Голую! И ты была голой, когда она ласкала тебя! — воскликнул Мадех.

И его горячие руки стали слегка приподымать столу. Прикосновение его рук вызвало легкий крик у Атилли, и она ускользнула от него. Но он бросился за ней, и, так как его глаза дико блестели, а голос приобрел странную хриплость, начала отбиваться. Но вдруг Мадех, под влиянием бешеной страсти, разделся и совершенно обнаженный, в одних только сандалиях, завязанных высоко, как у женщины, стал умолять ее подойти к нему. Привлеченные шумом, показались рабы, но сейчас же поспешили исчезнуть, а янитор, удерживаемый Хабаррахой, пожаловался:

— Если узнает примицерий, он бросит меня крокодилу, по крайней мере, ты не говори ему, а то я пропал!

В этот момент Атиллия опять увернулась и побежала из атриума в таблиум по направлению к перистиллю, все время преследуемая нагим Мадехом. Без всякого стыда он звал ее соединиться с ним. Она отказывалась, обезумев от его бешеного преследования, и, обежав весь дом и опять возвратившись в атриум, они, наконец, покатались по полу, задыхаясь в объятиях друг друга.

Все произошло без стеснений. И это было скорее

насилие, чем акт свободной любви, окончившееся болью и кровью для Атиллии, и диким восторгом удовлетворения для Мадеха, облегченного горячей волной жизни, проистекавшей из его проснувшейся мужской силы.

XX



наружи послышался шум, суматоха и топот. Распахнулась дверь, и преторианцы внесли Атиллия — в обмороке, с широкой раной на голове, из которой текла кровь, окрашивая его шлем и латы. Хабарраха побежала к Атиллии и Мадеху, все еще лежавшим в атриуме;

обезьяна удивленно смотрела на них, павлин распустил свой пышный хвост, а крокодил высунул пасть из бассейна.

— Вставайте, вставайте, здесь Атиллий! — сказала эфиопка, беспокоясь.

Атиллия хотела встать, но Мадех удержал ее:

— Нет! Оставайся! Лучше смерть с тобой, хотя бы и от Атиллия!

Хабарраха тащила их за руки. Атиллия вырвалась, но недостаточно быстро, чтобы преторианцы, входившие в атриум не видели их: его голым, ее с открытой грудью и Хабарраху, пытающуюся закрыть их своей необъятной епанчой.

Атиллий открыл глаза, пошевелил руками и попробовал говорить. При виде Мадеха, в которого он

был влюблен, перед ним встали неясные воспоминания: как он, чтобы надежнее уберечь юношу для своей страсти, держал его вдали от мужчин и женщин, вдали от Дворца Цезарей и садов Старой Надежды, сохраняя его в домике в Каринах, как чудесный цветок в изящной вазе. И теперь как бы в озарении Атиллий понял все, он понял, что присутствовал при половом акте. Он медленно повернул голову с зияющей кровавой раной к Мадеху.

— И это ты, мой возлюбленный, посвященный Солнцу, кого я хотел сделать двуполым!

Его можно было принять за сумасшедшего. Он засмеялся и сказал Атиллии:

— Ты, моя сестра, отдалась тому, кто принадлежит мне!

Показывая обеими руками на свою рану, он продолжал:

— И это в то время, как я получил этот удар, быть может, смертельный!

Он подвинулся ближе к Мадеху, который, не пытаясь бежать, спокойно смотрел на него.

— На! Смотри! Разве ты вылечишь меня теперь?

Эта рану он получил во время кровавого подавления мятежа, в тот момент, когда Атиллия убежала с Хабаррахой, во время бешеной атаки конницы, прошедшей по тысячам мятежников, оборонявших Палагин. Атиллий победил, но камень, брошенный в него, пробил шлем, сломал чешую и смешал металл и кожу со сгустками крови. После этого преторианцы отнесли его в домик в Каринах.

Атиллий взял за руку вольноотпущенника и нервно привлек его к себе:

— Скажи! Скажи, что ты еще не взял ее! Скажи, что ты остался тем же, кем был!

Мадех молчал.

— Ты не отвечаешь. Атиллия ответит мне, Атиллия, моя сестра.

Атиллия хотела скрыться, но он схватил ее за руку.

— Здесь! Здесь, перед лицом всех, ты мне это скажешь!

Преторианцы пытались унести его, тронутые его отчаянием, непонятым им, удивленные этим нагим юношей, этой молодой девушкой с разорванной столой, этой эфиопкой, которая старалась их спрятать. Но он живо сопротивлялся, как будто в припадке ужасного безумия, наполнявшего кровью его глаза. Тогда Атиллия, взволнованная, обняла его, и сквозь рыдания, как в бреду, печально проговорила:

— Да! Да! Прости, я не знала! Отпусти его, отпусти его! Это моя вина!

Она говорила так, потому что знала, что ее брат имеет полную власть над Мадехом: может убить его или продать, рассеять его кости по окрестностям Рима или бросить его крокодилу. Нет! Нет, этого не будет! И она умоляла его, пытаясь смягчить, обвиняя только себя и оправдывая во всем Мадеха. Жалость и страх исходили от нее.

— Ах, так ты не хочешь, чтобы я его бросил крокодилу, — кричал примицерий, — ты не хочешь, чтобы я его убил! Тогда пусть он уходит! Уходи, — говорил он, обращаясь к Мадеху, — уходи, у Солнца не будет больше жреца в тебе; уходи, чтобы я больше не видал тебя; уходи, чтобы твое лицо больше не представлялось мне! Что я буду делать с тобой? Я

обречен, быть может, на смерть, и я умру один, и ты не будешь здесь и я не буду называть тебя моим возлюбленным, моим юношей! Уходи и смейся на свободе над своим господином и забавляйся с блудницами, как ты забавлялся с Атиллией! Я не помещаю тебе в этом. И ты, сестра, иди с ним, пусть он живет с тобой. Я не хочу больше вас видеть, я хочу остаться один, один здесь, умереть без вас. Империя не просуществует долго теперь, когда я сражен и когда Мадех покинул меня. И пусть он не возвращается сюда, а то я брошу его своими руками крокодилу, — того, кто осквернил мой дом. Уходите, уходите! Идите по Риму, ты, сестра моя, и ты, мой возлюбленный, живите, где вам угодно, я не буду преследовать вас, я не хочу вас больше видеть. Уходите, уходите!

Вольноотпущенник не двигался. Атилий хотел его ударить, но янитор подтолкнул Мадеха к своей комнате.

— Иди! Ты вернешься, когда его гнев пройдет. Одевайся скорее и уходи. Если тебе нужно будет меня видеть, постучи два раза, я буду знать, что это ты, открою тебе, ты увидишь его и он простит тебя.

И янитор, давно привязавшийся к Мадеху, из сочувствия и жалости дал ему свою тогу, коричневый колпак, деревянные сандалии, грубую, простую одежду, слишком большую для его роста. Мадех медленно оделся. Его сердце наполнилось глухой тоской — Атилия, несчастного, бесчувственного, несут преторианцы, — и душераздирающий вопль разнесся по дому:

— Почему он не убил меня?

Но в следующий момент новые пробудившиеся силы возобладали в нем, и он повернулся к янигору:

— И все-таки виноват здесь не я, а природа. Потому что, янитор, я был мужчиной, и женщина обратилась к моему полу, который Атиллий считал уничтоженным. Разве я хотел этого? Я уйду и буду жить на свободе как мужчина. Прощай, прощай, янитор! Я иду к моему брату Геэлю. Прощай, прощай! Атиллия меня забудет и Атиллий тоже, если его рана не смертельна. Это должно было случиться, и я давно думал, что этим кончится, потому что ни он, ни я, ни она не могли жить так. И теперь пусть рушится Империя, и мир приветствует другого Императора. Если будет нужно, я вернусь с Геэлем, ты знаешь, в Сирию. Я свободен. Прощай, прощай, янитор!





КНИГА ТРЕТЬЯ

I



Н дев жалкую тогу янитора, с непокрытой головой, в деревянных сандалиях бежал Мадех. Вечер окутывал Рим седыми туманами. Огни блестели в окнах высоких домов и освещали весь город от Авентина до Пинция. Обычно они оживляли Рим радостью, но теперь двухдневное кровопролитие придавало им вид печального погребального шествия, сопровождаемого воплями и причитаниями протяжных голосов, оплакивающих убитых. В Таберноле Мадех переступал через оставленные трупы в окровавленных изодранных тогах. Временами раздавались крики о помощи, крики раненых среди мертвых. Мадех с трудом находил дорогу. Он шел к Тибру, надеясь, что первый попавшийся мост приведет его в Транстиберинскую часть города, и теперь выходил, пересекая улицу Субуры, прямо к Сублицийскому мосту. Вокруг него стонали раненые, полуодетые женщины, грешно-соблазнительные при свете красных фонарей, звали его; мужчины также кричали ему, приглашая к раз-

врату. Он шел быстро, не обращая ни на кого внимания, решив во что бы то ни стало разыскать Геэля и теряясь в этом огромном городе, который прежде он видел только среди блеска императорских торжеств.

Глубокая тишина вокруг нарушалась лишь отрывистым шепотом бежавших римлян. Порывы свежего ветра били ему в грудь, предвещая Тибр, к которому он приближался, и, наконец, он увидел его, его воды с широкими пятнами крови, колыхавшимися на поверхности. Рим, раскинувшийся на семи холмах, увенчанных темными массивами строений, откуда подымались струи дыма, имел зловещий вид. В особенности Мадеха устрасала река; ее всплески напоминали стоны раненых, несущиеся издали и теряющиеся вдаль; волны круто округлялись, точно уносили трупы с позеленевшими лицами.

Мадех поднялся на набережную к мосту Сублиция и пошел по нему под взглядами преторианцев, поставленных там префектом Рима. На другой стороне Тибра смутно очерчивался берег, волнистый и неровный, с редкими жилищами рыбаков и поселениями чужестранцев. Он не решался углубляться в Транстиберинский район с его беспорядочной сетью переулков, никогда не освещаемых, с дорогой, мягкой от сырости; и он не знал, где ему найти Геэля, как вдруг заметил, что за ним кто-то следует.

Человек с покатыми плечами и круглой головой, в короткой тунике и разорванном дипломсе, с жалкой калантикой, развевающейся около ушей, и в деревянных сандалиях на босых ногах шел, освещенный

редким светом лавок, останавливался, когда Мадех оборачивался, и очень нерешительно продолжал движение, точно боясь следовать за ним.

Мадех не знал, что думать, но когда мимолежный свет фонаря какого-то прохожего осветил лицо неизвестного, он окликнул:

— Эй! гражданин, не можешь ли ты мне сказать, где здесь живет горшечник по имени Геэль?

В ответ ему этот человек тихо сказал:

— Я не ошибаюсь, ты вольноотпущенник Атилия?

— Мадех! — ответил он, и голос этого путника показался ему знакомым. — Подойди, гражданин, и отведи меня к Геэлю, если ты его знаешь.

— Да, я его знаю, — ответил тот, быстро приблизившись, и спросил, пожимая Мадеху руку с особым уважением, напомнившим ему о его священном звании жреца Солнца: — А ты, ты меня не узнаешь?

Мадех посмотрел на него при красном, точно кровавом, свете таверн и радостно сказал:

— Амон, не так ли? Так ты мне будешь полезен!

— Я говорил себе, следуя за тобой: это походка Мадеха, который идет, наверно, повидаться с Геэлем, своим братом из Сирии. И для этого он, вероятно, переоделся, чтобы его не узнали в этой части города, населенной евреями, ворами, христианами и бедняками, которые скоро расправились бы с тем, кто так дорог для Атилия.

И Амон, плохо одетый, с худым лицом и короткой бородкой, печально прибавил:

— Я — не ты; мне не приходится переодеваться, потому что я беднее последнего бедняка. Исфунна

вместе со своими нечестными евреями обобрала меня, да накажет их Озирис!

— Я тоже беден, — сказал Мадех, — и несколько часов тому назад действительно был тем, кем ты меня знал. Я не переодевался, чтобы идти к Геэлю, но он мне нужен, потому что у меня нет крова и мне негде спать.

Амон поразился:

— Что же делается в Риме, если такой мирный гражданин, как я, может быть безнаказанно ограблен, а жрец Солнца, как ты, вольноотпущенник могущественнейшего человека, не имеет крова. Весь день вчера и сегодня утром сражались на улицах по ту сторону реки; я слышал крики, и видел, как несли раненых. Разве у Элагабала отняли власть? И твой господин, Атиллий, боюсь, — не убит ли?

— Нет, — ответил Мадех, отрицательно качая головой, — я оставил Атиллия и не хочу его больше видеть. Я хочу жить в бедности вместе с Геэлем, и, конечно, работать с ним. Не спрашивай меня, почему. Это тайна, которую я хочу сохранить.

Он немного помолчал и продолжил:

— Я блуждаю в этой части города, которую не знаю, в поисках Геэля, жилище которого тебе, наверно, известно.

— Нет, — ответил сдавленным голосом Амон.

Он тоже помолчал и прибавил:

— Я знал когда-то Геэля и видел его несколько раз, но с тех, как Иефунна заманила меня в свою злую семью, я не могу ни с кем разговаривать. Она фактически заперла меня и следила за мной, как погонщик за своим ослом. Промотав мое со-

стояние, она выбросила меня на улицу, а здесь для меня, как и для тебя, все чужое. Но это не важно. Я буду спрашивать у хозяев еще открытых лавок, не знают ли они, где дом Геэля; без сомнения, они его знают.

И дружески, но с большим почтением взяв Мадеха под руку, Амон увлек его в незнакомые районы города, которые восходящая луна заливала фиолетовым светом. На их пути вставали маленькие строения из кирпича и дерева, скрипевшие от загадочных порывов ветра с Тибра, низкие храмики с дверями из темной бронзы, арки развалин, заросшие ползучими растениями, фонтаны, изливавшие струи в бассейны, перекрестки, освещенные коптящими лампами, от которых тяжело стелился в воздухе широкий дым, мрачные переулки, скрещивающиеся на всем протяжении от Яникула до Ватикана. Прохожие бесшумно двигались, не отвечая Амону и Мадеху; иногда они издали оборачивались, приподнявшись на цыпочки, в разметавшихся тогах похожие на каких-то призрачных ибисов. Изредка тишину почти смущали свистки, и грубые голоса, голоса людей с Дуная или из Киренаики, выкрикивали непонятные слова. Они шли вперед, выспрашивая прохожих, громко произнося имя Геэля у дверей закрывающихся лавок, блуждая в Транстиберине, точно в бесконечных катакомбах.

Из одной таверны кто-то вышел и ответил им после многочисленных приветствий:

— Геэль? Да, я знаю этого человека, он — горшечник, как вы и говорите. Вы не ошиблись: Геэль! Но я не знаю, где он живет.

И затем исчез вместе с желтым кругом фонаря,

поднесенного к его поясу. Мадех приходил в отчаяние.

— Мы никогда не найдем Геэля, никогда!

Они повернули обратно, обходя Яникул, по направлению к Тибру, широко освещенному восходящей луной. Какой-то человек остановился на их зов:

— Геэль? Да, Геэль! Это горшечник, и его жилище я найду с закрытыми глазами. Кордула мне часто говорила о нем.

Амон и Мадех присоединились к нему; человек повел их по другим переулкам, в которых лавки давно закрылись на ночь, а светильники на перекрестках гасли с дымным мерцанием. Слышался только стук деревянных сандалий по грязной мостовой да шум от быстрого беганья огромных крыс, выскакивавших из неведомых отверстий, и эти звуки прерывались только резким лаем собак, которые точно прерывались только резким лаем собак, которые точно плакали протяжно. Человек рассказывал им странные истории, например, про статую дакийского бога, похищенную из храма на краю света жрецами с крыльями летучей мыши, — он от них бежал на двенадцативесельном судне, управляемом матросами с кожей, желтой, как чистая медь; или же другую историю про слона, пришедшего в Рим из стран, лежащих за Евфратом, и в течение всего этого долгого пути умудрившегося расспрашивать дорогу у встречных караванов. Этот слон построил себе плот, чтобы переплывать через реки, и очень ловко нес на своей спине припасы, заготовленные на много дней. Он, Skeбахус, по профессии торговец соленой свиной, сам его ви-

дел и слышал; он клялся в том, что ничто не может быть достовернее его рассказа. И Скебахус прибавил:

— Вы похожи немного на этого слона, а я на путешественника, у которого он спрашивал дорогу. И все, что нужно, вы узнаете от меня, Скебахуса, который знает Геэля, потому что часто продает ему соленую свинину.

Полночь близилась. Египтянину и вольноотпущеннику казалось, что в смутном полусвете они узнали переулки, по которым проходили.

Тогда Скебахус воскликнул:

— Я, кажется, ошибся. Дом Геэля на другой стороне; я заключаю это по направлению ветра.

Он послунил палец, поднял его над головой и вдруг побежал в конец улицы. Потом вернулся и сказал:

— Да, я чувствую Тибр там, и на этой стороне мы найдем Геэля.

Они следовали за ним, не слушая больше необыкновенных рассказов; Мадех думал о сестре Атиллия и о примицерии, а Амон — об Иефунне.

Он познакомился с этой Иефунной на Анписевой дороге; у нее был красивый разрез глаз, кротких, как у газели; ее семья, из Самарии, исповедовала еврейскую религию. Однажды вечером, ускользнув от поэта Зописка и христианина Атты, он задумал вернуться в Александрию, но Иефунна встретила его и бросилась к нему на шею.

— Я мечтала о тебе, о мой возлюбленный! — сказала она ему. — Мои родные откроют тебе дверь, и ты станешь наш, если пожелаешь. Я буду тебя любить и окружу тебя заботами и ласками.

Он последовал за ней, чувствуя большую симпатию к этой еврейке, такой свободной в общении, но которая, однако, отдалась ему только много времени спустя. А сначала ему дали хорошую комнату в Транстиберинском районе Рима, у отца Иефуны; он обедал с многочисленной семьей, состоявшей из родителей Иефуны, очень сварливых, ее двоюродного брата, длинного и худого еврея, страдавшего пороком Онана, и младших братьев Иефуны, отдававшихся противоестественным страстям. Понемногу Иефуна, постоянно следившая за Амоном, стала запрещать ему выходить за пределы еврейского дома. Египтянин, очень счастливый вниманием девушки, не думал о своем состоянии, которое он привез с собой в ящиках из нильского дерева и которое постепенно уплывало отсюда. Потом, в один прекрасный майский день, она отдалась ему почти на глазах отца: Амон женился бы на ней, если бы тот потребовал. Но ни Иефуны, ни тем более Иефуна не требовали заключения брачного союза, как оказалось для того, чтобы удобнее было выбросить Амона на улицу в тот день, когда он обеднеет. И это, наконец, случилось.

У него нет больше ничего!

Тогда для Амона наступила ужасная жизнь, полная лишений и унижений. Часто Иефуны обделял его в еде, Иефуна стала отказывать ему в ласках, ее братья били его, ее родители обращаясь с ним, как с рабом, заставляли его мыть пол, чистить посуду и носить воду; перевели его в глубь темной комнаты, полной крыс и скорпионов. Александриец любил Иефуну и не мог лишиться себя возможности видеть

ее, чувствовать ее близость, в душе томясь желанием ее тела и только медленно догадываясь о причинах злобного к нему отношения этой семьи, которая, пользуясь его слабостью, отняла у него его состояние, трудолюбиво приобретенное торговлей чечевицей в Египте, — увы! такое далеко, что он, наверное, никогда туда не вернется.

А однажды Иефунна сказала ему:

— Уходи, собака, уходи, александрийский осел! Я тебя никогда не любила. Ты беден, стар, некрасив и ни на что нам не нужен.

И вот несколько часов тому назад, во время очередной ужасной сцены, его рука поднялась на Иефунну. Но она схватила его, ее отец бил его в спину, братья кусали за икры, а бабка с дедом в бешенстве окатили горячей водой. Он убежал, дав зарок никогда больше не видеть ни Иефунна, ни Иефунны, ни всей их семьи, в которой прошли два года его такой несчастной жизни.

И эти печальные воспоминания так терзали его, что он не слышал, как Скебахус восклицал:

— Этого Геэля, правду сказать, я никогда не найду! Среди ночи, едва освещаемой луной, я ничего не узнаю. Теперь мы в еврейском квартале.

В еврейском квартале! Амон задрожал, вспоминая Иефунна и дядю-рукоблудника и братьев, предававшихся содомскому греху; но все же он чувствовал любовь к еврейке, которая долгое время била и ругала его. Скебахус продолжал:

— Этих евреев я ненавижу. Они не любят соленой свинины, а я ее продаю. Это не то, что Геэль; говорят, он христианин, но он покупает мою свинину, и его Кордула часто говорит со мною. Кордула — чудесная

денушка из Кампании; я пользуюсь иногда ее ласками за соленую свинину, и мы обмениваемся мясом; если она любит мое мясо, то я еще больше люблю ее тело.

Он самодовольно рассмеялся и громко сказал, не ожидая ответа Мадеха и Амона:

— Я киликиец, зарабатываю ассы и люблю доставлять удовольствия. Кордула мне за это всегда благодарна, поэтому она позволяет мне почаще оставаться с ней.

Они прошли еврейский квартал, с крышами, соединяющимися в своды, с желтоватыми огоньками в подозрительных закоулках, с деревянными лестницами и тяжелыми дверями, едва заметными в темноте. Снова широкая полоса Тибра простерлась вдали, как страшная пасть, разверстая среди ночи.

— Я думаю, что мы сейчас там будем, — заметил Скебахус, не особенно встревоженный. И, несмотря на упорное молчание своих спутников, он продолжал болтать:

— Я могу вам поклясться, что не принимал участия в мятеже, который был в цирке, и вчера утром. Зачем мне это? Мне достаточно моей торговли соленой свининой, и я не думаю об Элагабале и Маммес, про которую говорят, что она желает Империи для своего сына. Но я знаю многих людей, которые сражались. Что они выиграли? Меньше, чем кусок моей свинины. Кажется, христиане недовольны Антонином Элагабалом, Варием, или Авитом, как хотите. Не понимаю, зачем они вмешались в это восстание. Геэль — христианин, так утверждает молва, но я уверен, что он не участвовал

в сражении, которое оставило после себя столько раненых и убитых. Он не скрывался, и у него не видели никакого оружия. Мне даже говорили, что христиане разделились: одни склоняются на сторону Императора, другие против него, одни стоят за Восток, другие за Запад. Конечно, мне это безразлично, я продаю свою свинину и Востоку и Западу, и если ее находят хорошо просоленной и прокопченной, то я и спокоен. Но все-таки я с Востока, из далекой Киликии! Между нами говоря, Император не очень благосклонен к таким беднякам, как я и как вы, у которых деревянные сандалии и шерстяные одежды. Но меня легко удовлетворить. Если моя соленая свинина продается, я доволен, и Скебахус, который теперь говорит с вами, желает вам иметь его душевное спокойствие и скромность. Не терзать себя из-за пустяков, а продавать свой товар, — вот что должен делать всякий хороший гражданин в жизни, которую так легко ломает Империя и ее преторианцы, Элагабал, Маммея, этот Атиллий, охотно подавляющий восстание — знаете вы этого Атиллия? — и христиане и евреи — все, все, кроме благоразумных продавцов соленой свинины и благонамеренных граждан, вроде, надеюсь, вас. Если бы каждый подражал мне, то Империя была бы счастлива, преторианцы не избивали бы граждан, граждане предоставили бы Императора его забавам, а Маммея, возбуждающая мятеж, отправилась в другие земли. Все бы мы ели и все бы мы продавали соленую свинину, и такие Скебахусы, как я, доставляли бы себе удовольствие приводить к таким христианам, как Гель, таких честных граждан, как вы!

Скебахус опять отошел от них. Квартал постепенно озарялся утренним светом; площади и улицы обрисовывались в фиолетовой дымке, вершины зданий вычерчивались на белеющем небе. Звезды угасали, как глаза, закрываемые смертью. И рано вставшие люди, выходили, потягиваясь, и смутно напоминали вырвавшихся на волю зверей; собаки бегали с хриплым лаем. Мадех и Амон взглянули друг другу в усталые истощенные лица; Амон так похудел, что вольноотпущенник не сдержал своего изумления.

— Что с тобой? — спросил с удивлением александриец.

— Ты страдал, да?

— Страдал ли я? — воскликнул несчастный. — Иефунна меня била и Иефуннэ меня мучил. Они все украли у меня, и теперь у меня нет даже кирпича, на который я мог бы склонить голову; мой сон будет прерываться в ночном холоде, и для меня, обладавшего состоянием, не найдется даже тарелки чечевицы, чтобы утолить голод.

И он рассказал ему вкратце о своей жизни за эти два года, потом пришел в исступление и, подняв руки к небу, побелевшему, как молоко, воскликнул:

— Он, двоюродный брат Иефуннэ, предавался мастурбации перед Иефунной, и она не стыдилась этого; ее братья совершали гнусности на моих глазах и часто предлагали мне принять участие в этом.

— Я жил и лучше, и хуже, — заявил Мадех. — Но забудем все. Сейчас я приглашаю тебя зайти со мной к Геэлю, который примет и тебя! Мы отдохнем там от долгой ночной ходьбы и потом все решим.

Появился Скебахус.

— Я разыскал дом Геэля, он в районе Тибра.

Оказывается, мы два раза проходили мимо него; я узнал его по дыму трубы. Счастливцев, этот Геэль! Идите за мной, мы сейчас там будем.

Они скоро пришли, и Skeбахус, очень довольный этой ночью, проведенной в болтовне, стал прощаться с ними, усердно приветствуя их и говоря:

— Не благодарите меня, но если вы хотите знать любопытные истории, то слушайте Skeбахуса. Skeбахус, продавец соленой свинины, расскажет вам многое, что вам понравится. Вот именно это приятно Кордуле, которая мне часто говорит про Геэля, потому что она любит этого Геэля, — не совсем понимаю, за что. Все-таки она не пренебрегает и хорошей свининой, которую я ей предлагаю в обмен за удовольствие, доставляемое мне. Прощайте, честные граждане! Скажите про меня Геэлю, который покупает мою свинину и будет покушать и впрямь, если вы ему это посоветуете!

II



ончарный круг на горизонтальной доске быстро вращался под пальцами Геэля, под дрожащим лучом света; Геэль превращал глиняные кубы в красивые грациозные сосуды в виде лилий или в короткоголовые и шаровидные, точно с большим животом; Ганг, худой и смуглый Ганг, расписывал эти сосуды красными и черными узорами, изображениями бегунов и чресла-

ми борцов, изящными квадригами, несущимися по блестящей лазури; Ликсио прилаживал к ним ручки в форме лап и шей животных.

И все время краснолицый горшечник насвистывал одну и ту же печальную мелодию, ритм которой вылетался в скрип круга, как дружеский голос, сопровождающий его вращение, одну и ту же сирийскую мелодию, которая когда-то была песнью воинственных народов, а теперь стала тихим вздохом души, мечтой, желанием, колыханием чего-то смутно-неясного, вызывающего сожаление о прошлых днях.

Спокойный и тихий Мадех, теперь уже не прежний роскошный, надушенный вольноотпущенник, без митры на завитых волосах, без амулета в виде Черного Камня, в простой тунике Геэля, несколько широкой на его стройной фигуре, и в тоге янитора, укороченной по его росту, Мадех, сидя на скамейке, смотрел в глубину сада, расцвеченного аметистами и топазами гелиотропов и роз. И он отдавался воспоминаниям, точно путешественник, которого голубые воды уносят к бесконечным морям, и рассеянно слушал казавшуюся ему далекой мелодию его друга. Амон, принятый Геэлем, бродил, улыбаясь всем, весь очарованный сочувствием горшечника и его мастеров; их время было занято вращением гончарного круга, росписью и обжиганием сосудов, — причем Мадех был избавлен от всякой работы, которая могла бы испортить его нежные руки, — и разговорами о Крейстосе с многочисленными христианами, среди которых были Заль, Севера и Магло.

Это новое существование было таким счастьем

для Амона, что в неясном желании отныне жить вместе с Геэлем и Мадехом он почти забыл Иефунну и Иефуннэ. А чтобы не быть горшечнику в тягость, он отдавал в помощь его ремеслу всю свою оставшуюся силу.

Он чрезвычайно интересовался спорами христиан, которые казались ему людьми неведомого мира с идеями, внушающими страх. Они стремились к иному, необычному миру, не небесному, а земному, к особому рода управлению без войск и чиновников, где все равны и все делятся хлебом на братских вечерах, о которых они таинственно говорили и на которых вкушали плоть и кровь Крейстоса. Их религия, отзывчивая к страданиям сердца, была добра и жалостлива к такой измученной душе, как его, понятна бедному и гонимому; невольно увлекала она воображение, вызывала слезы на растроганных глазах. И эта исповедь, всех и всем, или одного одному, или всех некоторым, отмеченным Божественной печатью, эта исповедь, ведущая к свету прощения темных проступков и дурных желаний, какой успокоительной казалась она ему, принося облегчение, снимая тайную боль, терзающую его душу, которая так нуждалась в утешении. Таким образом Амон, слушая христиан, незаметно сам стал христианином, не как догматик, желающий твердо бороться с грехом, но как потерпевший крушение, который спешит выбраться на освещенный солнцем берег, чтобы там дожидаться конца бушующей грозы. Это же самое привлекало и Мадеха, пораженного мистицизмом христианской религии. Если Амон, освободившись от Иефунны, спокойно представлял себе свое будущее, то он,

Мадех, печалился. Все его стремление к тягостной жизни на свободе, к работе, все его широкие мечты разбивались о непрестанное воспоминание о прошлых годах, проведенных с Атилием, воспоминание, рыдавшее в нем, об их противоестественных страстях. Расцвет его прекрасной юности, юности любимой и любящей, отныне прервался; его прошлое, подобное темному покрывалу, принимало облик примицерия и обволакивало собой все, даже Атилию! Он хотел бы упорно работать обеими руками; изнурять трудом тело и дух, как он надеялся раньше, но напрасно. Над его живым стремлением к деятельности одерживали победу его вялый характер и изнеженность тела, омытого маслами и благовониями, и слабость мускулатуры, надломленной чрезмерными наслаждениями; и все это сказалось в его физиологических изъянах, тайну которых он хранил, и в крайней женственности, ослаблявшей его силы и энергию. Он был бессилен и слаб, напряжение воли обрывалось в нем, и это выражалось в его блестящих глазах, в прозрачности кожи, в вялости его походки, которая была не гибкой или нервной, а разбитой.

В течение нескольких месяцев заждавшаяся половая зрелость сделала его сильным. Но давняя слабость оказалась сильнее. Она разрасталась теперь, как большая морская звезда, пожирала его, проявлялась в голубоватых кругах под глазами, отнимала у него всякую способность к движению. И это самое бессилие делало его таким чувствительным к мелодиям Геэля, и в этом пении ему виделось множество образов, которые видоизменялись в его воображении, таком же болезненном, как и его тело.

— Не прикасайся ни к чему, — часто говорил ему горшечник, — ты не силен, и работа создана не для тебя. Я твой брат, я должен работать руками для тебя, а не ты для меня, потому что Крейстос хочет, чтобы мы поддерживали наших стариков и немощных.

— Разве я немощный? — спрашивал горько Мадех.

— Да, телом и духом! — И Геэль с добродушной улыбкой на красноватом лице принимался за круг, который резко свистел под его руками.

Часто появлялся Скебахус, принося на плече огромный кусок свинины на палке. Скебахус звал горшечника через тростниковый плетень, отделявший садик от пустырей; оттуда он завязывал с ним или с Амоном увлекательный, бесконечный разговор. У киликийца не истощились чудесные истории; то были приключения детей, вскормленных молоком змеи и пользовавшихся покровительством скифских императоров, или победы гладиаторов над чудовищами о шести лапах, привезенных из Ливии. Он смешивал старинные исторические легенды с игрой собственного воображения, изобретал без усилий образы необычных личностей; так, например, он рассказывал про одного египетского чудотворца, который движением пальца отбрасывал людей к сводам храма, построенного из оникса и сапфира, привезенных на спинах муравьев, величиною с гору. Оканчивая рассказ, он непременно предлагал свою соленую свинину, аккуратно отрезанную большим кинжалом; кусок подавался на широких листьях винограда или платана, составлявшим зеленый фон к розовому и белому цвету

товара; потом он уходил, довольный, чтобы начать в другом месте то же самое.

Приход Магло вызывал необычайное оживление. Всегда он проклинал Империю, богов, Рим; для Мадеха, к которому другие, под влиянием очень старинного воспитания, относились с религиозным суеверием из-за его звания жреца Солнца, он, Магло, тоже подбирал достаточно резкие выражения, хотя и несколько сдержанные благодаря присутствию Геэля, который не желал, чтобы трогали его брата из Сирии. Часто старец приходил в платье, покрытом нечистотами, с кусками грязи в бороде, с синяками на лице, полученными им от детей, которым он казался каким-то смешным пугалом. Рим слишком хорошо знал пророка, и его проповеди не были благоприятны для распространения веры в Крейстоса. Христане с известным образованием, удалявшиеся от народа, чтобы более или менее открыто войти в контакт с властями, и должностные лица Римской Церкви благоразумно отрицали его, толкая к бедным и простым людям. Его прежняя святость, прославленная какой-то давней молвой, вызывала улыбку у сильных и производила слабое впечатление на других: увидели вблизи святого из Гельвеции, оценили и взвесили достоинства апостола, — и он показался ничтожеством. К тому же Магло был труслив и громко кричал о своем мученичестве, если до него дотрагивались пальцем: когда не было серьезной опасности, он принимал позы боговдохновенного проповедника, в противном же случае убегал со всех ног. Западные христиане не видели его во время восстания, восточные — также: наверное, он скрывался. С другой стороны он

никогда не принимал открыто сторону тех или других. Когда его вынуждали к этому, он только посылал с видом фанатика смутные проклятия Императору и Империи, предсказывал падение Рима и славу Крейстоса. Он обращался к апокалипсису, но то, что поражало в Гельвеции, не имело смысла в Риме. И поэтому он страшно упал даже в глазах Геэля, хотя тот был очень снисходителен к его пророчествам.

Другим предметом развлечения была Кордула. Обычно она быстро спускалась к Тибру, переходила Сублицийский мост, успевала по дороге на несколько свиданий с римлянами, спокойно выслушивая брань прежних своих любовников, и покрашенная, с бровями, соединенными черной чертой, с большими кольцами в ушах, с легкими медными и бронзовыми ожерельями, позвякивающими на шее, с едва прикрытой грудью под желтой субукулой, появлялась в мастерской. Геэль спокойно позволял ей целовать его глаза и руки; она рассказывала ему о времени, проведенном с мужчинами, исчисляла свой заработок, — увы! — скромный и в значительной части попадавший в руки хозяйки ее комнаты, и повторяла ему истории, слышанные от Скебахуса. Она нисколько не стеснялась порочных наклонностей своих посетителей, их мерзких вкусов, которым она покорно и бессознательно подчинялась, как раба, стремящаяся хорошо исполнить возложенную на нее работу. Почти весь квартал перебивал в ее объятиях, и это казалось ей почти прославлением. Часто Геэль ей назначал свидание, и на следующий день в мастерской перед гончарным кругом, печью и глыбами глины все забавлялись рассказами об

их ласках. Горшечник исполнял обязанности друга сердца, несколько не утаивая их; это казалось вполне естественным восточным христианам и христианкам и, не будучи исключительной темой их разговоров, отношение Геэля к Кордуле часто упоминалось с мистической нежностью.

Большинство восточных христиан присутствовало на том собрании в Виминале, где Заль собрал капли крови присутствующих в золотую чашу; это общение крови и лобзание при звуках гидравлического органа, на котором играл прекрасный эфеб, было для всех блаженством исступления, слившимся в их душе религиозные представления с наслаждением не только физическим, но и духовным, в котором участвовали обе стороны двойственной природы человека; оно приносило жизненную силу и чистые радости души. На этих людей, однако, косвенно влияли и другие силы, создающие во всей эпохе общую преувеличенно нервную атмосферу. Постоянно живя в грезах и неосознанных стремлениях, они как бы колыхались на волнах человеческой энергии, которая кульминационно воплощалась в сиянии Божественного лика.

Странной была любовь — или то, что казалось ею, — между Залем и Северой. Она светилась в их глазах, звучала ясно в их словах, и в то же время ничто не говорило об их телесной связи. Христиане не считали их близость греховным соблазном, естественным казалось им, что эти отношения когда-нибудь оформятся в союз прелюбодеяния. Но Севера и Заль непрестанно хранили горячую веру в Агница как чистый божественный цветок, возросший в их душе, и этот пламень трудно было бы загасить. Их

видели повсюду: на общественных собраниях, в доме бедняков и во дворцах богатых, но чаще всего в более тесных собраниях, как например, у Геэля, где они вели прения и воодушевляли, поддерживая и внушая веру, сея молитвы и утешения, смешанные с умилением и слезами.

Участие западных христиан в восстании против Элагабала огорчало восточных христиан, которые видели не какую-либо выгоду от помощи своим гонителям, а искажение христианского учения, которое впоследствии подпадет под руку высшей власти. Их сердца обливались кровью: Крейстос был предан не только Аттой, вождем западных христиан, но и лицами, стоявшими во главе христианского Рима, которых враг Заля постепенно сближал с партией Маммеи. Восточные христиане, отвергаемые главенствующей Церковью, видели себя почти в ереси, хотя они были верующими в Крейстосе, от которого исходил живой источник любви. Они были раздражены против папы Калликста, наместника Петра на апостольском престоле, всегда замкнутого в своем служении, словно он сам был божеством. И пропасть день ото дня расширялась: восточные христиане не знали пределов презрения к западным, а западные, с открытой ненавистью к ним, были готовы, когда настанет час, броситься на них.

В силу этого извращения ума, вероятно родившегося из общения культа Черного Камня с христианскими идеями и воплощенного в крови золотой чаши и телесных лобзаний, которых чуждались Севера и Заль, оставаясь неизменно чистыми, восточные христиане сожалели о подрыве сил Империи и мечтали поддержать ее, сражаться за нее не ради ее вечного

существования, а просто для того, чтобы под ее охраной их учение могло укрепиться естественным путем. Эти мысли, повсюду внушаемые Залем после его беседы с Атиллием, постепенно распространились и вызывали раздражение у римлян, которые считали их чужестранцами, оскверненными телесно; и этого было достаточно, чтобы возбудить против них великий гнев, немой и страшный, тяготевший над ними и готовый когда-нибудь, как гром, обрушиться на их головы.

Но особенно живое впечатление на Мадеха произвел Заль. Его происхождение — от великого царя, горячность и молодость, простой образ его жизни и сила души, великая широта его воззрений, сильная ненависть к лицемерию, а именно к Атте, — все это делало его духовной главой, влияние которого на восточных христиан естественно усиливалось любовью к нему Северы. Он напоминал им Крейстоса, а Севера казалась покорной Магдалиной, и им отраднo было бы видеть, если бы во время мистических бесед жена патриция умастила благовониями ноги Залю, отирая их своими волосами. Свидание Залю с Атиллием, обращение могущественного примицерия к бедному христианину казалось очень странным Мадеху, и он часто спрашивал себя, какова должна быть его сила, чтобы иметь такое значение в Империи. Когда Заль обращался к нему с какими-нибудь словами, в них звучало всегда уважение, смешанное с расположением, относившимся к его священному званию жреца Солнца. Необычайный вдохновенный облик Залю, его темная короткая борода, большие черные, бархатистые глаза и нервный наклон головы напо-

минали Мадеху Атиллия, и он замечал в себе чувство любви к Залю, которое, благодаря женственности его природы, — он не мог больше в этом сомневаться, — имело предметом мужчину, только мужчину, даже после вспышки его мужественности по отношению к Атиллии.

В общем, жизнь христиан была полной труда и тихого вдохновения. Все, кроме Северы, принадлежали к бедняцкому населению Рима; некоторые были рабами, ускользавшими ненадолго из дома своего господина, другие — ремесленниками, лавочниками, мастерами, изготовлявшими статуи и обувь, красильщиками и торговцами свининой. Зажигая в доме Геэля живое пламя веры, они сообщали друг другу свои надежды, обмениваясь поцелуем мира. Между ними возникала любовь, даже иногда однополая, порой проявляясь неожиданными взрывами страсти; между ними возникала дружба, в них также вспыхивала ярая ненависть по отношению ко всему чуждому их восточному образу мысли и чувствований. Но трудовая жизнь придавала им силу и твердость. Их обособленность от чисто внешних культов с украшениями из металлов и драгоценных камней, с песнями, плясками, с шествиями жрецов и жриц, с жертвоприношениями животных, кровь которых обгаграла землю, — эта обособленность резко отделяла их от преданного оргиям населения Империи, и они казались строгими и святыми, хотя, как и другие люди, были вспыльчивы и страстны. Их превосходство зиждилось на общей вере, воспринявшей Начало Жизни, озарив его человечностью и любовью и возвысив идеальную красоту и самопожертвование. Это де-

дало их более духовными, чем физическими, и составляло то новое явление, которое они принесли в мир с его больной физической природой, опьяненной, лихорадочной и жалко истощенной от чрезмерных исканий счастья. Христиане как бы покрыли цветами ту гробницу, полную мертвых костей, которую представляла из себя Империя, и их заслуга была в том, что они обвинили гирляндами цветов смерть, позолотили гной и зло и скрыли от глаз небытие, от которого в ужасе свертывались лепестки широко распутившихся цветов души.

III



лужанка, отирая слезы краем своей столы, складывала в корзину одежды Северы, надушенные лавандой и высушенные на холмах виллы Глицца. Еще она положила туда войлочные мягкие сандалии, ленты для прически, мешочки с благовониями и маленькие

ящички с драгоценностями. А в это время в соседней комнате патриций восклицал:

— Пусть она уходит! Пусть она убирается к своему Залю, к своему Крейстосу, к своему Геэлю, к своему Магло! Я не хочу ее больше! Я едва не убил ее и наверно убью, если она здесь останется.

И его шаги, прорываемые кашлем, резко стучали по полу, отдаваясь яростными отзвуками в переходах дома.

— Да! Я умру одиноким. Потомок рода Глиция угаснет, но не отступит перед женщиной. Что мне делать с этой Империей, в которой нет ничего римского, с Северой, обожающей Крейстоса, которого никто не видел?

Он кричал:

— Уходи отсюда! Уходи отсюда! Я не хочу продать тебя, как рабу. Я открываю тебе двери, путь свободен. Заль ждет тебя, если это правда, что ты любишь его. Оставь меня в мире, потому что я хочу умереть один, да, умереть один!

Он замолчал, чтобы снова заговорить, ударяя себя кулаками в грудь, тяжело дышавшую от кашля.

— И ты, Руска подлый Руска, ты последуешь за ней, если тебе угодно, потому что ты, подобно ей, покидаешь своего господина, патриция Глиция, потомка рода Глиция, занесенного в списки Рима.

Наступило короткое молчание, потом послушались стоны и глухой шум падающего тела.

— Я умираю! Я умираю! Я обвиняю в этом тебя, Руска, и тебя, Севера, и тебя, Заль, и тебя, Крейстос, которого никогда не видел, и тебя, Геэль, и тебя Элагабал, и тебя, Империя, в которой нет ничего римского. Не приближайтесь! Дайте умереть моему господину, Руска, и моему супругу, Севера! Еще несколько ударов моего старого сердца, и все будет кончено!

И Глиция хрипел, обратив лицо к полу, обхватив руками свою иссохшую голову. Но Руска прибежал вместе с Северой, чтобы утешить, успокоить и развлечь его. Не имея силы переносить дольше жизнь с мужем, который поносил и бил ее, она собралась уйти от него, все же сожалея о своем вынужденном

уходе, разлучавшем ее с больным и сумасшедшим человеком.

От прикосновения Руски, пытавшегося его поднять, Глиция вскочил.

— Нет! Разве я звал тебя? Кто велел тебе придти? Дай умереть спокойно твоему господину!

Севера хотела поддержать мужа, но Глиция, с налившимися кровью глазами, закричал:

— Я приказал тебе уйти; я приказал тебе не оставаться дольше в доме Глиция. А! Ты не хочешь слушаться Глиция! Ты хочешь раздражать его под видом заботы о нем! Уходи, чтобы я больше не видел тебя, или же я убью, или зарежу тебя, брошу зверям, брошу тебя в садок, сожгу на костре, закопаю в землю живой, задушю, удавлю тебя, вырву у тебя сердце, покрою ранами твое тело, отдам тебя преторианцам, которые надругаются над тобой сто раз, прикажу побить тебя камнями, вырезать твои груди, отрезать нос, отрубить голову. Уйди! Уйди! Твой вид невыносим, он раздражает меня, истощает меня и причиняет мне страдания!

Он бил ее по лицу и в грудь, а Севера не защищалась, лишь скрестила руки. Под его ударами она медленно отступала, а Руска, шедший сзади, безуспешно пытался сдержать его. Таким образом они пересекли несколько кубиков и оказались в атриуме, где служанка как раз закрывала крышкой корзину.

— А! Ты приготовилась уходить и вернулась обратно, — кричал патриций. — Ты пришла в дом Глиция, но Глиция не хочет тебя видеть. Иди к твоему Залю, к твоему Геэлю, к твоему Маглю, к твоему Элагабалу, который отдается мужчинам и сам наси-

лует их. Пусть он изнасилует и тебя, он, Элагабал! Спеши, служанка! Вон, жена!

Он вытащил ее корзину и выбросил за порог, где яркое солнце заливало светом травы, растущие из потрескавшихся стен. Потом он вытолкал Северу, за которой последовала служанка, и захлопнул дверь, резко кашляя.

— Я не знаю куда идти, — сказала Севера, вытирая слезы, но без всякого гнева. — Понесем вместе эту корзину. Мы пойдем в Рим, к Залю: он даст мне совет.

Она говорила о Зале, не чувствуя стыда, не допуская даже мысли о прелюбодеянии. Она говорила о Зале как о друге; она думала только о нем, и теперь эти воспоминания утешали ее.

Скоро они достигли Саларийских ворот. Богатые римлянки в закрытых носилках с кожаными плагулами, мягко качавшихся на крепких плечах рабов, в закрытых носилках с оконцами из слюды, патриции того же круга, что и Глиция, через слюдяные окошки носилок удивленно смотрели на Северу, догадываясь о ее изгнании. Кое-кто из соседок по вилле улыбался, давно зная о ее привязанности к последователю Крейстоса.

Наконец, утомившись, они присели на придорожный камень и посмотрели на теперь уже близкий Рим.

Перед ними проезжали начальники легионов в сопровождении скачущих турм, отполированное оружие которых сверкало на солнце; путешественники на спинах двух мулов, бегущих рысью; проходили садовники с короткими заступами на плечах; полупьяные могильщики и обмывавшие мертвых та-

пились вслед за жрецами Изида, шествующими под монотонное пенье. Воины направлялись к лагерю преторианцев, видневшемуся вдали, полному приглушенных звуков оружия, конского топота, окриков центурионов и рева слонов.

Некоторые из легионеров заходили на минуту в соседнюю таверну под обвивающей навес виноградной лозой, где пили вино.

Один из них громко говорил, и Севера узнала голос Атты. Инстинктивно она почувствовала страх и, схватив один из краев корзинки, понесла ее со служанкой по направлению к Риму, все-таки ясно слыша долетевшие до нее слова Атты:

— Уверяю вас, граждане, что через несколько месяцев Элагабал присоединится к Нерону, Вителлию и Коммоду. Выпьем же за здоровье Александра, который даст счастье Империи!

Раздался стук глиняных чаш и стеклянных сосудов, перекрываемый голосами собутыльников, отвечавших Атте. Севере показалось, что эти слова относились к ней и предвещали ужасные несчастья; это волновало ее, пока они не подошли к дому Заля и не стали подниматься по лестнице.

На длинные площадки дома выходили двери жильцов, которые ели в эту пору лук, крутые яйца и сушеную рыбу. Они, разинув рот, смотрели на этих двух женщин. Дети визжали в грубых руках матерей, с открытыми грудями; молодые девушки со спутанными волосами выбегали, чтобы рассмотреть пришедших. И так продолжалось до площадки восьмого яруса, окруженной узкими помещениями. С нее они увидели внизу улицу, кишевшую прохожими, шедшими в разные стороны; а вдали откры-

валась Кампания с ее туманными горизонтами, очертаниями крыши, акведуков и холмов, бегущих один за другим. Сердце Северы сильно билось и от волнения, и от бесконечного подъема. Свежий ветер, гулявший по площадке, на которую они взобрались по развалившейся лестнице, ударил ей прямо в лицо. Севера покачнулась, силы совершенно оставили ее, и с легким криком, слабея все больше, она опустилась на корзинку.

— Мне дурно. Служанка, поддержи меня!

Служанка обвевала ей лицо, тревожно ожидая, не откроется ли какая-нибудь дверь; и так как обморок Северы продолжался, то она распахнула верх ее столы. Открылись белые груди с синими прожилками. Но супруга Глиция закрыла их руками.

— Нет, если придет Заль, то он сочтет меня слабой и испугается. Мне теперь лучше!

Она робко постучалась в комнату Заля, и дверь открылась. Появился перс и с легким смущением сказал:

— Войди, сестра, и ты, служанка, войди также! Добро пожаловать!

И он отступил, растерявшийся от того, что может предложить Севере только простую деревянную скамейку, а служанке, молча осматривающей бедное жилище потомка великого царя, только сломанный деревянный ящик, в котором лежали его одежды. Он не знал, что сказать, настолько это посещение изумило его; он чувствовал, что Северу постигло несчастье, и заранее страшился, что оно непоправимо. Но он преодолел волнение, и, так как Севера молчала, спросил:

— Ты желаешь, что-либо новое сообщить мне?

Наверно, я тебе нужен, чтобы сопровождать тебя к бедным братьям, потому что эта корзинка, вероятно, содержит в себе пищу и одежды для них. Но было бесполезно подниматься сюда. Надо было позвать меня через служанку, и я немедленно пошел бы с тобой, как ходил иногда. Ты устала, отдохни немного; мы пойдем, как только ты не будешь чувствовать себя утомленной.

Он говорил, запинаясь, намекая ей уйти, но она не отвечала. Наступило молчание, которое печальным голосом прервала служанка.

— Ее супруг дурно обращался с ней и теперь не желает ее видеть. Она не знала, куда идти, — у нее нет родных. Ты у нее единственный друг, и теперь она ждет твоего совета.

Она открыла корзинку и быстро сказала, обнаружившая участие, которое питала к госпоже:

— Я совершенно случайно наполнила корзину ее лучшими одеждами и самыми красивыми тканями; я положила туда сандалии и драгоценности, которые она может продать в случае нужды. Ты — ее друг, любящий ее, поможешь ей. Я же вернусь на виллу в надежде, что Глицца скоро ее позовет.

Заль побледнел. Он взял дрожащие руки Северы, которая встала, доверчивая и целомудренная. И он нежно прижал ее к своей груди.

— Что будет с тобой? Я найду сейчас христианское семейство, которое примет тебя. Подожди меня.

Он хотел уйти, не желая, чтобы она оставалась больше в его комнате, так как служанка собиралась оставить их вдвоем. Но Севера заплакала.

— Нет, я хочу оставаться близ тебя, я сделаю уютной твою комнату и буду утешать тебя своим

присутствием, потому что ты одиноко. Что буду я делать у других? Ты хорошо знаешь, что я твоя подруга, наши души сливаются во Крейстосе и ничто твое не чуждо мне. Позволь же мне никуда не уходить отсюда. Я остаюсь, ты видишь, я остаюсь!

Она отдавала ему свою душу, но к ее словам не примешивалось ни малейшего телесного желания. Заль был для нее существом чистым, отвлеченным, чем-то вроде второго проявления Божества. А значит, ее просьба не носила характера приглашения к сожителству и, тем самым, не грозила их репутации — настолько она была целомудренной. Заль испытывал те же чувства, но все же боялся принять Северу. Поэтому он возразил:

— Лучше будет для тебя и для меня, чтобы ты не оставалась здесь. Или вот что: я уступлю тебе свою комнату, а сам пойду в другое место и удовольствуюсь тем, что буду навещать тебя.

Но Севера опять отказалась, говоря просто, что она будет спать на полу, в ногах его деревянной кровати, вполне довольная тем, что будет жить вместе с ним в мире Крейстоса. Между ними произошла перепалка, в которой служанка, считавшая Северу виновной в прелюбодеянии с Залем, ничего не понимала. Истоцив все доказательства, он предложил снять комнату рядом, такую же бедную, чтобы быть соседями.

Она согласилась, счастливая в душе, что будет жить рядом с Залем, хотя и не вместе. Перс спустился вниз, чтобы уговориться относительно этого помещения с владельцем дома, толстым нумидийцем, разбогатевшим от продажи пергамской кожи. Но тот,

приняв его в кубикule первого этажа, стал грубо смеяться:

— Она твоя подруга, та, что, — как мы видели, — пришла со старухой. Тебе не надо предлагать ей комнату, достаточно твоей кровати. Э! Ты все-таки настаиваешь; тем хуже для тебя, христианин... Ты ведь христианин, не так ли?

— Это тебя не касается, — ответил Заль. — Я плачу тебе деньги, и ты имеешь право только молчать, а главное, не разговаривать с ней.

— А! Ревность, — заметил пумидиец, смеясь еще сильнее. — Эти христиане чудаки. Хе! Хе! Бери комнату и устраивайтесь. Только чтобы не было шума между вами. И чтобы не было известно, что вы христиане, потому что заранее ничего нельзя предвидеть, а мой дом от этого может пострадать.

IV



Аля Северы и Залья наступили дни отдохновения души, воли и совести, которые заставили их витать в какой-то иной жизни, где все расплывалось, как в тумане. В Севере это было острее, ее мистическое чувство находило удовольствие в этой близости, потому что за

исключением ночи, они все время проводили вместе. Патрицианка, всецело посвятив себя служению своему другу, купила глиняную печь и утварь для приготовления кушаний, которые она сама стряпала;

сама, как простая матрона, спускалась вниз за провизией; сама оправляла постель Заля и подметала его комнату, принявшую уютный вид, — с несколькими цветами, с полосами белой ткани, украшавшими скамью, и с шерстяной столой с пурпурным бортом, заменившей ковер на жалком деревянном полу. В таком виде эта комната казалась небольшим храмом, особенно при желтом свете дня, проходившем через промасленное полотно, закрывавшее узкое окно. И Заль, возвращаясь домой и видя себя в этой комнате, вдыхая аромат цветов и свежести, который привнесла с собой Севера, испытывал чувство восторга, душевного покоя и нежности, — так что он, отдаваясь ее обаянию, почти забывал свою нищету.

Он был беден, Заль! Еще ребенком он очутился на мостовой Рима, после смерти своего отца, изгнанного из родного края, потому что он был потомком великого царя, сказания о котором еще волновали сердца храбрецов его народа, и с детства дни Заля были полны лишений и скорби. Обладая живым умом, он мог бы увеличить собою число клиентов какого-нибудь патриция, богатого иностранца, консула или трибуна, связав с ними свою судьбу, как это делали многие из патрициев. Или же он мог бы отдать свою цветущую юность мужской любви и стать продажным, стать, быть может, одним из евнухов, с женским голосом и гладким лицом, так ценимыми развратниками. Но нет! Заль вел изнуряющую трудовую жизнь, приготавливая свою душу к восприятию всего возвышенного; потом один христианин наставил его в вере, окрестил и направил на путь проповеди христианства. Заль, будучи все же персом, скрестил христианство с

идеями Востока, привнеся в него, — за что его упрекал Атта — две первопричины всего сущего: зло и добро. В постоянном физическом труде: то плетя корзины, то делаясь ткачом, то сплавливая по Тибру плоты к морю, — он быстро стал для христиан своего рода вождем, учение которого легко распространялось. В своем усердии проповеди Крейтоса Заль закрыл глаза на злобу и зависть, идущие за ним по пятам, постоянно обличая лицемерных, лукавых, малодушных и нерадивых, продолжая расширять сущность религии, искать в ней человеческий смысл и вместе с шедшими вслед за ним братьями и сестрами, в большинстве его единоплеменниками, он стремился поставить высоко учение, веру, милосердие, самопожертвование, смирение и самоотвержение, и в этом стремлении создавал символ Братства в том обряде, который он совершал в служении на Виминале.

Теперь он был работником в Области Садов: уходил рано утром, приходил среди дня, снова уходил и возвращался вечером. Запах земли, цемента и кирпича исходил от его плаща; утомленный работой, он едва добредал до своей комнаты, но лишь только входил туда, лучезарная радость, несколько не скрываемая, так и била из него. Севера ждала его, жалела, видя как он устает; она для него сохраняла теплым кушанье в грубых сосудах и, сидя на скамье, иногда чинила одежду Залья. Они тихо разговаривали, испытывая волнение взаимного счастья, от которого сжималась грудь и слезы выступали на глазах. Наступала ночь, и при свете глиняной лампы он читал восточное Евангелие, хранившееся на полке у стены. Она слушала, за-

думчивая и восторженная, проникаясь верой и любовью к Крейстосу, который в ее воображении имел облик перса с лучистым ореолом вокруг головы. Легкий крик вырывался у нее, и Заль прерывал чтение и спрашивал у нее, почему она вскрикнула, но она, смущенная, не смела признаться, что видела в нем Божество. При такой жизни, — сблизившей их настолько, что часто дрожащие ноги Северы касались ног Залья, едва прикрытых полою плаща, — не рождалось никаких желаний тела, лишь легкое смущение в нем, и он, вставая, приглашал Северу удалиться к себе и прощался с ней простым ласковым поцелуем мира среди тишины ночи.

Он спал мертвым сном, с одним желанием проснуться на саре для дневной работы. Но Севера спала плохо, чувствуя волнение крови, вскакивая с постели и прикладывая ухо к перегородке, чтобы слышать дыхание перса и таким образом чувствовать его близость даже во время сна. Она, точно сестра, подчинялась ему, как брату с более сильным умом и волей, и, если жизнь вместе с ним пробуждала в ней иногда желание тела, то ее целомудренный разум быстро побеждал рождающуюся истину плоти, не давая ей овладеть организмом женщины, таинственно говорившим в ней.

Иногда они ходили к Геэлю или к другим христианам, которых несколько не смущал их образ жизни; или же они присутствовали на собрании верующих по их догматам, откуда возвращались растроганные и нежные, идя рядом, и среди лунных ночей бродили их белеющие силуэты.

Севера продала гранильщику драгоценных камней на Vicus Teacus большую часть драгоценностей

и деньги употребила как на свои расходы, так и на помощь Залю. Он не возражал — таков был христианский обычай, и даже бедняки помогали ему в те дни, когда Заль не работал. То были тихие, похитительные прогулки с Марсова поля к Авентину, в Транстиберинскую часть и в дальние окрестности, на берега Тибра, где жило несчастное население: прокаженные, сифилитики, страдавшие грыжей и кретинизмом, — собравшиеся там со всех концов Империи. Ужасные уроды, они жили скученно, похожие не то на зверей, не то на существа без ясно определенного пола: отцы там насиловали детей, мальчиков и девочек; матери отдавались сыновьям; девушки промышляли развратом между узких деревянных и кирпичных домов, едва выделявшихся среди высоко разросшегося проскурняка, издали придававшего фиолетовый оттенок горизнту. Присутствие Заля и Северы мало тревожило их, и те часто бывали свидетелями мерзостей, которые внушили бы отвращение другим. Но какое им было до этого дело! Они несли им мир и милость Крейстоса с живым человеколюбием, часто встречаемые бранью, грубым ворчанием пьяных, а иногда и нечистотами, которые бросали в них издалека покрытые струпьями дети.

Они шли по правому берегу Тибра, совершенно желтому, покрытому низкими кустами ивняка, тощим утесником и болотной травой, густой, как шерсть. Немного дальше они нашли для отдыха между холмами с белой мыльной травой и розовым спорышем, высоким, как тога, плоский песчаный берег с позеленевшими валунами, где в лужах с болотными ноготками и желтыми сердечниками

отражались солнечные лучи. Прикрепленные к берегу веревками из плетеного утесника досчатые осмоленные лодки качались на реке, пустые, без рыбаков, жилища которых виднелись вдали: деревня из низких хижин, построенных из кирпича или тростника, обмазанных глиной, с единственной дверью из ивового плетня.

V



днажды, когда они возвращались этим правым берегом реки и сердце тайно произносило слова, которые уста не смели повторить в трепетном волнении пред картиной римской природы, они увидели Мадеха, грустно бродящего вдали, где текла река, подобно широкому

морю, взволнованному движением кораблей, направившихся на Восток и с Востока. Моря же не было видно, но оно чувствовалось в стороне Остии, голубое и зеленоватое, с зубчатыми гребнями светлых волн, ласкающих желтый песок и зелень берегов, серебрившихся на солнце. Перед ними блистал Рим, бесстыдно прекрасный, с горящими золотыми вершинами своих зданий, с уступами портиков, прорезанных голубыми просветами, с красноватыми массивами домов, расходящихся лучами, как хвост павлина, с блестящими черепицами крыш. Глухой гул, тепло и смрад порока исходили из него, как будто река сладострастия текла среди города. Да! То был шум чу-

довищного лупанара, со звоном цистр, пением мужчин и женщин, продававшихся всякому пришедшему, как бы мерзки ни были его желания. Мощное взволнованное дыхание тела, принимающего все объятия, как бы противоестественны они ни были. И небо точно отражало, что происходило в вечном городе, облака выявляли формы, достаточно ясные, чтобы походить на окровавленные недра женщин и на фаллосы, изливавшие жизнь в виде густой жидкости, дождем падавшей в Тибр, покрывавшийся рябью от этого. Сплетались нагие, круглые бедра; черные волосы женщин смешивались с волосами мужчин; и груди, светлые и темные, широкие округленные чрева с серебристой поверхностью нагромождались в беспредельные груды. За Ватиканом горизонт преграждался гигантским лезвием, похожим на меч с золотой рукояткой, как будто он был им предназначен для жатвы этих тел, розовых и желтых, настоящих гнойных язв, чтоб покрыть землю смрадным удобрением.

Мадех остановился и, неподвижный, смотрел на огромное отверстие клоаки, извергающей в Тибр черную грязь, трупы свиней и собак, домашнюю утварь и поломанную мебель. Вокруг на высоком берегу, под самым отверстием образовалось скопление липких предметов, которое, продолжаясь под водой, производило желтую пену гниения, и на поверхности пузыри принимали вид жаб, вцепившихся друг в друга, дряблые зобы которых двигались под прозрачной топкой трясинной. Дальше росла редкая трава, поднимался хилый тростник, изредка стрелолистник; растительность отравленной воды образовывала острова зелени, студенистую массу которых

иногда колебало течение реки. И непрерывно нечистый зев извергал нечистоты, увеличивая их массы, а река мрачно уносила все, за исключением того, что отлагалось на берегу, в широкой желтой тоге, раскрывавшейся под порывами слабого ветра с верховья реки, — и открывались вздутые трупы животных и людей, сплетавшихся в странных и мрачных позах.

Заль и Севера не решились потревожить Мадеха, не заметившего их. Но то, что они видели, показалось им так странно, что они также остановились перед расстилавшейся на левом берегу картиной Рима. Тибр в туманной дали извивался до Мильвийского моста; среди высоких городских стен, господствовавших над домами, виднелись отверстия ворот, а вниз по реке вал окаймлял Померий — покинутое поле у подножия Авентина.

Позади песчаный берег поднимался легким откосом, по которому проходили люди, дети бродили почти у их ног; бляяла тощая коза, жилистая, как связка сухих веревок, и ее гнала старуха, отмеченная клеймом в виде голубой звезды на лбу, как африканка.

Но Мадех обернулся. Его печальное лицо и неуверенность движений показались им такими необычными, что они заприрались с нему, тронутые, жалея его. Он указал им на зев сточной трубы, непрерывно извергавшей волны нечистот. Казалось, что Рим облегчался через это отверстие, освобождая себя от нечистот, которые затем расплывались по течению. Именно так подумал Заль, потому что сказал:

— Большая Клоака! Весь Рим растворяется в ней и уходит через нее.

— Большая Клоака! — воскликнул Мадех. И он стал медленно подниматься по берегу вместе с ними.

и необычной мечтательности, чувствуя себя усталым. С утра он ушел из мастерской Геэля, движимый неопределенным желанием увидеть Рим с другого берега, подышать ветром реки, взглянуть на уличную жизнь, а также чтобы освободиться от печали, овладевшей его существом, медленно слабеющим, как будто что-то сломилось внутри его, обвеять свой погибающий организм свежим воздухом во время бесцельной прогулки. Он встречал простых, грубоватых мужчин и женщин, грязно одетых, но имевших крепкие мышцы, и все они громко кричали на разных языках; иногда его глазам открывались внутренние комнаты домов, и он видел сцены, напоминавшие ему о тех, что происходили между ним и Атиллием и Атиллией. И хотя он не чувствовал половых стремлений, которые, однажды проснувшись, угасли в нем навсегда, но в нем оставалось горькое чувство, — не из-за жажды наслаждений, а напротив, из-за отсутствия желания, — которое отныне будет преследовать его всю жизнь.

Заль и Севера не хотели тревожить его пошлыми словами утешения. Мадех следовал за ними молча, и все трое шли так, не говоря ни слова: Заль и Севера, наслаждаясь своей близостью, а сириец, погруженный в свою печаль. Берег поднимался, загроможденный черепками, выброшенными и отшлифованными водой; налево гнездились дома, темнели улицы и здания вырисовывались на фоне неба. Они прошли у стен цирка Калигеры, к которому лепились лавки торговцев вином и колбасами, висевшими, точно красные и желтые лоскутья. До них доносились крики, преимущественно продавцов соленой свинины, и они узнали голос Скебахуса. Они прошли по мосту Элия, даже не взглянув на могилу

Адриана, на вершине которой, под поцелуями солнца, стояли каменные статуи.

Они пересекли Марсово поле, за оградой старых стен на левом берегу и вокруг них выросли храмы, дворцы и гробницы с блестящими подножиями. Там улицы кишели народом; кони уносили колесницы, поднимая облака пыли; отряды гладиаторов шли прямым углом, ударяя деревянными мечами о деревянные ты; начальники легионов скакали бешеным галлом на ржавших конях, за ними катафрактарии в золотых панцирях и золотых касках размахивали луками. Клеопатра Агриппы осаждала беспорядочная толпа людей в тогах, туниках и синтесисах; и в ней было много жидков: понтифики в конических шерстяных колпаках; авгуры в торжественных одеяниях, сцепленных застежкой; амбарвалы, увенчанные колосьями и белой шерстью; фециалы с пучками вервены; фламины с сетками на голове и даже жрецы Солнца в митрах. Чтобы не быть узнанным, Мадех закрылся краем своей тоги, бедной тоги янитора.

Они вступили на улицу Фламиния, проходившую мимо арки Марка Аврелия, и углубились в Рим, еще более людной.

Облака сгустились, и еще более гигантские образы недр женщин, фаллосов, бедер, чресел, волос, груди и чрев грохотали в небе под угрозой страшного меча, который все разрастался. Стены домов были покрыты другими похотливыми картинами, начертанными неизвестной рукой: недра женщин и уродливые или колоссальные фаллосы, бедра и рты в гнусных положениях, изображения иступленного бесстыдства с подписями, объяснявшими все. И так как это место было очагом половой разнузданности,

двери часто открывались, мужчины и женщины звали Северу, Заль и Мадеху, пытались приподнять их одежды и коснуться порочными руками их тел. Но они противились этим прикосновениям, и их быстро оставили в покое.

Они пришли по Широкой улице к форуму, где слышались все звуки: суховатый треск кимвал и смех жрецов, хоры жрецов и топот конницы о плиты порубов, топот солдат, крики декурионов и центурионов, шум колесниц, катящихся по плитам площади. Разорвалось императорское шествие. На колеснице, запряженной белыми лошадьми, Элагабал играл на Золотой флейте, делая движения бедрами и животом, колыхавшими одежды и открывавшими его белое тело. И он был красив, красив, как нежный мрамор, в огнях развевающихся одежд, драгоценных камней тиары, подвесок и запястий, бубенцов на шее, пурпурных шелковых вожжей, которые он держал в руке, и золотых полос на колеснице. Это был его первый выезд после восстания; ему хотелось, чтобы римляне привыкли к нему, но тщетно: одни отворачивались, другие посылали ему проклятия. И вскоре Император умчался в направлении Палатина, к храму Солнца, на который спускался облачный меч.

Стоя перед Мадехом, Заль и Севера улыбались друг другу с чистотою взглядов, которая его поразила. Робкая стыдливость неизвестной ему человеческой природы ослепила его. Он почувствовал точно головокружение, падение в пропасть, где уже ждали звери, готовые его съесть. А поскольку Заль и Севера по-прежнему улыбались, он покинул их с суровым видом, острее сознавая свою душевную и телесную слабость и чувствуя постыдные сожа-

ления, относящиеся не к Атиллии, а к Атиллию. Он, правда, находил это недостойным себя, но тем горше было угасать из-за того, кто погубил его едва родившееся мужество.

VI



Шелесень чувственности разрасталась в Мадехе, вызывая страшную борьбу в его организме, одновременно мужском и женском, и тяжело осеяла его душу цветами с черными лепестками, смертоносные стебли которых он хотел бы отсечь. Недавно он отверг Атиллия, а теперь воспоминание о нем возвращалось, смешиваясь с воспоминанием об Атиллии, как будто между братом и сестрой шла борьба за обладание им. И во мраке своей души он не знал, кого избрать, Атиллию или Атиллия, находя их почти равными по отношению к его слабой природе, а главное, по отношению к нежной потребности любить, говорившей в нем. И Природа в нем раздваивалась, благодаря зарождавшейся в нем двуплоти, корни которой едва были заметны.

И он замечал в себе робкие порывы страсти одновременно и к Атиллии, и к Атиллию, но не физической страсти, как ему это казалось, а чисто идеальной. Вдали его представлений оба образа изменялись настолько, что, кроме общих черт, это уже не были больше они, но все-таки был мужчина и была женщина, даже оба в одном существе, которое было Андрогиним примичерия.

Очень чувствительный в своей болезненности, Мадех терял спокойствие от малейшего шума толпы, от малейшего волнения Тибра, от малейшего движения облаков в небе. Он чувствовал себя несчастным и, печальный, завидовал смутно душевному спокойствию Геэля, взаимному доверию Заля и Северы, даже горячности Магло и даже болтовне Скебахуса. Ничто не представлялось ему ясно, ни женщина, ни мужчина, ни какой-нибудь новый образ жизни, который совершенно преобразил бы его.

Он решил пожелать Крещения. Эти христиане так счастливы, и не делает ли счастливыми Крейстос через Наложение Рук и Дар Воды? Он открылся в этом Залю, который нежно прижал его к сердцу.

— Христианином ты был вместе с Атиллием, не подозревая этого, когда в тебе он искал Андрогина. Ты даже мученик Бога, соединяющего в себе оба пола и единственно всемогущего. Вы ошиблись оба, но попытки Атиллия воссоздать единство в человечестве спасли тебя, хотя ты и не подозревал этого.

Величественно мистический, он говорил в двояком смысле. Мадех же настаивал:

— Воды омоют телесные скверны, а мое тело осквернеет.

— О нет! О нет! Нет! — возразил Заль. — Истинная скверна — это скверна души, а не тела. Это различие отделяет нас от других христиан, которые осуждают тело, оставляя душу ее порокам. Мы очищаем душу, тело же освещается Милостью и Верою.

Мадех хотел бы сказать Залю, что же он все прощает телу, а между тем не живет с Северой, про которую говорят, что она остается целомудренной с

ним. Действительно, он часто слышал про это от христиан. Но Заль словно угадал:

— Да! Но наши два тела никогда не испытают наслаждений наших душ; это высшие наслаждения на земле. Мы не хотим падения. Наша любовь не станет от этого сильнее. Правда, мы никогда не сознавались в этом, но это скрыто в нас. Пойми, что если мы удовлетворим жажду тела, то мы уклонимся от совершенства. И кроме того, мы об этом не думаем, этого не хотим, мы отказались от этого.

Он долго объяснял, уверенный в себе и Севере, искренно и просто, почти пророчески. Возвращаясь к речам о Крещении, он прибавил в мимолетном рассуждении, которое вызвало раздумье в уме Мадеха:

— Примешь ли ты Воды или нет, но ты достоин Крейстоса, потому что ты творение Крейстоса, желающее от греха идти к совершенству. Воды не поведут тебя без дел. Имей Веру и Милость: остальное же придет!

VII



Мадех познал Крейстоса на собрании в Транстиберине, в полуразрушенном доме близ Тибра, который в эту ночь катил свои кровавые воды при свете красной луны, зловеще печальной. Снова верующие Востока молились там, снова Заль, прекрасный в своем таинственном священнодействии, делал золотым острием уколы на груди каждого, чтобы наполнить

крошью золотую чашу, из которой все пили. И исповедь женщин мужчинам, оканчивавшаяся поцелуем, и гром гидравлического органа, прерываемый страстным голосом прекрасного эфеба, едва угадываемые прикосновения, ласки и сближения, — все это происходило на глазах Мадеха, которого привел Заль. Как всегда, перс и Севера оставались целомудренными; их возвышенные души питались телесным удовлетворением других, и они казались более сильными и более совершенными, чем другие. Когда Единение слило присутствующих, лежавших полунагими и склонившихся в истоме на полу, на скамьях, на ступенях, перед трогательными картинами на сводах и символическими растениями, стремящимися в небеса, полные нежного света, Заль и Севера ушли отсюда, избегая зрелища, которое, быть может, смущило бы их душу, и Мадех остался один. Один из присутствующих подошел к нему, другой взял за руку, остальные ласково увлекали его, целуя его виски, затылок, губы и шею с горячностью, дрожь которой усиливалась дикой мелодией гидравлического органа, изливавшего песни, полные беспредельной страсти! Но Мадех отстранялся от них, чувствуя какой-то ужас к этим ласкам, напомнившим ему ласки Атиллия; и его оставили, не принуждая, желая принимать в свой круг только радостно и добровольно отдававшегося.

Женщины, полагая, что Мадех отталкивает их братьев из-за них, пожелали его, но Мадех вырвался из объятий христиан, тонкое, нежное тело которых вызвало в нем воспоминание о сестре Атиллия. И уходя оттуда, он видел объятия не овладевших им женщин и мужчин. Итак, повсюду Начало Жизни

находит своих поклонников; повсюду в служениях и обрядах оно побеждает. Значит Восток, смело водрузивший Начало Жизни на свои алтари, поступал правильнее Запада, населенного варварами, с холодной кровью в жилах! Мадех спустился к Тибру со смутным сожалением об Атиллии и его сестре. Если бы Атиллий не лишал его простора и солнца, то он остался бы ему верен; он не коснулся бы Атиллии, он не подчинился бы желаниям мужественности, толкавшей его к женщине; он не обманулся бы относительно любви, смешивающей два пола. Или же, оставшись с Атиллием, он не потерял бы Атиллию, также верной и этой любви, проявляющейся во всем и господствующей надо всем, любви, которая есть сама жизнь, потому что создает ее. И что значит для него смерть, разрушительница его сущности, смерть, лишаящая его рук, половой силы и всех его органов! И он жил бы настоящей жизнью, горел бы, как светильник, полный масла, сгорающий в ярком золотом свете; он бы жил, — быть может, как изначальный лучезарный Андрогин, каким мечтает его сделать Атиллий.

Долгими слезами плакал Тибр; обрамленные желтыми гребнями волны разбивались в прибрежном ивняке, кусты которого казались плоскими в темноте, среди камыша, качавшего под ветром свои косматые кисти, похожие на султаны шлемов. Красная луна, круглая и спокойная, как стеклянный глаз, поднималась в небе, заволакивавшем гигантские облака в формах обнаженных гигантских тел, и эти нагие образы, тоже красные, обрисовывали группы всадников, потрясающих широкими мечами над городом, распростертым во тьме, прорезанной кровавыми ли-

ниями. Другие облака, вверх по реке, толпились в виде бесчисленных армий: люди в золотых доспехах и шлемах; воины со щитами, украшенными бронзовыми полосами и головами медуз и змей; стрелки из лука и копьеносцы; колесницы, запряженные конями, летящими в беспредельность; слоны и верблюды, согбенные под тяжестью башен и грузов; мрачные леса баллист, катапульт; онагры, бешено несущиеся в сопровождении странных животных, плывущих с горизонта, с изгибами сплетающихся голов; смутные картины, облекающие грезу и переходящие в ничто. Рисовались быки и коровы со звездой на лбу; ослы и мулы, покрытые кожами, содранными с живых людей; летящие единороги, бодающие своим рогом луну; крокодилы, погружающиеся в какое-то болото, на дне которого звери сплетались в гнусных позах. Плыли еще облака: изогнутые, как военные доспехи после битвы; представляющие из себя беспокойную толпу музыкантов, мужчин и женщин в длинных восточных одеждах, прорываемых иногда ветром и обнажающих кастрированные, окровавленные органы; мужчины и женщины играли на многострунных лирах, свирелях и флейтах, на кимвалах и рогах, потрясали цистрами, ударяли в барабаны, приводили в движение гидравлические органы, — и у всех, у всех были вместо голов черепа, двигавшие челюстями. Наконец, ряд облаков поднимался к луне: они были подобны отрубленным фаллосам, плавающим в море крови; и развертывалась битва между отсеченными органами тела, изображающими целое человечество, и красным светилом, медленно двигавшимся. И органы тела поглотили луну: она исчезла, и тяжелый мрак сгустился над Тибром, в котором

ничего уже не отражалось, — и исчез город и горизонт ушел в холодную бесконечность!

Мадех бродил вдоль реки и, дойдя до Сублицийского моста, перешел наудачу. Шум какого-то тяжелого извержения долетел до него: в нескольких шагах Большая Клоака выбрасывала из себя нечистоты Рима подобно женщине во время родов. Иногда порывы ветра разгоняли облака и открывалась красная луна; тогда видны были улицы с бликами, кровавыми, точно лица убитых; вода фонтанов казалась красной; красными были и портики храмов, среди которых двигались человеческие тени. И Мадех, быстро проходя мимо портиков, видел женщин, целовавшихся, с задранными платьями; другие женщины обнимали колонны, точно желая отдаться какому-нибудь чудовищному зверю. Потом ветер прекращался, облака вновь поглощали луну, все темнело, и Мадех странно ощущал город, восстающий из ночи, с мечущимися нагими женщинами, и потом вновь погружающийся в бездонную пропасть.

Но сильный ветер снова открыл луну, и облака в форме огромных пастей крокодилов, уплыли, удлиняясь, в сторону Целия по направлению к Старой Надежде, под стенами которой шел Мадех. Потом облака столпились, вытягиваясь в форме веретен, усеявших небо черными точками, по направлению к Аппиевой дороге, часть которой, проникавшая в город, широко открылась в лунном свете. Теперь луна не была так красна; небо усеяли звезды, изумрудные и сапфирные; рождалась ночная жизнь. Показались толпы народа, продолжалось сближение полов, дома внезапно открывались, и в резко очерченных светлых проемах виднелись нагие танцовщицы и танцоры.

Бесстыдства совершались почти у ног Мадеха, который переступал через сплетавшиеся тела. Он шел очень быстро, слыша за собой крики людей, звавших его и делавших знаки, полуобнаженных. Но он ничего не слушал, обезумев от этой буйно разметавшейся оргии тел, страшно волновавшей его организм. Он не знал, где он находится и ждал наступления дня.

Послышался страстный аккорд лиры, потом певучий ритм флейты, звонкая мелодия цистр и снова звуки лиры, полные бешеной страсти, врезавшиеся в ритм флейты и в звучность цистр, затем ясный смех, смех женщины полился водопадом из дома, дверь которого над несколькими ступенями вдруг открылась, показывая в освещенном квадрате среди вертикальных линий колонн нагие существа, округлые формы которых светились, точно покрытые золотом. Две из них обернулись; Мадех взглянул на них и узнал Сэмиас и Атиллию, роскошные тела которых обнимали мужчины. Потом они легли на низкие лежа с циновками, и происходило их сближение с другими женщинами и другими мужчинами, прибежавшими из смежной комнаты с блестящими стенами, где звучали невидимые лиры, флейты и цистры.

Мадех остановился, окаменев. Черная фигура появилась перед встававшей Атиллией и накинула на нее плащ, тот самый, который скрыл ее наготу тогда, в доме в Каринах. И Хабарраха сказала настолько громко, что он услышал:

— Пора возвращаться домой, скоро день, и не надо, чтобы Рим нас увидел.

Появилась в свете Сэмиас, нагая. Эфиопка надела на нее другой плащ, но какой-то мужчина отбросил его для бешеного поцелуя. Скоро они очутились на

улице, и фонарь из рога в руке Хабаррахи осветил Мадеха, который, не решаясь уйти, стоял молча.

Атиллия вскрикнула:

— Ах! Мадех, ты!

Но Мадех ничего не отвечал, упорно глядя на нее. Тогда Атиллия обошла вокруг него, всматриваясь.

— Мадех! Мадех! Это его лицо, но не его одежды, не его митра, не его амулет на шее.

И она в сердцах хотела прогнать его.

— Уйди прочь! Уйди, раб! Ты не Мадех — ты только тень Мадеха.

Но Хабарраха после секундного удивления увлекла Атиллию, упрекая ее. И надтреснутый голос говорил, пока Сэмиас быстро уходила вперед:

— Если бы даже это был Мадех, не надо, чтобы он узнал тебя. Впрочем, он умер, и хорошо, что ты живешь по-другому. Теперь ты веселишься, ты наслаждаешься и никто тебе не мешает. Кто знает, будет ли это так же легко впоследствии.

Сэмиас обернулась, и Мадех услышал, как она сказала:

— Нам только это и остается! Насладимся!

Насладимся! Таков был вырвавшийся из уст Сэмиас крик Мира, как христианского, так и языческого. Насладимся! Это слово своей грубой философией объяснило Мадеху все. Он ушел прочь, не чувствуя больше любви к Атиллии, но постоянно сожалея о примицерии, к которому уже не питал отвращения. Ах! Если бы он захотел принять его, сколько раз повторил бы он Атиллию слово, сказанное Сэмиас! Насладимся! Насладимся!.. чтобы умереть потом, потому что вдали от Атиллии или близ него он должен умереть. Он долго бродил, отыскивая

среди озаренных в лунном свете римских кварталов маленькую улицу в Каринах, на которую выходил покинутый им дом. И точно ветер принес его туда: он очутился перед дверью дома.

— Янитор! Янитор!

Дверь отворилась и показался янитор.

— Эге! Это ты, сын мой, Мадех? О, Зевс, какой случай!

И в изумлении он не знал, что говорить. Но Мадех совершенно ослабел. Янитор взял его на руки и понес в свою комнату, тихо говоря:

— Скрывайся еще некоторое время, потому что он не совсем еще выздоровел, и твое присутствие может расстроить его. Это не значит, что он не хочет тебя видеть, судя по тому, что он говорил Тонгилию, врачу, который спрашивал меня, чем ты был для него, ты, Мадех!

Вольноотпущенник молчал, слушая янитора. И наконец сказал:

— Атиллия его покинула, не так ли?

И он был заранее счастлив, что Атиллия, которая отдавалась мужчинам ночью в римских лунанарах, забыла своего брата, и это подтвердил ему янитор.

— Атиллия? Да! Она сначала приходила, потом реже, теперь совсем редко. Правда, Атиллий отказался ее видеть, обвиняя ее в том, что он лишился тебя.

«Обвиняя ее в том, что он лишился тебя!» — Мадех повторил это несколько раз про себя, слегка восхищенный этой уступчивостью любви. Его слабость постепенно исчезала под влиянием самоутешения. Но янитор, увидав, что он так бедно одет, пришел в негодование:

— Что же это! Что ты делал с тех пор! Ты похож на раба, выпущенного из тюрьмы. Если бы он увидел тебя, он скорее почувствовал бы жалость, чем гнев, и скорее гнев, чем любовь.

И он заставил Мадеха надеть другую тогу, из богатой египетской ткани с яркими голубыми и зелеными зигзагообразными полосами. Потом он обул его ноги в прежние сандалии, на голову надел шапку из белой шерсти и вручил ему сверток с чистой одеждой. Мадех не сопротивлялся, хотя горесть овладевала им при мысли, что он снова будет вдали от Атиллия, которого он и желал, и боялся увидеть.

— Через несколько дней ты постучишься ко мне. Я очень хотел бы навестить тебя у Геэля, но, ты знаешь, Атиллий посадит меня на цепь, как и других яниторов, если узнает, что я хоть на миг покинул дом, который я должен сторожить.

Он показал ему на цепь, прикрепленную к стене и достаточно длинную, чтобы прикованный к ней мог подойти к наружной двери. Она приковывала другого янитора, оставившего по себе печальную память: головы ибисов, терпеливо выточенные из дерева; круги щитов, вырезанные из тыквенной корки; застежки для плащей, сплетенные из рыбьих костей, с легкой насечкой, — предметы варварского искусства, медленное изготовление которых улаждало его досуг. И янитор, живой, сказал с легкой дрожью в голосе:

— Ты видишь, я совсем не желаю заниматься изготовлением голов ибисов, круглых щитов и застежек для плащей; а мне пришлось бы также это делать, если бы Атиллий посадил меня на цепь, подобно

тому, как его предшественник приковал моего предшественника. Он ведь господин, а я его раб.

Мадех очутился на улице, постепенно озарявшейся красным светом. На горизонте показалось солнце, подобное кровавому диску, и облака алели, как куски мяса. Рим при отвратительном свете этого утра казался еще мрачнее.

Глубокая печаль не покидала Мадеха, пока он не пришел к Геэлю, мирно насвистывающему свою сирийскую мелодию под шум движущегося гончарного круга, на котором розовая глина мягко превращалась в сосуды, похожие на лиры и сердца; Ганг непрерывно расписывал их, а Ликсио украшал ручками в виде лап и шей животных.

VIII



Линекей пробуждался среди шума встававших женщин и осторожно ходивших евнухов, одетых в желтые и белые митры, со звенящими массивными серебряными кольцами на руках. Одни рабы бежали с горячей водой в сосудах или рассыпали по полу цветы и золо-

той порошок в виде дорожек и звездочек; другие несли занавеси из зал, чтобы выбивать их и потом снова вешать на высоких стенах с изображениями лазурных горизонтов среди неподвижных сардониксов.

Проходили часы; жизнь, точно в муравейнике,

кипела в утреннем воздухе, полном сильных ароматов и запаха кубиков, в полусвете которых виднелись низкие лежа на колонках из золота, серебра и янтаря; на постелях сидели женщины с обнаженными грудями, мечтая о ночи, проведенной в наслаждениях и желая еще ночей, полных лихорадочных поцелуев.

Как и Сэмиас, они побывали с лупанарах в прошлую ночь, которую так тяжело пережил Мадех, и теперь они, утомленные, отдыхали, моргая от смутного, неясного освещения окон, со вставками из слюды, за которыми расстилался сад, полный густой и душистой растительности.

Атиллия проснулась в круглой комнате, где когда-то ее застала Сэмиас. Прибежала Хабарраха, вытащила ее из постели, поставила на шкуры пантер и, не переставая морщить лицо, сказала:

— Тебе нужна ванна, потом массаж и полировка пемзой. Твое тело пахнет лупанаром, и это не идет к такой молодой женщине, как ты!

Она посадила ее к себе на колени, как ребенка, и завязывала ей сандалии, приговаривая:

— Сейчас придут причесывать тебя и румянить! Пусть хоть они на угадают, где ты провела ночь!

Она остановилась, потом прибавила:

— А главное, с кем!

Но Атиллия протирала глаза, зевала и иногда схватывала зубами худую черную руку Хабаррахи, одевавшей ее:

— С Императрицей, со Светлейшей, с Госпожою и Матерью Божественного! Какое значение это может иметь для мира? Разве только твой супруг, Зописк, захочет написать об этом поэму?

Атиллия громко рассмеялась, совсем пробудившись от этой шутки.

— Да! Если Зописк пожелает, я дам план будущей поэмы и в случае надобности изображу ее в лицах. Ты не будешь ревновать?

Хабарраха сделала гримасу своим беззубым ртом.

— Нисколько! Зописк бессилен теперь. Хабарраха все взяла от него.

Атиллия задумалась, как будто упорное воспоминание тревожило ее. Наконец, она спросила:

— Уверена ли ты, что то не был Мадех?

— Нет. Если бы то был Мадех, он бы сказал. Без сомнения, Мадех умер.

Атиллия сделалась недовольной:

— Я пошла со Светлейшей Сэмиас только потому, что считала его мертвым. Конечно, я не стала бы отнимать Мадеха у моего брата Атиллия, но мой брат Атиллий ранен и он не узнал бы ничего. А кроме того, я так любила Мадеха. Он овладел мною с такой силой! Мой брат Атиллий, которому теперь неприятно меня видеть, заслужил, чтобы у него взяли Мадеха; так не прогоняют вольноотпущенника!

Она болтала, а Хабарраха слушала, опустив свои длинные руки.

Наконец, Атиллия заключила:

— И потом, я так желала бы ласк Мадеха. Уверяю тебя, другие мужчины не ласкали меня так. Они похожи на животных. Он был ласков, нежен, ароматен; он так дрожал и я дрожала, и мы были взволнованны видом друг друга, и он дарил мне наслаждения, которых я не испытывала потом. Ты мне советовала, и Светлейшая Сэмиас взяла меня с собой.

Что же извлекли мы из этого? Утомление тела и сомнительное наслаждение. И я не замужем и все еще считаюсь девушкой. Уверяю тебя, что там нет наслаждения, поверь мне!

Женщины причесали и нарумянили ее, потом, сопровождаемая целой вереницей евнухов и рабов, она направилась к Сэмиас. Занавеси дверей скользили перед ней; звуки лир слышались в коридорах, белевших в солнечном свете. Иногда проходили аргираспиды в матовом блеске доспехов, ударяя серебряной палицей в серебряный щит. И залы дворца дрожали от шума мужских голосов, и мелькали их развевающиеся тоги, иногда окаймленные пурпуровой сенаторской полосой. Но в помещениях Сэмиас было тягостное молчание; приближенные отстранялись от нее, и казалось, что Маммеа привлекала к себе всю жизнь и движение.

Сэмиас, пышную, с глазами, резко обведенными черными чертами, набеленную и нарумяненную, с тройной прической, осыпанной золотом и жемчугами, точно угасающими звездами, с широким ожерельем на нервной шее, и с голубыми сардониксами в ушах, одевали рабыни, над которыми она, полная, возвышалась. Не совсем еще пробужденная, слабая, она моргала глазами в полусвете кубикеры, когда появилась Атилия с пышной свитой, с колеблющимися опахалами из павлиньих перьев, сиявших синими, желтыми и изумрудными камнями.

— Мать Антонина забыта для матери Александра. Ты, по крайней мере, помнишь обо мне!

Она говорила это без горечи, скорее, с добродушием, свойственным ей. Она не была ни жестокой,

ни себялюбивой, ни снисходительной и великодушной, тогда как Рим окружил ее легендой об убийствах, которых никогда не было. Половая распущенность в особенности обессиливала ее, и безвольная, она жила теперь с полууснувшим сознанием.

Отдаленный шум достиг их ушей. Сэмиас вздрогнула, а Атиллия, задумавшись, почувствовала себя охваченной беспричинной тревогой.

— Они хотят моей смерти, смерти Антонина и твоей смерти, Атиллия, — сказала Сэмиас, спустив ноги на пол и полулежа на кровати. — Мы им позволим это, не так ли? Зачем жить?

И она отдавалась воспоминаниям, унылая и расстроенная, тогда как неясный образ изредка возникал во мраке ее души.

— У тебя лицо твоего брата, — сказала она вдруг Атиллии, ответившей ей сейчас же с нежностью:

— Он очень страдал от раны, но скоро Рим увидит его во главе гвардии Антонина.

— Мадех, наверное, ухаживает за ним?

И в этом вопросе вновь оживало острое чувство ее любви к Атиллию, омертвевшее в ее душе, — точно существо, зачахшее без воздуха и света, оживало вместе с ревностью к вольноотпущеннику, потому что она не знала об его изгнании: Атиллия ей ничего не сказала.

Эти признаки былой страсти возникали главным образом после ночей наслаждения. Тогда вместе с наступавшим утомлением, точно из богатой темной почвы, полной жизни, возрастали прелестные цветы чувств и сожалений, и неведомая поэзия смутно просыпалась в ней, вызывая видения фиолетовых небес и природы из золота и роз. Новая душа отделялась

от ее существа и одухотворяла ее ощущения, хотя она и не совсем сознавала это, точно другая личность овладевала ею. Она страдала от этого, жестокая мука охватывала ее, заставляя ее забывать обо всем и сокрушая ее.

Они не решались вызывать воспоминания прошлой ночи. Глядя в лицо друг другу, они стыдились самих себя, чувствуя, как безвозвратно погружаются в грязь и мрак, жаждавший их. Этим ночным воспоминаниям они предпочитали яркий дневной свет страсти, пронизывающей душу: Сэмиас к Атиллию, и Атилли к Мадеху, — несмотря на то, что он полон нерешительности.

Сэмиас встала и, опираясь на Атиллию, направилась в сад. Евнухи в митрах из кожи пантер разгоняли перед ней рабов и клиентов; вооруженные преторианцы становились в ряд среди листвы деревьев, томных ветвей кипарисов и зелено-розовых кустов, испещренных кроваво-красными цветами. Они оставались молчаливыми. Иногда пронзительные вопли труб прорезали воздух. Вдали, под округлениями белых портиков, с важным видом проходили сенаторы и трибуны, направляясь к Маммее. Над разношерстным, пустынным перистилем поднималась башня, воздвигнутая Элагабалом, мрачная и варварская, окутанная в гиацинтовый, багровый и малиновый цвета. Тогда, содрогаясь, удрученная, встревоженная в глубине души, она побледнела под слоем румян и пошла обратно вместе с молчаливой Атиллией, проникнутая непреодолимым желанием увидеть Элагабала там, в Старой Надежде.

IX



аб, пропусти Атту, несущего Империю Ее Светлости Маммее. Перед Аттой тотчас открылась маленькая дверь сада, аргираспиды давали ему дорогу, важные люди смотрели на него, скрестив руки на красивых складках тог, с обнаженными головами. Его уже знали здесь;

его имя даже было скромной надеждой некоторых, не забывших помощь, оказанную им Маммее во время восстания. И Атта торжествовал, в чистой одежде, с манерами ученого, едва избегнувшего жизни паразита. Партия Александра щедро доставляла ему средства, и он жил с единственной заботой свергнуть Черный Камень ради торжества христианства и при этом падении Империи занять такое положение, которое поставит его во главе христиан и защитит от нужды.

С таинственным видом Атта вошел во дворец, к возраставшему удивлению приближенных и рабов, говоривших себе, что этот человек, должно быть, обладает каким-то талисманом, если его так принимает Маммея. Им было еще удивительнее, что сестра Сэмиас, услышав его имя, медленно возвратилась в свои покои, куда он последовал за нею, за занавеси входа, раздвинутые рабами, появившимися из углов коридоров, из полумрака, среди которого блестело вооружение преторианцев: их шлемы и панцири.

Атта остановился перед ней, не падая ниц, не опускаясь на колени, но сохраняя спокойствие перед

ее красотой и упорным взглядом. Маммеа ждала от него важных сообщений, и теперь он, гордый и возбужденный, уверенно смотрел на нее.

— Ты это утверждаешь? — сказала Маммеа, в глазах которой сверкали искры. — Ты думаешь, что час наступил? Легионы, наконец, желают покинуть Нечистого ради моего возлюбленного Александра?

Атта повторяет свои слова. Целыми днями он внушает солдатам мысль низвергнуть Императора, потому что это сделает их господами Рима, по горло насытит их золотом и вином, отдаст в их власть прекрасных жен сенаторов, друзей Элагабала, прекрасных дочерей из восточных семейств, последовавших за ним из Эмесса. Лагерь преторианцев трепещет в страхе, ожидая такого погрома, и теперь достаточно одной искры, чтобы все воспламенить.

— Ты думаешь, ты думаешь?

Маммеа упорно повторяла эти слова, в то время как Атта угодливо распространялся. Все устроил Атта, и победа близка, к тому же без ужасной опасности нового столкновения между христианами и солдатами.

— Преторианцы не нападут больше на христиан, потому что знают, что христиане тебя поддерживают. Правда, есть еще восточные христиане, которые будут защищать Элагабала, но это не имеет значения: они не угодны Крейстосу.

Он думает при этом о Зале, Севере, Геэле, о всех, кто считает перса своим духовным руководителем, о всех, кто присутствовал на восточных собраниях, слух о которых дошел до него: там кровь каждого, извлеченная уколom золотой иглы, собирается в золотую чашу, откуда все пьют, и преторианцы, исполнители гнева Крейстоса, воздадут им должное в тот день.

— Да! Преторианцы расправятся с ними, Светлость, потому что обряды восточных христиан сблизают их с мерзостным Элагабалом. Меч воинов убьет Геэля, Северу, Заля, всех последователей извращенного учения о Крейстосе.

Он воспламенился:

— Надо посеять смуту среди преторианцев, уверив, что Элагабал хочет убить твоего сына. Завтра же я покрою грязью статуи Александра, и ты обвинишь в этом Императора и Сэмиас. Я буду действовать. Если преторианцы будут тревожиться о твоём сыне, я подниму их и направляю к дворцу Старой Надежды.

И, вновь охваченный ненавистью, он продолжал:

— Преторианцы убьют их всех, и Крейстос не потерпит позорного извращения его учения. Смерть Залю! Смерть Севере! Смерть этому Мадеху, вольноотпущеннику Атиллия, который вчера еще присутствовал на их собрании и, без сомнения, научил этих нечестивых христиан таинствам Черного Камня, жрецом которого он был! Я следил за ними и знаю это. Риму нужна кровь, чтобы омыть его от беззаконий, чтобы небо над городом стало ясным и видело только два трона, высоко стоящих на земле: престол Крейстоса и престол твоего сына над обновленным человечеством. Кровь, как огонь, очищает все!

— И Сэмиас умрет? — спросила Маммеа, вспомнив, что все же они родились от одной матери, но и подумав при этом о неизбежности убийств, потому что остановить разнузданных преторианцев будет некому.

Атта все так же жестко ответил:

— Да! Сэмиас и Элагабал, и Атиллий, и все, все вместе с Северой, с Мадехом, с Залем! Если ты этого

не хочешь, я уйду, ты не увидишь меня больше, и Крейстос покинет Рим и тебя.

Он и впрямь готов был уйти, но Маммеа взяла его за руку.

— Нет, останься! Скажи мне, что мой сын восторжествует над Западом и Востоком, что он станет Божественным Императором, и что конь его будет попирать поработленную землю. Скажи мне это и действуй для него, действуй для меня!

В этот миг она была очень красива, — с большими ясными глазами, белой кожей, прямым носом, твердым подбородком, с прической, подвязанной золотой лентой, с высокой талией и выпуклой грудью под пурпурной паллой, затканной драгоценными камнями и металлами. Туман честолюбия, жаждущего удовлетворения, окутал ее лицо, которое алеет, как кровавая заря. Во дворце продолжается шум: трубы звучат в разных концах; оружие сверкает вдали; листва деревьев в саду мрачно шелестит, словно оттуда исходит шепот убийц. Можно подумать, что Маммеа слушает его с наслаждением, она высовывается в округлое окно, вдыхая запах свежей крови, который там уже чувствуется. И Атта, позади нее, смотрит. Рим расстилается внизу: на его улицы и площади словно оседает золотисто-красный туман, как покрывало, пропитанное кровью, придавая всему городу живописность Мацелла, мясного рынка, а жителей — пешех, едущих верхом или покачивающихся в носилках — всех до единого как бы облекая в красные, с облаками пламени, одежды.

Временами группы людей, узнавая Маммею, направляются ко дворцу с другой стороны сада и приветствуют ее; солдаты и офицеры бегут с какими-то возгласами; ей выражается преданность безымянной тол-

ны, осуждающей Элагабала. Как раз в это время Сэмиас, печальная и утомленная, возвращается с Атиллией, и сестры обмениваются быстрым взглядом. Неприимный и холодный взгляд Маммеи, печален и покорен взгляд Сэмиас! Одна из них видит свой головокружительный подъем вместе с Александром, другая — гибель вместе с Антонином; одна будет жить в Императорском дворце, — и народ падет к ее ногам, а войска в ее честь заполонят землю с поднятым наготове оружием, другая униженно умрет, среди насмешек толпы и надругательств преторианцев.

Скоро Сэмиас скрылась; Маммея обернулась и встретилась глазами с Аттой, сильным и торжествующим.

— Я сказал тебе, Рим за тебя, — проговорил он, — ибо через тебя Крейстос воцарится над Римом.

Х



эмиас и Атиллия, сопровождаемые Хабаррахой, покинули дворец с необъяснимым страхом и, чтобы их не узнавали на улицах, оделись подчеркнуто просто. На Палатине они попали в громадную толпу, ревущую и размахивающую руками, здесь же мелькали кру-

пы лошадей, запряженных в колесницы, — их возницы щелкали кнутами. Все это было пронизано атмосферой бездумного ликования, словно люди впервые увидели мир и погрузились в него без остатка. Они сновали взад-вперед, при этом оказывая

друг другу знаки пристального внимания: патриции ворчали на клиентов; рабы отстранялись от ударов; педагоги вводили детей; женщины в носилках делали знаки отвратительным субъектам с гладкими лицами евнухов, и на ступенях портиков поэты читали перед сидящими критиками с широкими спинами, напоминавшими бурдюки. И никто не говорил ни об Элагабале, ни об Александре; никто не думал об Империи, — принадлежит ли она Черному Камню, или должна принадлежать Зевсу, Озирису, или христианам. Был прекрасный летний день с мягким ветром, пенившим воды Тибра и колеблющим зелень патрицианских садов. Жара поднималась от мостовой, вызывала на лицах испарину, отираемую углами тоги, расслабляя нервы, зажигая глубокие глаза, горячие глаза толпы, без сомнения, мечтавшей только о наслаждениях. Иногда неизвестные руки забирались под одежды женщин и касались их тела, а когда те оборачивались, слышался сдавленный смех, и мужчины шепотом звали их с собой в какой-нибудь лупанар.

Но все время продолжался прилив этой огромной толпы, спускавшейся с Палатина на форум. На нем теснились фасады храмов с правильными колоннадами портиков, похожих на стволы деревьев, оплетенных окаменевшими листьями; статуи и высокие ростры, журчащие фонтаны, обелиски, триумфальные арки, прорезывавшие белизну улиц, конусы строений вздымались к небу, красноватому, как слегка окровавленный щит, словно грозящие руки. И никакой опасности восстания не чувствовалось среди густой толпы и ничто не говорило о предполагаемом конце Империи.

Сэмиас и Атиллия окунулись в эту атмосферу как в спасительное блаженство, радуясь даже прикоснове-

ниям к ним мужчин. Они неосознанно отдались воле толпы, хотя в ней ни разу не промелькнуло даже мапо-мальски знакомого лица. Здесь Сэмиас уже не чувствовала себя матерью Императора, а Атиллия — знатной патрицианкой, их блестящая жизнь отошла в прошлое, уступив место новым, странным ощущениям, заполнившим их восхищенные сердца как бы звуками дотоле не слышанной мелодии.

Хабарраха следовала за ними, выделяясь в толпе своим черным лицом с презрительной складкой рта; она тоже отдыхала душой в этой атмосфере, насыщенной крепкими ароматами, запахом кожи и человеческого тела, исходившим из-под шерстяных или льняных субукул. И эти три женщины бесцельно и безвольно погрузились в мир забвения и душевного покоя, усыпавшего в них рассудок. Со сладострастным ощущением, как бы в волнах меланхолии, они шли бессознательно, касаясь своими ногами ног других. Он спускались с Велабра и проходили перед открытыми лавками, где яркие краски товаров пели песню цветов; там были разложены еще не ношенные женские одежды, ткани, затканые золотом и семь раз окрашенные в тирский пурпур, столы, окрашенные в цвет морской воды, шафрана и пафосского мирта, аметистовые паллы, шерстяные ткани, то бледно-розовые, то цвета перьев журавля, зеленого миндаля или желтоватого каштана. В других лавках продавались причудливые опахала из павлиньих перьев, кристальные шарики для женщин, которые держали их в руках, чтобы сохранить свежесть кожи, слоновая кость и дощечки из слоновой кости, на которых писали золотым острием. В других лавках, полных аромата, продавались лекарственные снадобья: цикута и саламандра, волчий корень, сушеный на солнце, сосновые гусеницы, корень мандра-

горы и шпанские мушки, которые поспешно покупали женщины с синевой под глазами от пережитых наслаждений; на смену им приходили другие, осаждая эти лавки, издававшие смрад порока и яда.

Но непрерывное ощущение счастья в фантазиях увлекало их из чрева латинской среды вдаль, за моря, на Восток: широкие небеса оживали пред ними печально и ласково; пышная растительность вставала в воображении, возбуждая в душе музыку диких колыбельных песен. Сэмиас видела себя снова в Эмесе, с прекрасным Антонином, лежащим на ее коленях, когда она кормила его грудью; вспоминала нежную и пытливую страсть к брату Атиллии. Атиллии же виделись золотые пейзажи, лестницы и красные храмы и дворцы на фоне голубых озер, и рядом с нею изящный Мадех. А в воображении Хабаррахи рисовались черные картины чудовищной Эфиопии, где ее насмешливая юность прошла среди племен, пожиравших побежденных под звуки барабанов, обтянутых выдубленной человеческой кожей.

Толпа влекла их по направлению к лавке Типохроноса, стремясь туда с непонятным жадным любопытством. Но там они увидели Элагабала, одетого в плащ погонщика мулов; он сидел на греческой кафедре, подставляя свое белое лицо Типохроносу, которому Зописк делал таинственные знаки. Переодетые юноши заполнили лавку: Гиероклес, Зотик, Муриссим, Гордий, Протоген, — все с густо накрашенными лицами; они смотрели во все глаза на цирюльника, крайне изумленного тем, что ему приходится брить Императора.

В глубине боязливо и неподвижно сидели Аристес и Никодем, уже не сверкавшие своими черными красивыми бородами, рядом с ними банкир, владелец

тысячи рабов, фабрикант ламп и два домовладельца с Палатина, — они пребывали в крайнем изумлении.

— Брей, брей, цирюльник! — восклицал Элагабал. И Типохронос брил его и без того гладкое лицо, с которого не падало ни волоска.

— Брей, брей!

Гиероклес, Зотик, Муриссим и Гордий, с золотыми обручами на кистях рук, с ожерельями на шеях, с кольцами в ушах обступили цирюльника, поражая его непристойными шутками, которые были слышны всем на улице.

— Брей, брей! — снова грубо говорил Элагабал Типохроносу, на которого Зотик смотрел, таинственно подмигивая. И бритва грека ловко бегала от красивого подбородка к вискам с синими прожилками, снимая пену гальского мыла, покрывавшую прекрасное лицо Императора со странными глазами.

— Брей, брей здесь!..

Элагабал быстро обнажился и, откинув голову, уперся ногами в стену, глухо смеясь; а приближенные тоже кричали:

— Ерей, брей здесь!

Типохронос нерешительно приступил к делу, но Элагабал встал и бросил ему кошелек с золотом.

— Возьми! Перед тобой был Антонин, но чтобы никто о том не знал, ты понял?

Он крикнул ему это и стал расчищать себе дорогу, проталкиваясь через толпу, молчаливую и презрительную, тут же смыкавшуюся за ним и Зописком.

Император, завернувшись в плащ погонщика мулов, направился к форуму, окруженный своими любимцами. Он сказал Зописку:

— Твой цирюльник, которого я теперь знаю, очень

неловок. Он не снял у меня ни одного волоска. Типохронос обокрал меня!

Он рассмеялся, ничуть не пугаясь тысяч римлян, идущих за ним следом. Вдруг, словно повинувшись внезапному приказу, на толпу налетели катафрактари, ведомые Антиоханом и Аристомахом, и стали разгонять ее ударами копий. Вслед за ними стремительно пронеслись другие турмы, а из лагеря преторианцев консулы и префекты уже подводили манипулы. Народ разбежался, и вскоре Рим успокоился. Император со своими спутниками взшел на поданную им колесницу, направляясь ко дворцу Старой Надежды, а Антиохан, верхом на коне, тащил за бороду кричавшего Зописка.

Сэмиас, Атиллия и Хабарраха смотрели на это бегство народа и триумф Императора, и Рим показался им подлым, а человечество низко павшим. И они с новым наслаждением отделились своим мечтам, уносившим их от жизни в эфир и небытие.

XI



они вошли в Старую Надежду через дверь, служившую только для рабов. Во дворце слышался резкий топот шагов, громовой рев сигналов, крики зверей и удары копий о щиты. Хабарраха одела Сэмиас и Атиллию в торжественные одежды, сверкающие золотом и драгоценными камнями, под неистовые звуки труб евнухи отвели их к Элагабалу, не к отверженному

погонщику мулов, каким он только что представал перед тысячами римлян, но к Императору с белой бархатистой кожей, в ослепительной тиаре, в одежде, настолько густо обшитой золотом, что он, казалось, сгибался под ее тяжестью, и в сандалиях, ленты которых высоко обвивали его ноги. Теперь он являл собой как бы пышное восточное божество, сияющее в блеске исходящих от него же лучей. Его окружали люди в золотых одеждах, с золотыми головными уборами, с голубыми, желтыми и зелеными камнями на митрах; маги в священных позах, с завитыми бородами, благородно лежавшими на их малиновых сарписах; жрецы Солнца, с порочными движениями чресел; приближенные, касавшиеся своими одеждами доспехов офицеров, стоящих позади как бы по линиям веера, точно хвост огромного, ослепительно яркого павлина. И все пели в медленном ритме, прерывавшемся резкими возгласами труб, гимн Венере, выражая ей сожаление о том, что она лишилась Адониса; звуки лир, цистр и флейт разносились по отдаленным кубикулам среди мерного ритма пляски. В храме Солнца, в самой гуще дня, невзирая на опасность, готовились поставить сцену смерти Адониса и скорби Венеры; и Император с приближенными, собираясь туда, словно желал снова бросить вызов вечному городу, небо которого, становившееся все более алым, казалось кровавым озером.

Сэмиас и Атиллия пошли вместе с евнухами, поддерживавшими их пурпурные паллы, под звуки резкой музыки, в волнах фимиама и среди могучего пения гимна, оплакивающего Адониса и Венеру. Мужчины и женщины, которых они не узнавали больше, присоединялись к шествию; скованные це-

пями звери били хвостами своих сторожей, которые ударяли их железными прутьями; толкались слоны; повсюду сверкали золотые копыя и золотые щиты, круглые и похожие на желтые глаза. Сэмиас и Атиллия не говорили между собой, не слышали ничего вокруг — их души словно умерли, пораженные вялостью тела, тратой сил и общим утомлением всей плоти, которыми раздраженная Природа мстила со слепотою Рока.

Они вышли из дворца Старой Надежды под пурпурным балдахином, который несли над ними евнухи с гладкими лицами бесполох мужчин. Элагабал вошел на колесницу, а мужчины посадили Сэмиас и Атиллию в носилки, качавшиеся на плечах сильных рабов, вскрикивавших от жестоких ударов бича; и всадники в чешуйчатых латах, со станом, гибким, как у чудовищных ящериц, гарцевали на блестящих, нервно вздрагивавших конях. Потом величественный вид Рима предстал перед ними: мелькали целые кварталы, масса народа, ослепленного шествием, теснилась у окон, на террасах и под портиками; чередовались всевозможные звуки, — а они возвышались над всем в своих носилках, ласково их укачивавших. Шумели вокруг них тимпаны, погружаясь в веселую музыку флейт, резкий звон цистр и отрывистые звуки высоко поднятых лир. И даже только что отрубленная голова на конце копыя участвовала в шествии, человеческая бородатая голова кого-нибудь из восставших, быть может, против безумия Императора, — голова, отрубленная преторианцами, пролившими кровь, которую быстро впитала мостовая.

Они поднимались по ступеням храма Солнца с белым, как снег фронтоном, блиставшим на красном фоне

исба. Праздничные звуки процессии сменились нестройным гулом толпы, желавшей узнать, что там будет происходить. В храме Элагабал воссел на трон, поддерживаемый атлантами из массивного серебра, ноги которых опутывались гигантской пальмовой листвой, а на спинке трона были вырезаны символические изображения змей, кусавших себя за хвост, и рогатые головы быков над скрещенными факелами.

Сэмиас и Атиллия сели на греческих окладиях, покрытых золотой тканью, другие патрицианки разместились вокруг них или встали перед рядом малиновых магов. Тут же полунагие плясуньи понеслись в священном ритме среди круглой залы, освещенной через большое круглое отверстие в своде.

Затем Император вступил на возвышение, усыпанное порошком шафрана; голый, с повязкой на чреслах, чтобы лучше походить на женщину, он сначала показывал всем свое белое тело и белое лицо, а после, извиваясь и стеноя, стал оплакивать Адониса, принимая пластические позы удрученной Венеры. И Император читал поэму Зописка о Венере, в которой говорилось про все: про страстные поиски в Африке и Азии прекрасного отрока, сдвинутые с места горы, срубленные леса и фиолетовые моря, которые сочувствовали ей, звери, все звери земли следозали за ней, а боги и богини в белоснежной наготе в своем апофеозе пребывали на небесах, усеянных мифическими птицами и светилами, рожденными из рассеянной тьмы! Храм огласился громким пением; плясуньи, теперь совсем нагие, понеслись еще быстрее. Маги машинально повернули свои завитые бороды к Элагабалу, приближенные обнажались, евнухи издавали крики скорби, — и все вокруг,

подобно Олимпу богов, стало сверхъестественным фоном религиозной грезы, осуществляемой в торжестве и славе, озаренной факелами, сиявшими у высоких колонн, повешенные щиты которых бросали золотые отблески.

Гиероклес, Зотик, Гордий, Протоген, Муриссим появились на возвышении. Элагабал отдавал себя объятиям мужчин, и евнухи жадно смотрели на него, холодные Маги волновались, плясуньи приветствовали его сладострастной пляской, многие повторяли восторженные вздохи распростертого Императора.

Маги поднялись на возвышение, а Элагабал, окруженный своими приближенными, сошел вниз, и тогда люди повлекли туда визжавших детей, детей патрицианских семей, и убивали их среди страшных воплей, точно среди криков ягнят. Золотой нож быстро погружался в нежное тело содрогавшихся жертв, и из красной раны на груди текла кровь, брызги которой попадали Элагабалу и его фаворитам на затылок, на голову и на голое тело. И маленькие трупы нагромождались перед магами, которые продолжали петь в своих малиновых одеждах, среди крови, на возвышении.

Живые существа и предметы исчезали в пении гимнов, воплях труб, гуле тимпанов, ударах золотых копий о золотые щиты. Снаружи оставались всадники на высоких конях, колесницы и одна лектика. Шествие как бы под напором ветра возвратилось в Старую Надежду по совершенно пустым улицам: народ не хотел ничего больше слышать и видеть.

День угасал в мерцаниях вечерней зари, зажигавшей восток и запад, север и юг, горизонт и зенит. И в небе проходили необычайные картины: скрещива-

лись мечи, тихо поднимались копыта в волнующемся зареве крови, точно бешеная резня была там, за пламенной завесой. Необычные трубы звучали над Сэмиас и Атиллией, и то не было плодом их расстроенного воображения, а действительно, в небесах гигантские трубы в чудовищных руках звучали от дыхания какого-то бога. Они возвращались в Старую Надежду в торжественном императорском шествии, при блеске нагих тел и одежд из золота, шелка и драгоценных камней, со слонами, колесницами и конями. Здесь же, на копье, возвышалась отрубленная голова — мертвые глаза смотрели на них, по бороде текла кровь, темнело круглое отверстие перерубленной шеи, — и голова колебалась, зловещая и мрачная, как луна среди небытия.

Дворец осветился огнями гигантских светильников; оргия гремела в залах, атриях, перистильях, кубулах, на ступенях простиля, на лужайках садов; на желтых озерах ладьи с изукрашенными кормами, полные нагих женщин, тихо скользили под звуки лир и плачущих флейт. Сэмиас и Атиллия шли среди непрерывных оглушительных звуков золотых труб. И они уходили все дальше, мимо постоянно сплетающихся и движущихся тел, сверкающих своей наготой, вздохов наслаждения, которые уже не нарушали спокойствия их душ.

В большой зале на сигмах, окружавших тренажники, покоившиеся на золотых сиренах, Элагабал возлежал со своими приближенными, насытившимися кушаньями и напитками. Чаши, голубые, розовые, белые с непристойными изображениями, покрывали пол; свет канделябров, с подвешенными на цепях дымящимися лампами, освещая объятия обнажен-

ных тел, бедра и чресла, дрожащие, багровые в горячих извивах.

Раздались крики: кто-то яростно требовал смерти Александра; другой настаивал, чтобы сенат лишил его титула Цезаря; третий клялся убить Маммею, главную виновницу того хаоса, в который погружалась Империя; иные бранили Элагабала за его добродушие; некоторые уверяли, что обещание наград и почестей удалит Ульпиана, Венулея, Сабина и Модестина от Матери и Сына, устраивающих заговоры; железо, яд, звери и удушение предлагались одно за другим как средства наказания. Но Элагабал отрицательно качал головой, пытался не соглашаться, далекий от того, чтобы действовать. И он смотрел на Сэмиас, хранившую молчание, и на Атиллию, которая ничего не понимала.

Между тем Гиероклес принудил его подписать какой-то акт, письмо к сенату об отнятии цезарства у Александра, мужи готовились убить Отрока, и приближенные напоили Императора до того, что он пьяный, с побагровевшим лицом, икая, свалился под сигмы; оттуда подняли его рабы в припадке отвратительной рвоты.

Сэмиас не могла остановить роковую подпись и в еще большем изнеможении духа удалилась с Атиллией. Они покинули Старую Надежду и скрылись в ночи, без луны и звезд, без света, без ветра и без всего, что напоминало бы о жизни. В темноте улиц не видно было домов; площади, едва прорезавшие мрак полной тьмы, точно тонули в какой-то густой реке, пока тяжелая заря не занялась в небе, высветив восток. Она медленно поднималась, словно обезглавленный великан с окровавленной

грудью и израненным чревом. И Рим снова окрашивался пурпуром, будто на него накатывались волны крови, готовые его поглотить.

XII



эту ночь опять собирались восточные христиане, но не в Транстиберине и не на Виминале, а на Ардеатинской дороге, в развалинах латинского храма, опутанного ползучими растениями и соединенного тайными ходами с катакомбами, прорытыми в песчаном

грунте. Геэль привел туда Мадеха, плывшего любовью Крейстоса, и таинства Жизни, причащение кровью в золотой чаше и общение мистической любви, — все совершилось. И Мадех в отчаянии не противился объятиям христиан в мягком фиолетовом свете гаснущего светильника. Добрый Геэль пел гимн Агнцу, восторженный гимн, возносивший его надо всем земным. Потом друзья вернулись в Транстиберин через Кампанию, по Аппиевой дороге, через Померий, и прошли по Сублицийскому мосту через Тибр, казавшийся не желтым, а красным, как поток лавы, вытекающей из растерзанной земли.

Заль и Севера направились по коридору кладбища с прямыми стенами. Лабиринт могил вел вглубь, испещренный нишами для мертвых тел с надписями, аллегориями, крестами, буквами Т, с голубями над краем ваз и с рыбами, плавающими в чистой воде с

изредка белеющей пеной. Царил полумрак, свет исходил из глубины, через какое-то отверстие, и чем дальше они шли, тем все больше было могил, ниш и саркофагов в аркосолиях и кубикулах.

— Вот могила, которую я выкопал вместе с Магло! Сюда ты велишь отнести мое тело, когда моя душа покинет его, чтобы соединиться с Крейстосом. Я устроил это место, украсил его, наполнил ароматами для последнего успокоения, — быть может, близкого, — в тот день, когда ты принесла цветы в мою комнату, помнишь?

Заль сосредоточился на мысли о смерти, в которой находил особое наслаждение. Вздрагивая, она прижалась к нему.

— Нет, не одного тебя принесут сюда, но вместе со мной, также мертвой!

Она все больше возбуждалась. Руки ее смутно касались тела Залья, и, вздыхая, краснея и волнуясь, она сказала:

— Почему, брат, нам не поступить подобно другим, почему мы не завершим нашу любовь в мире Крейстоса?

Ее целомудрие исчезало теперь без борьбы; она чистосердечно предлагала ему свое тело, содрогаясь в лихорадке. Но Заль покачал головой и отстранился от ее рук:

— Нет! Наши души будут омрачены, пойми это; подождем смерти. Мы соединимся в лоне Агнца.

Севера приблизилась к нему с мольбой:

— Так не води меня больше на собрания восточных христиан!

Они спускались вниз, и тьма сгущалась, едва прорезываемая светлыми линиями саркофагов и гроб-

ниц. Запах тления сдавливал им грудь, и они прижались друг к другу, молчаливые и подавленные. Рука Северы бродила по телу Заля, который отпрянул:

— Нет! Нет! Оставь! Я не смогу больше любить тебя, сестра, если ты будешь касаться меня.

И он отстранился от нее, суровый и нежный. Она подошла к нему и горько сказала:

— Прости! Я это сделала не нарочно. Если Крейстос того хочет, я обуздаю себя, я совладаю с собой, но не води меня больше на собрания восточных христиан.

Наступило молчание, которое вдруг прервал Заль:

— Мы недолго будем ждать, сестра, всего несколько дней, ибо Крейстос говорит мне, что скоро конец.

Они пошли назад. Возрождались свет, и очертания гробниц выделялись определеннее, уже виднелись залы в глубине коридоров. Все было чисто, тихо и мирно, ничто живое не встретилось им в этом приюте успокоения: ни зверь, ни человек... никого, никого! В дрожащих лучах света их тени колебались на стенах, часто сливаясь, и они восхищенно смотрели на их единение.

Несомненно они приближались к выходу на Кампанию, потому что каждую минуту расширялся свет, пучки солнечных лучей проникали сквозь невидимые отверстия, позлащая золотом едва очерченную живопись. Неожиданно раздался какой-то шум, и это удивило Заля.

— Мы, должно быть, находимся около лагеря преторианцев, — проговорил он.

Действительно, они попали в покинутый аренарий в глубине узкого оврага, и там нашли выход из кубиков среди кустов терновника, высоких, как жерт-

венники. Они поднялись по склону, покрытому сожженным солнцем песком и оттуда увидели в левой стороне весь Рим, а прямо перед собой — лагерь преторианцев, оглашавшийся громкими криками.

— Я это предчувствовал, — произнес Заль. — Крейстос мне сказал.

Он поднял руки, и солнце озарило его лицо с тонкими чертами и короткой бородой, с глазами, устремленными к красному небу. В приливе печали он взял руки Северы, которая вздрогнула. Она попыталась увлечь его в глубину оврага, где, быть может, она победила бы его упорное целомудрие. Но он только поцеловал ее в лоб, чувствуя в себе прилив чистых грез в это утро, когда солнце напоминало гнойный глаз гиганта-циклопа:

— Смотри, преторианцы восстают; они убьют Элагабала, и мы, соединившие Черный Камень с Крейстосом, разделим участь Императора.

И он повел ее по направлению к Риму, не оглянувшись на лагерь.

— Но мы не должны допустить гибели Элагабала, — продолжал он, — нет, мы не должны! Элагабал невольно помогает торжеству Крейстоса. Вместе с Геэлем и с другими мы окажем сопротивление преторианцам, Маммее и ее сыну. Благодаря Элагабалу расширяется милость Крейстоса; Агнец явно побеждает. Крейстос хочет спасти Рим, который все более и более погружается в порок, преступление и грязь.

Он оживился и быстрее зашагал по середине дороги, где бежали перепуганные люди.

— О, горе, горе! О, горе! Блудница хочет возлечь на другое ложе; ей мало крови мужей и крови жен; она хочет еще больше. Но Крейстос велик; он не

даст ей погрязнуть в скверне, пока она не взмолится о пощаде ему, Агнцу, трижды святому, который спасет ее, но без Императора и без Цезаря!

Потом он стал снова нежным, и им овладели прежние предчувствия:

— Я чувствую это, я не останусь в живых. Ты знаешь место, ты прикажешь меня отнести туда, и я буду ждать тебя на лоне Всемилосердного и Всемогущего. Народ ненавидит не только Элагабала, но и всех, кто радовался его воцарению, и мы принадлежим к ним, потому что Крейстос приказал нам помогать Императору, содействуя растлению Рима, ради торжества христианства, еще более сияющего!

Толпы граждан бежали, и всадники, несшиеся бешеным галопом, обгоняли их; где-то позади раздался резкий голос, прерываемый кашлем:

— Да, Руска, это она и это он!

Они обернулись и увидели, что Глиция настигает их. Севера побледнела. Заль удержал руки, потянувшиеся к ней.

— Это твоя супруга, и Крейстос мне не внушал похитить ее у тебя. Возьми же ее, если хочешь: она послушает тебя, потому что супруга должна следовать за супругом.

Его голос, проникнутый гордостью, дрожал, а Севера тихо плакала, закрываясь концом своей паллы. Но Глиция негодовал и бесился:

— Я знал, что она с тобою, она, супруга Глиция. Она была и с Элагабалом, и с Геэлем, и с Магло. Но преторианцы все предадут уничтожению, и вы пойдете с вашим Крейстосом на рудники, куда вас прежде отправляла Империя.

И он показал на лагерь преторианцев, сверкав-

ший оружием. После ухода Северы из его дома, он взял привычку бродить по Кампании, желая ее встретить и избить. Он почти обезумел; в его голове все перемешалось странным образом, и теперь ненависть к сирийским императорам распространилась на восточных христиан. Он не встречал Северу и не хотел из гордости спросить у служанки, где живет его жена, ревниво боясь ее сожительства с Залем и втайне надеясь на ее целомудрие. И он казался еще более безумным, тем более, что теперь перед персом хотел иметь вид немилосердного господина.

— Он сам советует тебе вернуться, и я хочу этого не для того, чтобы тебя простить, но чтобы тебя наказать, отрубить тебе голову, выколоть тебе глаза и разорвать твоё тело. Идем, я убью тебя!

Его кривая рука вцепилась в плечо Северы, которая громко вскрикнула. Это возмутило Заля, его нежность и любовь к Севере взяли верх над апостольским целомудрием — и он набросился на Глициа. Тот выпустил Северу, и она кинулась в объятия перса.

— Спаси меня! Нет, я не пойду с ним! Я не последую за ним!

— Я убью тебя, я отрублю тебе голову и выколю глаза, — воскликнул Глициа, увлекаемый Руской. — Я направлю преторианцев к дому твоего Заля, и твой Заль умрет вместе с тобой. Я велю убить Элагабала, вместе с Геэлем, вместе со всеми, кто обладал твоим телом.

Он кричал им гнусные ругательства, и звуки его голоса терялись вдали. В Кампании появились отдельные всадники и одиночные солдаты. Воздух пот-

рясали крики людей, ржание лошадей, звуки труб; хоботы слонов извивались на горизонте; звери рычали. Из лагеря, как от гигантского костра, поднимался дым, наполняя собой тяжелый воздух; взлетали, рассыпаясь, искры.

— Ты останешься у Геэля, — сказал Заль Севере, — ибо твой супруг, патриций, может направить солдат к нашему дому, и они будут тебя мучить.

Он покинул ее на улицах Рима, целомудренно поцеловав в щеку. Она быстро пошла через Vicus Teacus, пересекла Сублицийский мост и вошла к Геэлю, который спокойно вращал свой гончарный круг. Красноватый луч, пересекая гончарную мастерскую, придавал глине сильную яркость, словно ее только что вынули из печи, освещал неопределенным светом сидевших молча Мадеха и Амона и бросал кровавые полосы на кирпичные стены, загорававшиеся от солнца.

— Ты, сестра? — воскликнул Геэль. Видимо, случилось какое-нибудь несчастье, если она пришла без Заля. — А Заль?

Она сообщила ему про волнение в лагере и слухи о восстании, про разъезды всадников и пехотинцев. Громкие крики раздавались снаружи, народ беспорядочно бежал по улицам, и весь Рим наполнялся все возрастающим шумом. Мадех и Амон тревожно насторожились.

— Если преторианцы восстали, — воскликнул Геэль, — то значит, они идут против Элагабала, и раз Элагабал будет убит, то от этого пострадает вера, как это и предполагал Заль. Мы пойдем спасать его, чтобы восторжествовал Агнец!

Он вышел в сопровождении Ганга и Ликсио; все

трое спрятали длинные ножи под туники. Но через несколько секунд Геэль вернулся и поцеловал Мадеха, Амона и Северу со словами:

— Я возвращусь сегодня вечером. Оставайтесь здесь и, если Кордула будет обо мне спрашивать, не говорите ей, что я пошел к Элагабалу.

Крупные слезы выступили у него на глазах, и он быстро отер их рукой, пахнувшей глиной. Ему хотелось бы казаться отрешенным от мира, не знающим ни дружбы, ни любви, ничего, что могло бы смягчить его сердце, обычно такое доброе.

Севера, Мадех и Амон остались одни в мастерской Геэля: Севера тревожилась о Зале, Мадех смутно мечтал избавить Атиллию от возможной опасности во время восстания, Амон видел перед собою Александрию, куда он решил вернуться. Египтянин, помогая по-своему Геэлю, принявшему его, удвоил число его заказчиков, сбывая его сосуды богатым римлянам. Тем самым он сделал его работу более продуктивной и сумел получить барыш от своей сообразительности. Не вспоминая больше о предательстве Иефунны, он рассчитывал скоро уехать, чтобы на своей родине взять в жены одну из прекрасных девушек, которые купаются в водах Нила, и, быть может, снова скопить состояние продажей египетской чечевицы.

Шум возрастал, хоть и не настолько сильно, чтобы заглушить голос Скебахуса, продававшего свою соленую свинину, которую он спокойно разрезал большим ножом. Но на этот раз покупатели тотчас же бросали его и убегали к Риму, над которым в разных местах поднимался дым в виде широких кровавых столбов.

XIII



здымались копья и дротики, гремели мечи, сверкали панцири и шлемы, развевались кровавого цвета знамена на древках, наполняя блеском лагерь преторианцев, откуда уносились вскачь отряды и увозились военные машины. Все бежали, как после поражения: варвары размахивали длинными копьями рядом с велитами, державшими в руках по семи дротиков каждый; принципы и триарии ударяли мечами в окованные железом щиты; уходили ахейские пращники и арабские стрелки вместе с всадниками на конях, покрытых алыми чапраками; нумидийцы управляли конями без помощи узды.

На заре некоторые из воинов увидели, что статуи сына Маммеи вымазаны грязью и нечистотами. И они взбунтовались, отказываясь от повиновения, схватились за оружие, опрокидывая слонов и нанося побои центурионам, которые пытались их остановить.

Воинов волновало то, что Император, сильный своими легионами, покорностью народа и раболепством знати, ожесточенно преследует ребенка и слабую женщину, постоянно покушаясь на их жизнь. Уже давно возникло глухое сострадание к ним, вызвавшее нападение на христиан в день восстания, по ошибке, о которой теперь, когда выяснилась правда, горько сожалели.

И чаша переполнилась, когда руками Атты нечистоты покрыли статуи Цезаря, когда стали известны письмо Элагабала к сенату и угрозы смерти, раздававшиеся в Старой Надежде в ночь сладострастной и кровавой оргии. Преторианцы полагали теперь, что им поможет Рим, выведенный из терпения этой властью, которая так противоречила его преданиям, которая ввела извращенные культы и обряды, вызывавшие с каждым днем все большее отвращение, и что, наконец, патрицианские семьи, дети которых были зарезаны по приказу Элагабала, также восстанут против него.

Взбунтовались не только простые солдаты, но и отряды блестящих легионеров, набранных во всех частях света, над которыми Атиллий, все еще не покидавший ложа, уже больше не начальствовал и которых Антионах и Аристомах не сумели заставить повиноваться. Они оседлали своих высоких, как башни, коней, повесили колчаны, привязали бронзовые луки, взяли копья с остроконечными знаменами и теперь, несмотря ни на какие увещевания начальников, храбро сопротивлявшихся им, неслись с криками по окрестностям, размахивая копьями. Перед ними мчались Аристомах и Антиохан в красных хламидах, развевавшихся от ветра, с мечами в руках, убивая людей на скаку, сея трупы, стремясь в сопровождении немногих, оставшихся им верными, к городу, источавшему столбы дыма.

Глиция шел к лагерю, очень довольный восстанием, которое освободит Империю от чужестранца. Его гнев против Северы не утихал. Группам солдат он кричал восторженные слова, поздравляя их, ободрял, называл им свое имя, имя Глиция, потомка

римского диктатора Глиция, патриция, у которого один христианин, друг Элагабала, похитил супругу. Солдаты останавливались и окружали его; некоторые хотели увлечь его с собой, смутно желая поставить его во главе, как это бывало с другими, ставшими потом императорами; некоторые клялись наказать похитителя, этого христианина, сторонника мерзостей Черного Камня. Потом они быстро уходили беспорядочной толпой в облаке пыли.

Лагерь, в дыму от сожженных вещей и палаток, с чернеющими копьями, медленно пустел среди толкотни обезумевших вьючных животных, среди последних звуков рогов и труб. Иногда мелькало знамя, древко с фигурой Зевса, руки или с пучком сена; развевалось что-то красное, выступала манипула, проезжали всадники, и их копья выделялись на фоне неба над шлемами, иногда сделанными из раскрытых пасть животных. Потом слышался крик слона, он бежал, вытянув хобот, все расступались перед ним, и он скрывался на горизонте, где едва различалась ревушая масса народа на голых холмах.

— Видишь ли, — говорил Глиция Руске, даже перестав кашлять от удовольствия, — преторианцы убьют Элагабала, убьют Заля с Северой и всех, всех христиан, которые покровительствуют чужестранцам. Я в восхищении, мое старое сердце довольно, и глаза не могут вдоволь насладиться этим.

И он кричал другим солдатам, показывая своим жалким кулаком на Рим, размахивая тогой, шумевшей, как парус лодки, надутый ветром. Какой-то человек так же, как и он, звал восставших идти на город. Он был высокого роста и худ, одет в черное, с бритым лицом, и Глиция узнал в нем Атту, которого

Севера, оказывавшая гостеприимство всем христианам, приняла однажды у себя на вилле незадолго до собрания на Эсквилине, откуда Заль его изгнал.

— Я пойду скажу, чтобы его убили, — говорил Глиция Руске, который тревожно его поддерживал, — это христианин, сторонник Элагабала и друг Заля. Смерть, смерть ему! Ты его знаешь, не так ли, Руска? Ты посоветуешь, вместе со мной, убить его.

Он пошел вперед, охваченный бешенством, прерывисто дыша. Но Атта узнал его и, как бы угадав его мысли, предупредил:

— Ты ищешь Заля, который обольстил твою супругу и который поддерживает Элагабала? Пойдем со мной, я знаю, где он живет, и солдаты убьют его.

Глиция, открыв рот от изумления, мог только проговорить:

— Так ты не за него!

— Нет! Я ненавижу Элагабала, которого Заль защищает вместе с другими последователями извращенного учения о Крейстосе. Это он увлек твою супругу; Крейстос не хочет отделять жену от мужа, а он совершил это, он, Заль. Но Крейстос бодрствует и не допустит, чтобы восторжествовал грех.

Все время выслеживая восточных христиан, Атта узнал об уходе Северы и ее жизни вместе с Залем; поэтому на всякий случай он сыграл на чувстве ревности Глиция. Тот взял его за руку:

— Так как ты знаешь, где он живет, то отведи туда этих солдат, чтобы они убили их обоих; они запятнали имя Глиция, и Глиция желает их смерти!

— Предоставь мне это сделать, — ответил Атта, в холодных глазах которого блеснули кровавые искры. Он тотчас же убежал; его черная туника за-

мелькала среди групп воинов, собравшихся вокруг него; он поднимал руки, как будто звал далекую помощь со стороны горизонта, полного восставшими войсками, непрерывно выходявшими из лагеря.

— Этот христианин честен, Руска! Он не хочет власти Элагабала и отвергает Заля. Видишь ли ты, как он зовет солдат? Пойдем за ним; он скажет, чтоб убили их обоих, и имя Глициа будет омыто от грязи, которой его покрыла Севера!

Он направлялся к Риму и в то же время дрожал, не желая сознаться самому себе, что, несмотря на свою ярость, он боится за Северу, которую он все еще любит. Но Руска глубоко вздохнул и сказал:

— Она твоя супруга и, быть может, она не виновата, а солдаты будут ее истязать. Не лучше ли ее спасти?

— Ты прав, — сказал наконец Глициа, и вдруг заплакал. — Ты прав. Несмотря на все, я чувствую любовь к ней. Разве она не моя супруга? Да, да! Предупредим этого христианина!

Они побежали, а сзади них раздались восклицания. На холме стоял в огромной круглой шляпе, в коричневом плаще человек, размахивая большим посохом. То был Магло; он прибежал на шум восстания и теперь обращался с горячей речью к солдатам, дружным потоком идущим мимо него:

— В огонь зверя! В грязь грех! Вырвите у него рога! Отрубите ему крылья! Разбейте его глиняные ноги! Рим вас всех осквернил своими нечистотами.

Он угрожал посохом городу, Тибру, горизонту, окрестностям.

— Воистину Крейстос велик, ибо он внушил вам убить зверя. Убейте его, разрубите его на части и

разбросайте их по полям вашим, и они станут плодородными. Крейстос во славе своей вознаградит вас!

Он и не воображал себе, что могло быть опасным говорить подобные речи. Солдаты, зная, что он противник Императора, остановились, но когда он произнес имя Крейстоса, раздался крик:

— Это христианин, друг Элабагала!

Его опрокинули, возникла суматоха, блеснули мечи, и окровавленная голова Магло с длинной рыжей бородой и с выколотыми глазами оказалась на копье. Брошенный труп скоро исчез под ногами других проходивших солдат, но голова алела в небе, обращая к Риму свои пустые глазницы.

XIV



еза бродила по Дворцу Цезарей, держа в руке золотую лампаду, качающуюся на цепочке, и тревожно прислушивалась к смутному гулу, долетавшему до нее издалека. Преторианцы вставали, салютуя ей мечами, рабы, спавшие поперек дверей, сейчас же вскакивали.

Целый час она изумляла всех своим появлением среди ночи, и в своей столе из желтого шелка с золотой каймой при свете лампы казалась желтым пятном, рассеивающим мрак.

Она пошла обратно в гинекей, встревоженная легкими шагами Сэмиас и Атилли, которые на ее глазах скрылись в слабо освещенном дверном про-

еме. Потом опять не стало ничего видно. Наступил мрак и шум увеличивался, похожий на поток, приближающийся издалека.

В тревоге она светила лампадой в темные углы залы, и в колеблющемся свете резко выступали колонны и подставки для ламп. Вдруг в глубине, в порыве ветра, пахнувшего ей прямо в лицо, проскользнули тени. Она вскрикнула; появились преторианцы, блеснул желтоватый свет. Где-то посыпались яростные удары, слышны были крики убиваемых в коридорах, падение тел, и быстро распространился запах крови. Евнухи вытащили за ноги два трупа, отрубленные головы которых скатились по темным ступеням, ведущим в подземелье.

Сэмиас спала, и ее тело, полуприкрытое субукулой, придавало золотым тканям ее ложа зеленоватый оттенок дряблой кожи, увлажненной испариной. Ме-за грубо разбудила ее:

— Позор! Проклятие! Ты готова ее убить, ее, рожденную мною так же, как и ты!

Она горячо обвиняла ее в умысле, — к счастью, неудавшемся, — убить Маммею и Александра. Но она бодрствует, она, мать, одинаково любящая как Сэмиас и ее сына, так и Маммею и ее сына, и она помешала свершиться этому бесполезному преступлению, которое возмутило бы Рим.

— Ты вместе с твоим сыном Антонином хочешь погубить Империю!

Но Сэмиас пришла в негодование и рассказала ей про ночную оргию, обвиняя в преступлении прекрасных Юношей Наслаждения, Гиероклеса и других. И она плакала, ослабевшая, поникшая, точно пробужденная от тяжелого сна, с ужасным отвращением

ко всему, что она видела и слышала, и не желая долее жить такой жизнью, желая умереть, да, умереть, чтобы успокоиться в небытии! Тогда в Мезе проснулась жалость; она взяла ее за руку, как ребенка, помогла ей одеться и повела ее по темным комнатам в покои Маммеи, вставшей с постели в ожидании сына, которого в это время быстро одевал высокий раб.

— Нет, нет, вы не прольете вашу кровь и мою, вы не омрачите небо печалью и кровью!

И она принудила их подать друг другу руки, даже поцеловаться, несмотря на обоюдное отвращение, а Меза, ударяя себя по худому животу, сказала:

— Вы обе вышли оттуда, вы созревали там девять месяцев, а ваш отец лежал в моих объятиях в минуты наслаждения на ложе, где я вас родила. Я не хочу, я не хочу, чтобы Маммеа убила Сэмиас или чтобы Сэмиас убила Маммею, и чтобы Антонин отнял жизнь у Александра, который хочет у него похитить Империю!

Она бросилась на шею входившему Александру.

— Ты Цезарь и останешься Цезарем, а Антонин останется Императором, и я удержу вас и помешаю всему.

Она ходила взад и вперед, Маммеа оставалась неподвижной, Александр молчаливым, а Сэмиас удрученной. Сестры не испытывали взаимной вражды, но чувствовали, что она провоцируется какими-то влиятельными силами. И теперь они долго и пытливо смотрели друг другу в глаза, как бы пробуждая воспоминания далекого детства, когда у них не было честолюбивых стремлений к власти. Они были уже готовы упасть в объятия друг друга, когда послышался шум: звенело оружие, гремели щиты, слыша-

лись громкие возгласы. Высокий раб с кинжалом ввел важных особ из свиты Маммеи, которые прокричали:

— Они сейчас придут! Преторианцы приближаются!

Они волновались, уstraшенные этим неожиданным восстанием, исход которого невозможно было предвидеть. Увидев Сэмиас, они остолбенели, не понимая причину ее присутствия, и потом ушли под предлогом охраны дворца. Сэмиас слышала, как, уходя, Вenuлий говорил Ульпиану:

— Сэмиас умоляет Маммею, но тщетно: преторианцы всех убьют там.

Там, то есть в Старой Надежде, то есть Элагабала! Ее материнское чувство возмутилось. Она ушла от них и разбудила Атиллию, которую Хабарраха тотчас же одела.

— Идем! В Старую Надежду! Идем спасти сына!

— И Атилия?.. И моего брата?

— Что делать, что делать? Идем в сады, уведем и спасем его, потому что ничто еще не потеряно; мы не знаем, чего хотят преторианцы.

Они отправились в одежде простых матрон, в тусклом свете наступившего дня. Но на этот раз женщины встретили не оживленные толпы — нет, со всех сторон сбегались встревоженные люди, испуганные кучки их толпились перед тавернами, которые поспешно закрывались, изредка мелькали носилки с каким-нибудь богатым римлянином, тоже обеспокоенным. Довольно большая процессия сенаторов стремилась попасть в Старую Надежду, но толпа стала грубо теснить их в направлении дворца, выкрикивая имена Александра, Маммеи и Мезы.

Участились конные разъезды, и вскоре уже первые солдаты наводнили дворцовый сад, выкрикивая проклятия Элагабалу и требуя Александра. На короткое время он вместе с матерью и бабкой появился на балконе — и приветственный рев огласил окрестности дворца. Солдаты потрясали мечами и размахивали знаменами, их поддерживали пышно одетые консулы — в золотых панцирях, хитонах, отороченных медью и украшенных эмалью.

Тогда Сэмиас и Атиллия снова бросились бежать. Перед ними уже двигалось шествие: восточные носилки уносили Маммею и Мезу, рядом скакал Александр, кричали военачальники, за ними следовали катафрактари, играли на трубах энеаторы, шли солдаты — в их первых рядах аргираспиды, гордые тем, что сражаются за Маммею и ее сына, они ударяли в серебряные щиты серебряными копьями. Народ собирался вокруг Палатина, Эсквилина, у Капенских ворот; Кампания снова заполнялась людьми и те же восставшие легионеры возвращались из Рима в лагерь, словно они уже похитили Александра, Маммею и Мезу. В сопровождении Хабаррахи, защищавшей их своими сильными руками, Сэмиас и Атиллия прошли через квартал Капенских ворот, мимо садов Прометея, оставляя слева храм Марса с блестевшим на его стенах оружием солдат, дворец Вителлия и высокие Альбанские дома в районе Целимонтана, громадный Мацелл, издававший запах свежего мяса и рыбы, затем Сполиарий, где казнили преступников, и пустые казармы пяти когорт ночной стражи. Толпа сгущалась, и они бродили по кварталам, соседним со Старой Надеждой: от квартала Изиды и

Сераписа, где находятся нимфей Клавдия, амфитеатр Флавиана и школа галлов, вплоть до квартала храма Мира с массивными арками, с вершиной Субуры, с Колосом Солнца, увенчанным широкими золотыми лучами, с термами Диоклетиана, и Священной улицей, где было необычное оживление людей в тогах с непокрытыми головами и в остроконечных колпаках, туниках и голубых хламидах.

Шествие сенаторов поднималось на Целий, и они инстинктивно последовали за ним, погружаясь в шумную толпу, до ограды Старой Надежды, через бронзовые ворота которой была видна растительность садов, тропики, залитые солнечным светом, статуи с мрачным красным оттенком; а перед простилом стояла колесница Императора, который должен был отправиться этим утром в цирк.

Сэмиас нервно упала в объятия сына, совершенно бледного, а Зотик, Гиероклес, Муриссим, Протоген, Гордий, приближенные, внухи, Юноши Наслаждения и женщины жаловались небесам, простирая руки к красивым сводам, украшенным геммами и золотом. Атиллия громко стала требовать, чтобы спасли примицерию, умоляя Элагабала послать оставшихся ему верными преторианцев поднять его с одра болезни и привести к легионам, может быть, еще преданным Империи. Тогда центурион хризаспидов, не покинувших Императора, затрубил сигнал; ударяя золотыми копьями в золотые щиты, преторианцы побежали в Карины среди криков народа, расступавшегося перед ними.

Из садов приближался шум, прерываемый другим — в каком-то необычном ритме. Пройдя через одну из дверей, двигалось шествие сенаторов, а с

наружной стороны еле различалась другая процессия в белых одеждах, в зеленых венках; эти люди размахивали какими-то цилиндрами с чем-то очень легким на конце. Сенаторы, подняв голову и протягивая руки, восклицали:

— Да будет низвергнут враг Рима! Да будет низвергнут враг Отечества! Пусть врага богов бросят в Сполиарий! В Сполиарий неверного преторианца! В Сполиарий мятежника! Пусть его влекут крюками! Пусть тот, кто убил столько невинных, будет убит крюками; пусть убийцу граждан влекут крюками! О, Юпитер, великий и милосердный, если ты хочешь нас спасти, сохрани нам нашего Императора! Да здравствуют верные преторианцы! Да здравствуют когорты преторианцев! Да здравствуют римские легионы! Услышь нас! К зверям противников богов!

Они повторяли эти неопределенные угрозы, не называя имя Императора, чтобы в случае победы над Александром, они могли бы хвалиться тем, что заранее требовали его смерти.

Другие люди, выдвигаясь вперед, в свою очередь кричали:

— Антонин! Пусть боги сохраняют тебя! Пусть боги сохраняют тебя, Августейший Император; под твоей властью мы блаженствуем, и боги нас охраняют от несчастья. Под твоей властью мы не страшимся ничего. Ты победил преступления, ты победил позор, ты победил порок, мы в этом уверены!

Сенаторы встали перед простилем, протягивая руки:

— Мы все подаем голос за то, чтобы его уволокли крюком! Пусть убийцу граждан уволокут крюком!

Пусть убийцу мужчин и женщин уволокут крюком!
Пусть того, кто не пощадил свою кровь, уволокут
крюком!

Они громко кричали, придавая друг другу мужес-
тва и отирая лица полами тог, утомленные, потому
что пришли с Палатина, где Александр и Маммеа
слушали такие же угрозы.

Другие ораторы красиво вторили:

— В тебе спасение, в тебе жизнь, в тебе наслаж-
дение жизнью. Да здравствует вечно Антонин, чтобы
мы могли наслаждаться жизнью! Почитаемый нами,
пусть он примет священное имя! Наши предсказания
справедливы; с твоего детства мы предвещали тебя
и теперь мы возвещаем то же самое!

— В Сполиарий! — снова начинали сенаторы с
нерешительной дерзостью, не находя ответа на вос-
хваления поэтов, руководимых Зописком. Они были
собраны для того, чтобы прочесть Элагабалу поэму
супруга Хабаррахи, ничего не знали о восстании
армии и отупевшие от долгих часов, проведенных в
заучивании стихов Зописка, смущали своим появле-
нием сенаторов. Поэты продолжали:

— Божественный Антонин, пусть боги сохранят
тебя! слава твоей скромности, твоему благоразумию,
твоей невинности! Мы возвещаем тебе!..

Обе группы встали лицом к лицу; волновались
их свитки, развевались латиклавы. Противники го-
товились вступить в яростный бой, хотя то были
сенаторы и поэты. А позади них, ведомые декури-
онами, уже выстраивались солдаты, готовые вот-
вот броситься в битву. Женщины благоразумно убе-
жали, жрецы Солнца поспешно запирались в храме,
а музыканты призывно затрубили. И когда сенато-

ры и поэты отступили назад перед решающим друг на друга, раздался громогласный. Вперед резко выдвинулись солдаты в остро-ных шлемах, в круглых шлемах, шлемах из зверь-ных голов, со знаменами, с поднятыми копьями, в выпуклых латах, с круглыми щитами. Произошла схватка, раздалась крики раненых, падали тела. Воины решительно бежали ко дворцу. Растерявши-еся поэты и сенаторы, не зная, где свои, а где чужие, замелькав тогами, обратились в бегство, а солдаты преследовали их, ударяя мечами и при этом не разбирая особенно, кто сенатор, а кто поэт.

XV



Первые ускользнувшие из лаге-ря присоединились к солда-там-дезертирам. Опьяненные своей неожиданной свободой, они чувствовали еще большее раздражение против прави-тельства, которое ими повеле-вало, против своих начальни-ков, против патрициев и бога-тых граждан, против паразитов; негодовали все те, кому приходилось вести жизнь, полную воинской муштры и лишений. Родившиеся в отдаленных про-винциях, откуда их вырвала Империя, они оставались варварами в этом Риме, на который уже давно зарил-ись с аппетитом всегда голодных солдат. И в них проснулся инстинкт убийства: они рубили мечами, убивали копьями и стрелами спасавшихся бегством

умолявших о пощаде женщин и даже белых, которых запрягали в колесницу Элагабала. Огонь нещадно обжигало и раненых, и пожухлую траву, на которой они лежали. Сады наполнились стонами и воплями.

Внезапно появились другие отряды офицеров и катафрактариев, руководимые Антиоханом и Аристомахом. Они собрали их, можно сказать, на ходу из числа тех, кто отказался участвовать в восстании. Отряды стремительно напали на бунтующих солдат, и разгорелся жестокий бой. Тела покрывали ступени простилы, кровь разливалась широкими лужами по земле, брызгал мозг, падали головы с глазами, открытыми мраку, их обнимающему. Наконец, дворец был освобожден; сады медленно опустели, Антиохан, Аристомах и офицеры возвратились — торжествующие, окровавленные, с погнувшимися доспехами и шлемами, сдвинутыми набок. Они бросили поводья коней преторианцам, которые тоже успели поразить нескольких беглецов.

В той же самой зале, где происходила ночная оргия, Элагабал нервно сжимал в руках шелковую петлю, золотой кинжал и изящный ящичек с ядом, по-прежнему не желая умереть от грубой руки солдата. Его хотели оставить во главе обороняющихся, но он только отрицательно покачал головой, не решаясь действовать и предпочитая лучше умереть.

Император вспомнил про Атиллия:

— Хризаспиды ушли, чтобы привести его, спасти от мятежников и от толпы, если те вздумают напасть на него.

Антиохан пришел в раздражение:

— Нет! Мы не покинем Атиллия, который уже спас однажды тебя от восстания, Божественный! Мы не покинем его на произвол восставших, тем более, что хризаспиды не достаточно многочисленны, чтобы вырвать его у смерти.

В садах вновь появились бунтарские отряды. На этот раз их было так много, что Антиохан заставил всех приближенных, Юношей Наслаждения, паразитов, сторожей при зверях, возниц, магов и даже шутов защищать Империю вместе с преторианцами дворца Старой Надежды, которые прибежали, подняв щиты вверх и отставив назад локти с вытянутыми копьями. Он построил воинов в боевом порядке, расположив их от простилы до середины садов; впереди стояли несколько велитов, которые должны были первыми броситься на мятежников и тут же отступить, дальше в дело вступали бы гастарии с длинными копьями, а сразу за ними — катафрактарии, которым нужно было только небольшое замешательство бунтарей, чтобы разом покончить с ними.

В форме треугольника, обращенного основанием ко дворцу, воины двинулись, нанося удары направо и налево беспорядочным толпам, скоро поредевшим. Перед собой они толкали, точно щит, евнухов, шутов, приближенных Императора, паразитов, возниц, сторожей зверинца, Юношей Наслаждения и бородатых магов в маеновой одежде, спокойно принимавших смерть. И среди непрерывных звуков труб, рогов и букций стрелы падали на щиты, копья вонзались в тела, свистели дротики, вбиваясь в землю дрожащим острием. Наконец, мятежники утомились, треугольник раскрылся, и конница ри-

нулась на восставших солдат, которые, пропустив ее, выстраивались в поредевшие, но все же боевые порядки.

Однако на помощь восставшим уже подходили свежие силы. Казалось, весь лагерь преторианцев двигался сюда. Чтобы прекратить это бесконечное нашествие, Антиохан посоветовал Аристомаху скакать в лагерь и попытаться задержать солдат там. И тот исчез в развевающемся красном плаще среди криков и блеска оружия.

Через брешь в стене ворвалась безоружная толпа народа. Легионеры стали пускать в них стрелы и дротики — передние упали, но остальные продолжали идти вперед, точно охваченные внезапным стремлением быть убитыми, не сопротивляясь. Скоро они очутились лицом к лицу с маленьким отрядом Антиохана, не реагируя на кровь, по которой ступали их ноги, и удары, которые им наносились. Но вдали уже показалось очередное подкрепление мятежников — это манипулы, жаждавшие боя, вырвались из лагеря.

— Убивайте их! — закричал Антиохан, указывая на мирную толпу. Но до него долетело восклицание, смутившее его, потому что голос ему показался знакомым!

— Мы пришли, чтобы спасти Антонина! Мы с Крейстосом!

То были Заль, Геэль и восточные христиане, пославшие на помощь Империи ради Агнца. Заль продолжал печально и решительно:

— Мы защищаем Императора, потому что Император допустил веру в Крейстоса, потому что при нем можно прославлять Крейстоса. Смерть, смерть Риму!

В огонь, в грязь город, предающийся блуду! Что за дело до земного царя, которому Рим подчиняется, пусть только город погрязнет в крови и грехе, из которых родится небесная благодать!

И христиане тесным кольцом окружили простиль. Так как, по-видимому, у них не было оружия, Антиохан, ничего не понявший в словах Заль, захотел их вооружить.

— Они не желают этого, — воскликнул Заль, и его вдохновенное лицо с короткой темной бородой и с проникновенным взглядом как бы озарилось светом. — Они не желают проливать кровь человека, даже нечистого! К тому же они вооружены, но лишь для защиты, а не для нападения.

На горизонте, поверх растений, покрывавших озера, теперь полных крови, показались высокие носилки; вокруг них сверкали шлемы, качались копья и головы коней, покрытые чешуйчатой броней. Меза направлялась сюда из лагеря, узнав об опасности, грозившей Элагабалу и Сэмиас, от Аристомаха, который умолял ее воздействовать своей почтенной старостью на жестокость солдат, опьяненных резней. Взволнованная, она отправилась, чтобы появиться перед мятежниками, находившимися за оградой Старой Надежды, успокоить их и прекратить братоубийственную борьбу, дабы Император ничего не замышлял против Цезаря, а Цезарь примирился бы со своим положением.

Носилки появились на территории дворца, производя большое волнение; в Антиохане проснулась надежда, солдаты остановились. И праматерь медленно, словами, полными горячей таинственности, стала говорить о своих дочерях, о детях, родившихся среди

знамений, предвещавших им трон Империи, доказывала, что Рим благодаря им властвует над Вселенной и, как бы желая сделать более очевидным свое материнство, она, стоя на носилках, сгибавшихся под тяжестью красных и золотых тканей и покоившихся на плечах преторианцев, которые несли их, она, приподняв столу, коснулась рукой своего морщинистого обнаженного живота.

Тогда постепенно стали расходиться солдаты, не чувствуя поддержки, а Антиохан решительно и резко стал напоминать одним об их присяге Императору, других бранить за неповиновение; преторианцы же медленно оттесняли мятежников, которые из мести коварно пустили издалека несколько стрел. В эту минуту жрецы Солнца выбежали из храма, и, прежде чем к ним подоспела помощь, мятежники убили всех их. И теперь трупы покоились на земле у подножья залитого кровью храма, их одежды задирались, обнажив кожу, казавшуюся зеленой на фоне желтых мирт, усеянных красными и фиолетовыми камнями.

Христиане уходили, думая, что теперь все успокоилось. При входе в сады их ждали женщины, дружеские лица пытливо смотрели на них, слышались слова любви; некоторые из христиан, раненые, шли, братски опираясь на других, утешавших их во славу Крейстоса. Но слово *христиане* было произнесено; солдаты, не имея возможности проникнуть во дворец и убить Элагабала, решили выместить на них свою злобу: плечо Геэля было рассечено мечом, некоторые были убиты. Однако вскоре мятежники были рассеяны катафрактариями, которых Антиохан вел в Карины на подкрепление хризаспидам, ушедшим спа-

сать Атиллия. И на улицах произошло еще одно сражение. Арабские стрелки и ахейские пращники присоединились к мятежникам, осыпая стрелами и глиняными пулями катафрактариюв, но и эта вспышка была жестоко подавлена. А тем временем граждане спасались бегством, теперь больше ненавидя дикую жестокость сражавшихся, чем мерзости Элагабала.

Заль увидел подходившую к нему бледную и встревоженную Северу, хотя он думал, что она находится в гостеприимной мастерской Геэля; и в это время стрела вонзилась ему под сердце, туда, где он хранил мешочек с цветами Северы. Спокойно, чуть ли не улыбаясь, он извлек стрелу. Севера в ужасе, но при этом не проронив ни звука, кинулась его поддерживать. Рядом Геэль опирался на руку Кордулы, блудницы, своим женским чутьем угадавшей, что сириец-горшечник обязательно придет туда, где будет трудно Элагабалу.

Медленно расходился еще остававшийся на улицах народ. Убегавшие солдаты метали в окна дротики и с грубым хохотом убивали встречных римлян. Жалобно пели трубы, со стороны Карин снова слышался гул, а в глубине улиц, но так высоко, что ни Заль, ни Севера не достали до нее взглядом — он от потери сил, она от забот о нем — качалась на длинном копье голова, багровая в нимбе окровавленных волос и бороды. Она в этот страшный день казалась похожей на другое солнце, тусклое, окруженное мятущимися облаками. Заль и Севера не заметили, что то была голова Магло, убитого в это утро.

XVI



ни шли медленно. Заль положил руку на свою рану, из которой текла тонкая струя крови; Севера все время поддерживала его, как подруга, сестра, мать, и на улицах люди смотрели на них, не стремясь им помочь. Поднимаясь по склонам Эсквилина, Заль мол-

чал, а Севера дрожала в тревоге о нем. Одно время до них не доносился шум: восстание замирало вдаль, и они очутились почти одни, так как их избегали испуганные прохожие. Но когда они перешли через большую дорогу, шум возобновился; народ снова наводнял улицы; солдаты бежали толпами, скакали всадники — и все требовали смерти Элагабала и возведения на трон Империи сына Маммеи.

Сзади них быстро шел кто-то, сопровождаемый другими, которым он делал знаки. И Севера слышала, как он воскликнул:

— Это Заль, перс, христианин!

По раздраженному голосу она поняла, что эти люди замышляют недоброе против Заля, который тихо сказал ей:

— Мне знаком этот голос. Этот римлянин напал на меня однажды, когда я шел на собрание в Эсквилин...

То был Карбо, ударивший Заля кулаком в ту памятную ночь, тишину которой Элагабал нарушил посещением римских лупанаров, в ночь, полную то-

пота лошадей катафрактариев Атиллия, когда Заль встретился с египтянином Амоном и потом, на собрании в Виминале, сорвал маску лицемерия с Атты. С тех пор прошли месяцы, любовь Северы расцвела, и он полюбил ее сильно и свято. Заль всецело отдался приятным воспоминаниям, но их прервал крик Карбо:

— Это друг Элагабала, убьем его!

Его спутники побежали за ним, но вдруг остановились, так как Севера обернулась. В ее глазах было столько мольбы и одновременно пламенной страсти, что они замерли, пораженные красотой, скромностью и душевной чистотой женщины, без всяких слов защищавшей своего друга в этот трагический миг. И люди не решились исполнить приказание Карбо, который давно ненавидел Залю без причины и даже мало зная его, просто из ненависти к христианам.

Вдруг послышался шум. Пехотинцы и всадники толпой спускались с Целия, и кровавая голова Магло высилась над ними на фоне неба. Солдаты гнали римлян, и скоро все улицы Эсквилина, занятые на севере мятежниками, крики которых замирали вдали, усеялись бежавшими. Хотя у дворца Старой Надежды мятеж был подавлен и Элагабал, при помощи Мезы и верных ему преторианцев, оказался победителем, все-таки на улицах солдаты продолжали предаваться буйству, нанося раны и сея смерть, где только можно, радуясь этому дню резни, вселявшей ужас всему Риму. Разноплеменные воины лагеря, после долгой совместной и суровой службы, чувствовали себя солидарными, и с момента восстания не расставались, стараясь действовать сообща и наносить как можно больше вреда, проливать как можно больше крови, пусть даже потом им предстояло, как побеж-

денным, быть казненными через каждого десятого или стать добычей зверей.

Заль так страдал от раны, что не видел головы Магло. Он только желал умереть в своей комнате на Эсквилине, где так долго жил общей духовной жизнью с Северой, где еще стоял запах ее цветов, опьянявших его мистической любовью. И, прикрывая рану, он касался мешочка с сухими цветами Северы. Они были свидетелями их чувства, которое устояло против искушения и осталось целомудренным, несмотря на ужасы политеистических культов и телесного общения членов восточной секты.

В кварталах Суккусана, Ора, Омывателей Мертвых, Венеры Плациды и Погребальных Ароматов еще бродили солдаты, как бы повинувшись приказу, направлявшему их к одному пункту. Заль и Севера не заметили также, что и их квартал наполнен злобными мятежниками и что к группе солдат, бежавших с головой Магло, присоединился Атта.

Их улица открылась им во всей своей извилистой перспективе. Солнце, весело заливавшее ее ярким светом, лишь усиливало тот жуткий контраст, который создавался ее обитателями — бальзамировщиками и обмывальщиками трупов, — грязными лавками и ремесленными мастерскими. Дом Заль стоял в центре улицы, в его ярко освещенных солнцем окнах виднелись люди. При подходе к нему Заль совсем уже ослабел, но Севера старалась казаться мужественной.

Жители квартала теперь обвиняли их в том, что они христиане; с порогов своих домов они грозили Залю кулаками и какие-то люди, которых солдаты согнали сюда с двух концов улицы, осыпали их бранью за то,

что они извратили учение Крейстоса. То были западные христиане: Руф, Равид, Корнифиций, Криниас, Лицинна — женщина, Понтик, Сервий; все возбужденные Аттой против Северы и Заля, они поспешили сюда с самого начала восстания. Они примкнули к солдатам, не замечая, какой опасности подвергаются, потому что те постоянно их толкали, норовя уколоть пиками, к тому же здесь были еще и арабские стрелки, которые периодически пускали стрелы, злорадно улыбаясь, когда они настигали то одного, то другого несчастного. Это продолжалось довольно долго, а затем вооруженные мятежники, за неимением богатой добычи, начали приглядываться к красивым девушкам, которые испуганно всплескивали руками, пытаясь скрыться.

На порог дома, миновав Заля и Северу, протолкался Зописк, прибежавший сюда прятаться. Ему удалось ускользнуть от резни возле дворца Старой Надежды, но после встречи с Атиллией и Хабаррахой, когда стало ясно, что его черная супруга больше не нуждалась в нем, полностью истощенном, он просто бродил по римским улицам. Теперь, весь покрытый грязью и пылью, с непокрытой головой, сжимая в руке свиток с поэмой о Венере, он быстро поднялся на восьмой ярус дома и поспешно укрылся в своей комнате, еще никому не сданной домовладельцем, нумидийцем, который также спрятался, обезумев от страха, в своей кубукуле, за тюками пергамской кожи.

Заль и Севера с трудом поднимались по ступеням; стиснув зубы, сжав кулаки и полузакрыв глаза, он, опираясь на Северу, скрывал боль, чтобы не испугать ее. Неожиданно появился домовладелец, вылезший из-за тюков, и начал всячески их поносить. Он словно предчувствовал, что их присутствие навлечет большие не-

счастья, потому что солдаты, подстрекаемые Аттой и западными христианами, собирались занять дом. Заль и Севера все еще поднимались по лестнице, а в дверях появлялись жильцы, молодые девушки кричали на них, и дети бросали в них грязью. На каждом ярусе сквозь отверстие площадки они видели на улице кричащую толпу, охваченную все возрастающим ужасом; свежий воздух ударял им в лицо, а вдали смутно виднелась Кампания под красным небом, полная солдат, столбов дыма, выпущенных зверей и трупов граждан, убитых взбешенными мятежниками.

Наконец они поднялись в комнату, и Севера уложила Заля на постель. Она освободила его грудь, и перед ней обнажилась черная дырка раны, обрамленная кровавым пятном. Севера обмыла рану и догадалась, что легкие Заля наполнены кровью, потому что он задыхался. Она стала высасывать кровь, и поток гноя хлынул ей в рот. Заль открыл глаза и в последнем усилии любви сжал ее руки, положив их на свою грудь, — туда, где хранился мешочек с ее цветами.

Они не слышали больше воплей, гремевших снаружи. Внизу солдаты, которые собирались убить Заля, взломали дверь, забаррикадированную домовладельцем, и рассыпались по длинному коридору, темнота которого наполнилась блеском копий и мечей. Но вдруг за ними послышались умоляющие крики. Сжав кулаки, со слезами на глазах, бледный, заикаясь и кашляя, Глиция пытался их остановить, а Руска в отчаянии вздымал руки.

— Я — Глиция, из рода Глициев, в числе которых был один диктатор! Солдаты, успокойтесь! Отнеситесь с уважением к моей супруге, находящейся наверху с этим Залем, которого я не люблю, но которого

она любит. Но она супруга Глициа, и Глициа не хочет ее покинуть. Пусть этот Заль будет убит вместе со своим Крейстосом, которого никто не видал, вместе со своим Элагабалом, со своим Геэлем, вместе со всеми христианами, ибо они враги Рима! Это мне очень приятно, очень приятно! Но моя супруга не согрешила, это Заль обманул ее, очаровал ее, и боги его накажут, да накажут его! Глициа вас умоляет, Глициа просит вас убить этого Заля, но отнестись с уважением к супруге Глициа!

Он обнимал их колени, дрожа от угроз оружием, которое солдаты поднимали над его головой. Но они все-таки не собирались трогать его, пока вдруг патриций не схватил меч одного из солдат, почувствовав в себе, в крайнем отчаянии, частицу силы прежних Глициев, его предков.

— Нет! Нет! Глициа не допустит вас оскорбить его супругу, мучить ее; вы скорее убьете его!

Он неловко размахивал мечом и ранил одного из мятежников. Тогда солдаты подняли крик, ударом копья опрокинули его, и раньше, чем Руска мог броситься к нему на помощь, покончили с ними обоими. Их выкинули из коридора наружу, где какие-то люди, размозжив им головы, изуродовали их тела, а другие оттолкнули их ногами и присоединились к первым рядам нападавших.

С ревом по лестнице поднималась толпа солдат, стуча во все двери, бросая с площадок, из открытых окон на внутренний двор разбитые в щепки двери кубикул. Из бешенство росло; безумие охватило их и им казалось все красным, не только Кампания, видимая неожиданно с площадок лестниц, но и стены, своды, длинные коридоры, бесконечно выходящие сту-

пени, ведущие к верхней террасе, нависающей над улицей своими шаткими галереями.

В это время Заль говорил слабым голосом Севере, все еще держа ее руки около раны и мешочка с высушенными цветами; он просил ее похоронить себя в катакомбе, которую они посетили в это утро, в той скромной могиле, только что вырытой и полной благоухания Крейстоса. Слезы выступили на его ресницах, его ноздри расширились, глаза раскрылись со стеклянным блеском: он видел подобие неба, быстро расширяющегося, полного неясных образов и мягко озаренного ореолом мученика в очертании золотой луны. На небе медленно воздвигались два престола из сапфира и сардоникса, опирающиеся на лики ангелов, окруженные ликами Агнца, и Заль садился на один престол, Севера садилась на другой. Под ними простирался Рим, двигаясь в грязи, как покрытый тиной зверь. Мрачное фиолетовое солнце тяготело над городом, дуновение смерти падало на Тибр с его кровавыми водами, и грех чудовищно гнезвился на брюхе города, пожирая его внутренности, заразившие мир. На высоте неба, белый, как гигантская лилия, сиял лик Крейстоса, с волосами, извивавшимися по плечам, божественно голубым от голубой мантии; очи его нежно смотрели на них, уста звали их, а на их головы спускались розовые голуби, держа в розовых клювах венцы с драгоценными камнями, блестящими, как небесные светила.

Тогда Заль глубоко вздохнул и потянулся к Севере. Их уста встретились, и потом он упал снова, держа руки патрицианки своими судорожно сжатыми руками.

— О, Крейстос! О, Крейстос! Прими его в Лоно Твое!

Она могла вымолвить только это, нервно целуя его мертвые, бледнеющие губы, не слыша диких криков солдат, забравшихся уже на террасу. Дверь отскочила. Она не умоляла их; стоя на коленях, наклонив голову, она ожидала соединения с Залем, полная смутного радостного чувства, что он умер, не испытав их жестокостей. И среди оглушительных криков она приподнялась, обвила руками шею дорожного покойника и поцеловала его в губы. Блеснул меч, и тело Северы опустилось на пол, ее голова едва держалась на шее полоской кожи. Тотчас же два трупа были брошены на улицу с площадки восьмого яруса. Цепляясь за деревянные выступы нижних ярусов, падали тела, страшно вращаясь, и голова Северы зацепилась, отделилась от тела под крики зрителей; потом упала, покатилась по мостовой и, словно инстинктивно, приникла к устам разбившегося тела Заля.

Один из солдат, взломав дверь Зописка, разыскал поэта, стучавшего зубами от страха, под кроватью. Он стонал, распластавшись на бедном полу своей комнаты.

— Я составлял для вас поэму, я воспевал ваши победы, я проклинал Элагабала! Вы велики, вы сильны и никто не сравнится с вами!..

Он показывал им свою поэму о Венере, хотел прочесть им ее, хотя и щелкал зубами от страха. Но один из солдат схватил его за остроконечную бороду на безусом лице, — так несогласную с требованиями Музы, по словам печальных и беспокойных критиков, — и поднял его на ноги. Поэт кричал им, размахивая руками в воздухе, слабо сжимая в одной из них свиток:

— Вспомните, вспомните, что за несколько грошей я прославлял ваших любовниц! Хотите, я составлю вам стихи? Вы ничего не заплатите мне, потому что я хочу удовлетворить вашу славу...

От волнения он заикался, и его никто не понимал. Но одно копьё выделилось из рядов движущихся плеч в кожаных доспехах, вонзилось во впалую грудь поэта и пригвоздило его к шатающейся стене. И таким образом поэт был сразу убит рядом со своим соседом Залем, которого он не знал. Солдаты смеялись над такой смертью, почти шутовской. Зописк стоял на ногах, открыв глаза и рот и растопырив пальцы рук; его голые ноги виднелись через разорванную туннику, а поэма лежала возле него на полу. Развеселившись, они хотели водрузить его в виде чучела у стены, подставив два копьё под его подбородок, чтобы он лучше держался, но ноги сгибались под вялым телом поэта, и стоило большого труда удержать его в таком положении. Все забавлялись этими опытами равновесия. Наконец удалось установить тело с двумя копьёями под подбородком. Тогда, довольные собою и им, солдаты стащили его за бороду и за волосы и сбросили на улицу, где его разбитый труп упал рядом с Залем, с обезглавленной Северой и с головой Магло, сорвавшейся с высокого копьё.

В ужасе римляне пыгались бежать, но солдаты, закрывшие концы улицы, вдруг стали бросать в них дротики. Они выстроились, подняв щиты, и целились, откинув назад руку, с напряженными мускулами на оставленной ноге, — со свистом летела стрела и попадала кому-нибудь в грудь или в спину. Конные арабские стрелки натягивали луки и непрерывно пускали стрелы направо и налево, сея повсюду раны, кровь

и крики; они убили одного за другим Руфа, Равида, Корнифиция, Криния, Понтика, Лицинну. В верхних ярусах дома тоже творилось невероятное. Солдаты наводнили дом, разбивая все двери, поражая всех. Среди кубиков лежали обнаженные женщины и девушки, и вслед за одним солдатом совершал насилие другой, кидаясь с остервенением на добычу. И так повсюду, от восьмого яруса до первого. Они убили также домовладельца, разыскав его в выгребной яме и забив ему рот нечистотами. Наконец, опьянив себя кровью и насилуем, они выбрались на улицу, моргая от яркого света. Здесь были только трупы. И солдаты ушли, придумав себе по дороге новую забаву: они пинали голову Северы, опутанную слипшимися от крови длинными волосами, — голову женщины, так трагически соединившей свою судьбу с судьбой Заля, который теперь лежал, раскинув руки крестом, на окровавленной мостовой.

XVII



Маленькая улица в Каринах была оживлена наплывом людей, в особенности западных христиан, пострадавших от Атилия в первом восстании; теперь, возбуждаемые Каринасом, мясником, и Випсанием, продавцом сушеных трав с Авентина, они собирались группами и высказывали уже намерение убить его.

Многие, уходя из своих кварталов на Транстиберине, угрожали кулаками дому Геэля. У Мадеха и

Амона возникло предчувствие больших несчастий, в которых погибнет Империя и восточная вера в Крейстоса. Тогда Амон решил помочь Мадеху. Он был движим их нежной дружбой и благодарностью к Атиллию за то, что тот когда-то защитил его от солдат в лагере. Вольноотпущенник уже не содрогался при мысли о примицерии: теперь любовь к нему горячо расцвела в сирийце, и он спешил, вместе с Амоном пробираясь через толпу, стремившуюся к Старой Надежде, ко Дворцу Цезарей и в Карины, в те места, где наносили удары Империи.

— Я не переживу его, — вздыхал Мадех. — Атиллий слаб и только что стал выздоравливать. Эти римляне наверняка убьют его, если Император, Сэмиас и Атиллия не спасут его от их бешенства! — При этом имя Атиллии не вызывало в нем никакой страсти: настолько чужой она стала для него теперь.

Скоро они увидели маленький домик в Каринах. Близ него собирались, намереваясь осаждать его, западные христиане под предводительством Випсания и Каринаса. Они указали на Мадеха:

— Это вольноотпущенник, сторонник извращенного учения о Крейстосе! Заль примет свою кару, этот также примет свою, ибо Крейстос не хочет, чтобы царствовал грех в союзе с Элагабалом, Атилием и демоном Залем.

Как только Мадех постучал, дверь наполовину приоткрылась и показалось испуганное лицо янитора, а позади него таращились несколько рабов, привлеченных шумом снаружи. Янитор встретил его печально, с удивлением взглянув на Амона, которого он никогда не видел:

— Ты пришел кстати, потому что он звал тебя. Но кто это?

Мадех назвал его имя, поспешно рассказывая о состоянии, а рабы, глядя на него, почти не узнавали его в бедной одежде, с волосами, смоченными только водой, без драгоценных украшений, амулетов и митры, которая так шла к нему. Они считали его умершим. Мадех направился внутрь дома, попросив Амона подождать его. Отстранив раба, номенклатора, который хотел предупредить Атиллия, он пересек вестибюль, пройдя мимо крокодила, поднявшего плоскую голову и глядевшего на него своими странными глазами, едва заметив громко визжавшую обезьяну и павлина с сияющим хвостом. Затем Мадех прошел через таблинум, бывший свидетелем его любовного свидания с Атиллией, через уединенные кубиккулы с занавесями, испещренными желтыми рисунками. Атиллий покоился на ложе, устремив глаза к своду, с неопределенным выражением лица, со скрещенными руками и с повязкой на лбу, закрывавшей рану. Бледный, в лихорадке, он повернул голову к Мадеху:

— Ты! Это действительно ты, Мадех, Мадех, мой вольноотпущенник!

Он тяжело приподнялся. Добрые искорки засветились в его странных глазах, казавшихся еще более фиолетовыми от фиолетового цвета его длинной одежды. Увидя его, он забыл все, он хотел забыть все, не стараясь узнать, каким образом Мадех оказался здесь. Но вольноотпущенник воскликнул:

— Они окружают дом и замышляют покушение на твою жизнь! Элагабал осажден преторианцами, Маммея направилась в их лагерь, а я пришел с Амоном, чтобы спасти тебя.

И он рассказал ему все, что узнал во время своего отчаянного бегства. Атилий обнял его, почти рыдая в нервном волнении:

— Я был уверен в тебе; я знал, что ты не забудешь меня, ты, Мадех!

Атилия охватила тихая нежность, она унесла его от грозной действительности, возвратила в мир грез, которых он был лишен целых полгода. Он касался Мадеха руками, восторженно смотрел на него, точно то был Идеал, и как будто нечто возвышенное преобразило его. Скромность его одежд, строгое лицо с темными кругами у глаз, — все в нем казалось Атилию какой-то светлой надтелесностью, как будто он парил среди лучей солнца, не золотых, а аметистовых или фиолетовых, среди фиолетовой природы, возникшей в его болезненном воображении.

— Я говорил себе: никогда Мадех не забудет меня! Если я был суров, ты прости меня! Ты снова у Атилия, а, значит, у себя!

Голоса христиан снаружи долетели до него довольно ясно и взволновали его. Он совсем встал, пошатываясь:

— Правда ли это?

Он нервно взял Мадеха за руку, начиная все понимать, обо всем догадываться. Потом снова сел, успокоившись:

— Это конец, мы умрем. И к чему бороться? Ты видишь, нет счастья в Риме, в Риме, который должен нас поглотить и который нас поглотит.

Он говорил уже не властно, но почтительно, словно Мадех стал для него существом непостижимо высоким. Долгая болезнь сделала его изнеженным, и это состояние питало те его мечты, которые еще

в Эмессе вырабатывали в нем культ Андрогина через поклонение Черному Камню и наслаждение однополрой любовью, — так вырабатывается железо в дыхании пламени. Его лихорадочное воображение возвеличивало Мадеха, создавало из него живого и осязаемого Андрогина, делало его прекрасным, таинственным и священным, как идола храма. И потому, хотя это было и неирриятно Мадеху, Атиллий увлек его в храм, который видели Геэль и Заль, и боги открылись пред ним, священная Веста, и вечно дымящиеся курильницы; в голубом тумане, нежном и теплом, светился Черный Конус против черного изображения Крейстоса.

— Ты — Крейстос, символ Тау, бессмертная Веста, Озирис, Зевс, все! Ты — Бог, явившийся прежде всех вещей и исчезнувший, чтобы явиться вновь в тот день, когда Рим погрузится в небытие; потому что он уже погружается в него, люди больше не будут производить себе подобных и потому человечество умрет. Пробьет час, когда новое человечество заместит его, и это ты будешь продолжать нить жизни, ты, Мадех!

Он нежно и влюбленно прикасался к нему, открывая его тунику и восхищаясь им в своем безумии. И он увел Мадеха, чтобы снова иметь его при себе, в своей комнате, забыв прошлое, потому что в течение болезни, на пороге смерти, он часто звал его и мечтал о нем. Он не говорил о сестре, не желая вспоминать о ней, с одним желанием чувствовать его близ себя под влиянием и гордости, и беспредельной любви, в увлечении безумия своей извращенной природы, от которого в его душе расцветали черные цветы страсти. Но громкие крики раздавались уже не извне, а в

самом доме, которым овладела толпа, подстрекаемая Випсаном и Каринасом.

— Я говорил тебе, — стонал Мадех, пытаюсь освободиться. — Римляне хотят убить тебя и меня с тобой, и всех в доме, рабов и янитора, и Атиллию также! Может быть, они уже убили Элагабала и покрыли кровью этот город, город тревог и скрежета зубов. Что делать, что делать?

Он заламывал руки, старался увлечь его в какой-нибудь закуток между кубикалами, чтобы спрятать его и спрятаться самому вместе с ним, понимая, что теперь сопротивляться невозможно. Но Атиллий опустил на ложе.

— Они убьют нас; жизнь не стоит того, чтобы сопротивляться смерти. Останемся здесь! Ты знаешь, я мечтал о тебе, даже прогнав тебя; я думал о тебе, хотел видеть тебя, сожалел о твоём отсутствии, и, если бы не гордость, мешавшая мне, я позвал бы тебя. Я понимаю, понимаю, почему ты отдался моей сестре. Мне не следовало запира́ть тебя, удалять ото всех, а надо было раскрыть перед тобой свет, развлекать и забавлять тебя. И к тому же для тебя наступил возраст, когда половая сила внезапно проявляется; и она оказалась сильнее тебя. На Атиллию же мне не надо было гневаться — она женщина, и потому достойна презрения, изменна, ничтожна и способна только к телесной страсти, как и все женщины! Она исполнила свое предназначение; Андрогин может существовать без участия женщины, и наши качества, наша способность, наша сила, наша мужественность сосредоточатся в нем, не истощенные ее прикосновением. И поэтому я стремился к Андрогину и надеялся увидеть его в тебе. Ты вопло-

щаешь его в себе или будешь им. У меня же нет больше силы жить, и я с радостью умираю с тобой.

Мадех старался поднять его, каждую минуту опасаясь появления римлян, которых отделял от них только таблинум. Слышался шум борьбы, приближался яростный топот ног, среди которого выделялись резкие крики обезьяны. Взломав дверь и оттолкнув янитора и рабов, нападавшие растерялись при виде великолепия дома и мягкого света в храме, подернутого легкой голубой дымкой; они спрашивали Атиллия, не решаясь двинуться дальше, сдерживаемые рабами, которые стояли, как изгородь, держа кулаки перед лицами нападавших. Были вооружены только Каринас и Випсаний, размахивавшие короткими ножами. Постепенно они оттесняли рабов к таблинуму; атриум медленно наполнялся людьми, и, чтобы вызвать в себе смелость, они срывали занавеси, опрокидывали подставки, покрывали стены гнусными плевками. Один из них дернул за хвост павлина, птица пронзительно закричала, потом тяжело полетела к импловиуму и, испуганная, села на его край. Крокодил погрузился в воду, и ее обманчиво прозрачная поверхность затихла, не шелохнувшись. С улицы толпа все прибывала, рабы в отчаянии предвидели, что нападавшие неизбежно овладеют таблинумом и убьют Атиллия и Мадеха.

... Амон еле выбрался из дома Атиллия. В грязной тунике, дрожа и обливаясь потом, что-то бессвязно бормоча, он бежал к осажденному дворцу Старой Надежды. Из садов до него доносился шум сражения; со всех сторон слышались возгласы, требовавшие смерти Элагабала. Навстречу мятежникам из потай-

ных дверей неожиданно вышел отряд хризаспидов, руководимых двумя центурионами, — в голове и в хвосте, — на флангах колонны трубили энеаторы. Амон подбежал к первому центуриону и рассказал о нападении на дом Атиллия. Все поспешили туда в тревоге за Мадеха и Атиллия, которых, быть может, уже не было в живых.

А тем временем, заколов вставшего на их пути раба, столкнув других защитников дома, Випсаний и Каринас ворвались в таблинум и увидели обнимающихся Атиллия и Мадеха.

— Ты — Атиллий, примицерий, враг Рима! Смерть! Смерть! Крейстос страдает через тебя.

Атиллий спокойно смотрел, обратив к ним бледное лицо с фиолетово-голубыми глазами, держа за руку Мадеха, который встал, трепеща от ярости:

— Нет, нет! Вы его не убьете! Я познал Крейстоса, как и вы. Крейстоса здесь почитают.

Он хотел сказать им, что изображение Крейстоса, во имя которого они шли против Атиллия, находится здесь, вместе с другими богами, в круглом храме, что сам он, Мадех, тоже поклонялся Крейстосу и пил из золотой чаши по восточному обряду, настолько он был несведущ в разделении христиан. Но Каринас закричал:

— Мы знаем тебя. Ты жил вместе с Геэлем, ты был с Залем, ты принадлежал восточным христианам, ты извратил учение Крейстоса, как и они. Умри же! Умри! Крейстос не хочет тебя!..

В его руке блеснул кинжал. В этот момент Атиллий рванулся вперед и принял удар на себя. Он был поражен в самое сердце, как недавно и Заль. Его глаза остекленели, рот широко открылся, руки судо-

рожно сжались. Он упал на Мадеха, которому Випсаний уже успел нанести смертельный удар по затылку. Их кровь смешалась и заструилась из-под распростертых тел.

Вид крови обезумил христиан. Они стали крушить вокруг себя все: изображения богов, Весту, золотые треножники, даже черное изображение Крейстоса, которого они касались с брезгливостью, как чего-то нечистого. Началась облава на рабов, их вытаскивали из-за занавесей и ковров и убивали, не смотря на отчаянное сопротивление. Трупы лежали везде: в кубукулах, в перистиле, в таблинуме, — удушенные, со вспоротыми азиатскими кривыми ножами животами. Кровь, пенясь, растекалась по всему дому, обезображивая его изящную архитектуру. В ужасе визжала обезьяна, павлин распушил хвост, утративший блеск, крокодил беспокойно шевелился. Но вот добрались и до животных, убили и их тоже, кровь крокодила окрасила воду бассейна, и его спокойная поверхность казалась кровавой луной.

А к дому уже приближались хризаспиды. Их, забыв всякую осторожность, сопровождали Сэмиас и Атиллия. Они сидели в закрытой лектике, окруженной катафрактариями, и тихо всхлипывали. Сэмиас думала об Атиллии, а Атиллия — о Мадехе; его смерть, казавшаяся ей невероятной, рождала в ней неясное желание также умереть. Чувство глубокой нежности, вытесняя возникавшую жалость к брату, не пожелавшему допустить ее к своему изголовью, обращало ее мысли к Мадеху, изящному, благоухающему, с нежным телом и отзывчивой душой, и она тихо повторяла его имя, а

Сэмиас смотрела на нее, открывая в ней черты лица Атиллия, его продолговатый профиль, прямой нос, нервные губы и его странные фиолетовые глаза, озарявшие аметистовым блеском подвижное лицо. Светлейшая госпожа не хотела больше думать о низости своего сына, который, в то время когда преданные ему люди умирали, прятался в латринах, пачкая там свои златотканые и шелковые одежды, блистающую тиару, свою обувь, украшенную драгоценными металлами, эмалью и слоновой костью, и не имел мужества убить себя золотым кинжалом, ядом или петлей. Если бы Атиллий пожелал императорской власти вместо того чтобы терять свою мужественность с Мадехом, с какой радостью Сэмиас отрешилась бы от своего сына, имевшего ее пороки без ее энергии: вместе с Атиллием она подавила бы восстание лагеря, свирепость армии и все оскорбления Рима. И в бешеной страсти своей, неисцелимой страсти, она бросилась в объятия Атиллии, признаваясь ей в безумной и глубокой любви к ее брату, о чем Атиллия догадалась лишь несколько часов тому назад.

— Твоего брата любила я! И я бросалась в объятия мужчин лишь потому, что он отверг меня, он, кому я отдала бы Империю, а не этому сыну, который прячется в грязи дворца.

— И я люблю, люблю Мадеха, и если я следовала за тобой, отдавая свое тело прохожим, быть может, врагам Элагабала, то потому, что Мадех исчез и ни один мужчина не мог мне заменить его.

Их слезы смешивались, они обнимались, Сэмиас в сладкой надежде, что Атиллий будет спасен и бросится в ее объятия, а Атиллия, — смутно надеясь

увидеть Мадеха в домике в Каринах, который уже виднелся вдали. А римляне уже выскакивали из дверей домика, надеясь спастись, но их нагоняли хризаспиды и катафрактары и безжалостно убивали. Когда женщины подъезжали к дому, то их мулы ступали по стонавшим раненым, среди крови, разлитой повсюду, даже в небе, которое казалось красной растерзанной тогой.

Амон проскользнул в ряды хризаспидов, входивших по четыре в ряд, с копьями наперевес, в вестибулум. Янитор был зарезан в своем помещении, и труп его лежал лицом вниз. В атриуме валялись тела рабов, пораженные в затылки или в спины; некоторые, еще живые, придерживая руками внутренности, выпадавшие из распоротых животов, оступевшими взглядами смотрели на хризаспидов. В углу Випсаний и Каринас ожидали их с довольным и презрительным видом. Они убили врага Крейстоса, врага, водворившего в Риме культ жизни, а с ним вместе и его жреца Солнца, ложного христианина. Теперь они могут спокойно умереть, наставленные в вере Аттой, который так основательно доказал им вред, приносимый вере Крейстоса Черным Камнем и последователями Заля, извращавшими его учение. Но сам Атта не появлялся во время этих трагических событий, ловкий интриган, он ушел в сторону, чтобы избежать опасности, а потом надеялся воспользоваться укреплением веры в Крейстоса, если это осуществится. Другие будут убиты, а он будет жить, прекрасно жить во славу Агница, поднявшись из прозябания паразита, станет уважаемым учителем, благочестивым, мудрым, святым, а быть может, даже займет место первосвященника на Римском престоле. И, вероятно,

перспектива была неосознанно приятна Випсанию и Каринасу, потому что так же бесстрашно, как в цирке, — где они исповедовали Крейстоса перед двумястами пятьюдесятью тысячами зрителей, — они теперь спокойно подставили грудь золотым копьям преторианцев и умерли, даже не вскрикнув!

В таблинуме Сэмиас и Атиллия тревожно взяли за руку Амона и спрашивали его:

— Ты его друг, ты знал Атиллия?

— Какова была его воля? Говори! Мадех сообщал тебе?

Они не знали его, но предполагали, что если его не тронули хризаспиды, то он имел какое-нибудь значение для примицерия и его вольноотпущенника.

Амон, печальный и смущенный, ответил горестно:

— Нет, Мадех мне ничего не сказал, я проводил его сюда и потом убежал, чтобы позвать на помощь. Я знал Атиллия раньше, он спас меня от преторианцев. Увы! Горе! Горе! Они мертвы оба.

Атиллий в фиолетовой одежде и Мадех в бедной тоге лежали рядом, с окровавленными лицами и держа друг друга за руки. Женщины вскрикнули и опустили без чувств — на кровь, на обломки утвари. Хризаспиды подняли их. Амон прикоснулся к Мадеху, еще теплому, и тот шевельнулся.

— Он еще жив, он жив, Мадех!

Женщины пришли в себя. Атиллий был неподвижен, и Сэмиас снова слабо закрыла глаза. Атиллия приподняла Мадеху и, ради него позабыв о погибшем брате, говорила:

— Да! Да! Он жив, и я сохраню ему жизнь, я исцелю его, и он будет любить меня!

XVIII



отом потянулись тяжелые дни. Рим купался в крови; Элагабал по-прежнему пребывал в Старой Надежде, а Маммеа — во Дворце Цезарей. Оргии однополый любви и сладострастие Черного Камня мрачно возобновились под латинским небом, которое сделалось багровым, отражая пролитую кровь минувшей резни. Печально вечный город, омраченный широкой тенью победоносного Черного Конуса, притаился со стонами и в ужасе, внимая Тибру, медлительно оплакивавшему уносимые трупы, и жаждал света, который мог бы рассеять окутавший его мрак. На всех его горизонтах появлялся облик Элагабала, веселого и сияющего драгоценными камнями тиары и ожерелий; и его пурпурная одежда, и его ноги, обутые в шелк и золото, ступающие по земле, усыпанной шафраном, и нагота его тела, — все это возникало то здесь, то там в торжественных шествиях с танцовщицами, Юношами Наслаждения, жрецами Солнца, покачивающими бедрами. Гиероклес, Зотик, Муриссим, Гордый, Протоген — все приближенные, гордые, как триумфальные арки, нагло появлялись на улицах вместе с Элагабалом, неудержимо предаваясь культу Черного Конуса на глазах у римлян, не смевших выказывать негодование: и угнетенное воображение граждан было перенасыщено видом постыдных сочетаний мужских тел.

Но в одно мартовское утро, когда Тибр снова желтел, как топаз, памятники ярко белели, окрестности украшались весенними цветами, тихо журчали воды и облака не закрывали неба, в котором исчезала утром луна, чтобы снова появиться вечером, — Рим сжался в судорогах нового восстания. И жители города опять увидели, как выходили из лагеря преторианцы, поднимались копья и дротики, резко блестя мечи, сверкали шлемы и латы, бежали, обезумев животные, убиваемые стрелами солдат, и голубоватую тишину разрезал топот конницы, отряды которой яростно неслись по содрогающейся земле, снова требуя смерти. Однако римляне, наученные горьким опытом двух восстаний, на сей раз и пальцем не шевельнули, и борьба шла лишь между двумя партиями, разделявшими армию, — между Элагабалом и Маммеей, стремившейся овладеть Империей для своего сына.

И это последнее и решающее восстание вытасило Мадеха из домика в Каринах, а вместе с Мадехом Амона и Геэля. Вольноотпущенник выздоровел благодаря уходу Атилли и египтянина. Дни быстро текли. Ганг и Ликсио были убиты близ дворца Старой Надежды, рану Геэля излечила Кордула, и он пришел к Мадеху вместе с Амоном, как этого желала Атилия. Геэль все время нежно ухаживал за Мадехом, успокаивал его чудесными рассказами, воспоминаниями о сирийском крае, где мирно протекло их детство, как мирно текут воды реки между берегами, окаймленными зеленью, пронизанной солнечным светом. Когда Мадех окреп, они стали развлекать его, как балованного ребенка, тихими беседами, к которым присоединялись нежные голоса Кордулы и

Атиллии: блудница не внушала отвращения девушке и не стыдилась ее. Геэль и Амон сдержанно смеялись, предполагая возвратиться в Эмесс, чтобы спокойно жить там: Атиллия была бы там окружена заботами Кордулы и Хабаррахи; Амон и Геэль по-прежнему ухаживали бы за Мадехом, которому они обещали жизнь, полную сладостного покоя. Выздоровливающий юноша слабо улыбался, постепенно возвращаясь в реальный мир, чувствуя к Атиллии особую любовь, очень целомудренную, забывая, кем он был для примицерия и кем была Атиллия для незнакомцев в лупанарах. И тогда будущее рисовалось ему в восхиительно розовых тонах и мир не казался уже таким мрачным, а род человеческий таким развращенным; наступило равнодушие к судьбам Империи, и возможность ее крушения уже не пугала, страх за нее исчез, поглощенный тесной дружбой, все возраставшей и отрывавшей теперь бесконечные дали. Иногда они говорили о Зале и Севере, тогда слезы слышались в их голосах, а имя Крейстоса, упоминаясь, как бы сразу утопало в солнечных лучах, наводнявших жилище Мадеха, прежнее жилище примицерия, где, по желанию Атиллии, теперь жил Мадех. Тогда Амон, Атиллия, Кордула и даже Хабарраха говорили о том, чтобы принять Воды Крещения. Геэль улыбался, а Мадех, как в тумане, вспоминал то собрание в Транстиберине, где он не принял чувственного экстаза последователей восточного культа, а также собрание в старом латинском храме на Ардеатинской дороге, где он отдал себя им. И все, посещавшие их, говорили о Крейстосе, даже Скебахус. Он также хотел уехать, но не в Сирию, а в Килинию, где будет по-прежнему продавать соленую свинину и расска-

зывать необычайные истории, которые, вследствие его долгого пребывания в Риме, станут еще более удивительными.

XIX



безумевший от горя Мадех нес к Тибру Атиллию. Ее ранили преторианцы в тот момент, когда она спешила на выручку Сэмиас. Но Сэмиас, как и Элагабала, убили. Преторианцы покрыли нечистотами его голову, красивую голову Императора в тиаре с драгоценными

камнями, потом убили и Гиероклеса, выкололи глаза Аристомаху и Антиохану, посадили на кол Зотика и Муриссима, отрубили голову Гордию и Протогену, усеяли вновь сады трупами, наполнили озера половыми органами, отрезанными у Юношей Наслаждения, разрушили дворец, не пощадив ни канделябров, поддерживаемых атлантами, ни ваз, ни статуй, ни триклиниев и тронов из золота, слоновой кости и бронзы, ни кафедр, ни сигм, ни столов из драгоценного дерева, — ничего, что составляло славу дворца. Потом извлекли Черный Камень из храма Солнца, покрыли его нечистотами и разбили на куски, разбросанные народом, дабы никогда уже не восстал этот символ жизни, так грубо воздвигнутый Элагабалом над Римом, точно мрачный обелиск в виде гигантского фаллоса.

Как только началось восстание, Хабарраха поз-

вала Геэля и Амона, чтобы вырвать Атиллию из рук восставших преторианцев, и Мадех, еще не вполне здоровый, последовал за ними. Они проникли за ограду Старой Надежды, где скоро потеряли друг друга. Мадеху едва удалось проскользнуть в угол залы, полной крови, где лежала изнасилованная Атиллия, обнаженная, с отрезанными сосками, распухшим горлом и лицом, обезображенным ударами железных подошв. Он поднял ее и едва успел уклониться от стрелы, пущенной откуда-то из глубины коридора и поразившей Хабарраку, которая упала замертво, даже не вскрикнув, в лужу крови, разбрызгивая брызги.

Фиолетовые сумерки охватывали полнеба, отражение которого зеленело, как тело разлагающегося трупа. Мадех тяжело ступал, держа Атиллию, ноги которой волочились по земле; он направлялся по пустынному склону Палатина к Тибру, желая вернуться в мирную мастерскую в Транстиберине, чтобы завтра вместе с Амоном, Геэлем и Атиллией, за которой он будет ухаживать, как она ухаживала за ним, отплыть по Тибру в Остию, а оттуда в Эмесс. Он ощущал тепло ее тела, и это вводило его в некоторое заблуждение относительно действительной опасности ее ран, — но приобретя надежду, он не хотел ее терять, живя любовью к ней, распутившейся подобно розовому цветку в долгих страданиях и ласковых днях, проведенных в Каринах.

На улицах продолжалась резня, люди разбегались в разные стороны, всадники размахивали копьями и мечами, тяжело уходил вверх густой дым пожарищ. Он растягивался, словно завеса, над семью холмами, над Тибром и над горизонтом, постепенно поглощая

в небе странные полосы сумерек цвета вина, окутывая вершины холмов, остря обелисков и колонны, террасы домов, края арок, купола, кровли, цирки, амфитеатры, мавзолеи, золотые украшения которых вспыхивали на миг и исчезали, поглощаемые страшной пастью ночи.

Вопли неслись с Капитолия, соединяясь с другими криками, раздававшимися в Большом Цирке, на Палатине и в Старой Надежде. Высокие тени всадников в чешуйчатом вооружении и тени катафрактариев бесшумно скользили по городу. Близ Капитолия, в желтом свете луны, прорезающем мрак, блестело белое вооружение, мечи и пики; происходило провозглашение Императора Александра, стоявшего на щитах, в шлеме и пурпурной мантии, вздуваемой ветром, как окровавленный парус. Из Большого Цирка бежала толпа, волоча что-то, стучавшее по мостовой. Потом все прекратилось и умолкли последние крики.

Аргираспиды провозгласили Императором сына Маммеи после страшного избиения хризаспидов, этих великолепных преторианцев в золотых шлемах, с золотыми щитами и золотыми копьями, которые остались верными до конца Элагабалу, возвысившему их. В продолжение часа серебряное оружие одних воинов ударялось о золотое вооружение других, которым они всегда завидовали; хризаспиды остались в полном одиночестве, ибо вся армия была настроена против любимцев Императора. Но лишь пройдя по их трупам, аргираспиды сумели добраться до Элагабала, Гиероклеса, Зотика, Муриссима, Протогена, Гордия, Аристомеха, Антиохана, Сэмиас и всех сторонников Черного Камня. Их убивали ударами палиц,

стрелами, копьями, дротиками и мечами, кинжалами, всяким оружием!

— Я не дойду никогда, никогда! Ах, Геэль! Амон!.. Атиллия, Атиллия! Это я несу тебя, спасаю тебя, я, Мадех! Открой глаза, посмотри на меня! О, боги! О, Солнце! О, Крейстос!.. Атиллия, Атиллия!

И Мадех взывал в отчаянии, не имея больше сил нести Атиллию, которая, открыв глаза, слабо вскрикнула. Перед ними расстилался Тибр, и воды его казались более желтыми, чем луна; река стонала у берега, перекатывала камни. Берега уходили вдаль, усеянные блестящей движущейся галькой, и тени домов на берегах дрожали в мутно-золотом свете луны. В нескольких шагах от них виднелись широкие массивные арки Сублицийского моста. Дальше Мадех узнал большую клоаку, гнусный вид которой поразил его однажды ужасом, — она и теперь со страшным шумом низвергала отбросы.

Совсем разбитый, он сел на берегу. Теперь Атиллия умирала, потому что, закрыв глаза, она сжимала его руки в своих в судорогах агонии. Но вот она вздохнула, слабо вытянулась, и на Мадеха упали ее волосы, оскверненные зверством солдат.

Человеческие фигуры толпились на мосту, занятом всадниками, быстро посторонившимися перед двумя женщинами. Мадех не смел шевельнуться, боясь, что увидят Атиллию и вторично подвергнут ее истязаниям. В желтом свете луны он узнал Мезу и Маммею. Праматерь преклонила колени и отдала Императору прощальный поцелуй. Труп Элагабала несколько часов таскали колесницы по Большому Цирку, потом он был брошен в отверстие клоаки, но оно оказалось узким, и пришлось солдатам снова

втаскивать его на мост. Теперь Меца старческой походкой, с выражением ужаса на лице перед содеянным Маммеей, удалилась прочь.

— Мадех! Мадех!

Это были Амон и Скебахус. Амон — в разорванной одежде, с обнаженной головой, с окровавленным лицом — после того как Геэль был убит возле него и ему самому угрожали солдаты, возвратился в Транстиберин, вместе со Скебахусом, который отважился пойти к Старой Надежде, чтобы все разузнать про своих друзей. Жалея Амона, продавец соленой свинины предложил ему свой дом.

— Геэль, Мадех и Атиллия умерли, тебе нечего делать в Риме. Пока, до возвращения в Александрию, оставайся у меня. Тебя не тронут, потому что ты был ничто. Другое дело Атиллия, сестра примицерия, или Мадех, жрец Солнца, другое дело Геэль, посещавший собрания восточных христиан. Пойдем! Я буду предлагать свою соленую свинину Кордуле в обмен на ее тело. Кордула любила Геэля; она полюбит и меня и, быть может, я не буду платить ей за наслаждение и она предложит мне его даром. Я буду продавать соленую свинину и разбогатею от этой продажи так, что мне можно будет спокойно жить в Килинии.

Они спустились к берегу, ожидая, когда освободится мост, чтобы пройти в Транстиберин. Амон увидел рыдающего Мадеха:

— Пойдем, ты молод; ты не можешь долго скорбеть. Если солдаты с моста увидят тебя рядом с этим трупом, то убьют тебя и нас вместе с тобой!

Он взял его за руку, не узнав страшно обезображенного лица Атиллии. Мадех сопротивлялся:

— А Геэль?

— Умер!

Амон сказал это растерянно, опустив руки. Мадех простонал:

— Геэль, Атиллия, Атиллий, Заль, Севера, все, все!

Он не двигался. Амон спросил:

— А Атиллия?

— Вот она! — И, рыдая, Мадех указал на Атиллию, лежавшую на его коленях с открытым ртом, открытыми глазами, опухшей грудью, в синяках и ранах, из которых еще сочилась кровь: — Они изнасиловали ее, изувечили, убили! — Он приподнял ее голову и поцеловал в лоб, блестящий, как слоновая кость, под окровавленными волосами; он не хотел уходить с Амоном и Скебахусом, оставив здесь ее тело.

Тем временем всадники подняли Элагабала и бросили его в реку с моста, привязав к ногам бронзовую гирию. Труп погрузился в воду, отбросив золотистые брызги; его белый изуродованный торс, его белые бедра, его голова в ореоле волос, с которых еще не сошла пурпурная краска, показались на миг и погрузились в немую бездну. Потом всадники двинулись: голова первого коня уже скрылась в темноте. Но вдруг Маммеа громко спросила у человека, закутанного в тогу:

— Ты знаешь этих людей, Атта? Чей труп они там стерегут?

Луна осветила Мадеха, которого Атта прежде видел с Геэлем, когда в ненависти к восточным христианам он выслеживал их. Поэтому он не колеблясь ответил:

— Это Мадех, вольноотпущенник Атиллия, Вели-

чество! Еще один последователь извращенного учения о Крейстосе, хотя это и жрец Солнца!

Тогда всадник, арабский стрелок, отодвинув назад локоть и выпрямься, натянул лук, и стрела просвистела. Она вонзилась в грудь Мадеха, который упал на труп Атиллии.

— МерТВ! — воскликнул Амон, узнав голос бывшего паразита Атты.

Но на мосту уже никого не было: лишь резкий топот коней и звук шагов уходящих людей отлетали к Риму, облитому мутно-золотым светом луны.

— Бросим его в Тибр, — сказал философски Скебахус, после того как Амон безуспешно пытался возвратить к жизни Мадеха. — И Атиллию вместе с ним. Он был жрецом Солнца и его особа всегда священна. Не надо, чтобы его труп осквернили злые люди, солдаты, которые убивают всех ради Александра и ради этой женщины, Маммеи, или собаки, которые его, наверно, сожрут. Ты видишь, он умер, и его не вернуть! Тибр унесет его к Остии и, кто знает, быть может, волна выбросит его на сирийский берег вместе с Атиллией. Если бы Геэль был жив, он бы поддержал меня!

И охваченные суеверным уважением к священному званию вольноотпущенника даже после его смерти, они, люди Востока, взяли Мадеха, спустились к Тибру и бросили его в воду, а за ним и Атиллию. Два тела поплыли по поверхности, наталкиваясь на нечистоты большой клоаки, затем они достигли середины реки и исчезли в водовороте, ярко освещенном луной.

Амон рыдал, а Скебахус сказал ему в утешение, уводя его к Сублицийскому мосту:

— Зачем огорчаться? Жизнь не стоит слез. Посмотри на меня: я существую, не существуя, то есть я не существую. Прежняя Империя не знала меня; новая Империя не будет знать меня. Я ни за Маммею, ни за Элагабала, ни за восточную веру в Крейстоса, ни за западную. Я продавец соленой свинины, я продаю и хочу когда-нибудь уйти из Рима, где человека убивают, когда он существует, то есть когда его все знают. Поступай, как я! Ты продавал раньше чечевицу, и снова продавай ее! Если находят, что моя соленая свинина прекрасна, я доволен. И мне остается только предлагать ее Кордуле в обмен на ее тело, и она будет любить меня теперь, когда Геэль умер. Пусть она продолжит меня любить даром, и я возьму ее к себе и она будет жить со мной, и мы уйдем в Килинию, когда я продам достаточное количество соленой свинины. Ее тело прекрасно, но моя свинина тоже хороша, к чему же пренебрегать ею! Я человек благоразумный, осторожный и честный; живи, как и я, и тебе не будут страшны ни Маммеа, ни этот Атта, который выдал ей бедного Мадеха, — ничто!



ГЛОССАРИЙ

Актуария — легкое судно.

Астарта — в западно-семитской мифологии олицетворение планеты Венеры, богиня любви и плодородия, богиня-воительница.

Апис — в египетской мифологии бог плодородия в образе быка.

Ахура Мазда (Ахумазда) — в иранской мифологии верховное божество, олицетворяющее мудрость (буквально — «господин мудрый»).

Атрий — передняя гостиная, зал.

Авентин — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим.

Архитрав — балка, лежащая на капителях колонн.

Аурига — возница.

Асс — древне-римская медная монета.

Амфора — древний сосуд с двумя ручками и узким горлом (как мера = 39,4 л).

Аппиева дорога — первая мощеная дорога, проложенная в 312 г. до н. э. между Римом и Капуей.

Апологетика — труды раннехристианских отцов церкви.

Аренарий — площадка.

Апекс — конический головной убор.

Англы — германское племя, жители п-ова Ютландия.

Брундизий — торговый город на Адриатике, главный отправной пункт при путешествиях в Грецию и дальше на восток.

Бельведер — павильон, беседка на возвышенном месте или круглая надстройка над зданием.

Баллиста — метательная машина.

Веста — в римской мифологии богиня священного очага городской общины, курии, дома.

Вепе (лат.) — «хорошо».

Вербена — род декоративных трав и полукустарников семейства вербеновых.

Вифиния — историческая область на Северо-Западе Малой Азии (на территории современной Турции) с 74 г. до н. э. в составе Рима, Византии. В 14 в. н. э. завоевана турками.

Вакханки (мифол.) — спутницы бога Вакха (одно из имен бога виноградарства Диониса). Со 2 века до н. э. в Древнем Риме празднества в честь Диониса (Вакха) — вакханалии — приобрели характер оргий.

Викус Тускус — т. е. Этркская улица — пользовалась дурной славой; здесь около маленьких лавчонок всегда толпился всякий сброд и подонки общества.

Виминал — один из семи холмов, на котором возник Древний Рим; в позднейшую эпоху был населен довольно бедными людьми.

Belle (лат.) — «прекрасно».

Гор — в египетской мифологии божество, вопло-

щенное в соколе. Изображался в виде человека с головой сокола. Связан с небом и солнцем; покровительствует царской власти и борется с врагами.

Гинекей — женская половина в задней половине дома.

Гельветы — кельский народ, живущий на территории современной Швейцарии.

Гемма — драгоценный камень с врезанными или выпуклыми изображениями.

Диоклетиан — римский император (343 — между 313 и 316), правил с 284 по 305 гг. Провел реформы, стабилизирующие положение империи, усилил армию.

Диплойс — одежда в виде плаща.

Диатрета — чаша филигранной работы.

Даки — фракийские племена, населявшие территорию от Дуная до Карпат.

Euge (лат.) — «великолепно».

Ересь — вероучение, отклоняющееся от официальной церковной доктрины.

Зевс — в греческой мифологии верховное божество, отец богов и людей, глава олимпийской семьи богов.

Исида (Изида) — в египетской мифологии богиня плодородия, воды, ветра, символ женственности, семейной верности; богиня мореплавания. Мать бога Гора.

Италики — общее название всех племен Апеннинского полуострова, покоренных римлянами в 5-3 вв. до н. э.

Иберы — восточно-грузинские племена.

Капитан-магистр — капитан корабля.

Катафрактарии — первоначально этот вид тяже-

лой конницы был в армии персов; металлические доспехи покрывали все тело.

Кифара (гитара) — щипковый инструмент древних греков, родственник лире.

Курия — здание, где заседал сенат.

Кубикула — комната, покой.

Каракалла (Каракалл) (186-217) — римский император с 211 г.

Капитель — головка, венчающая часть колонны, столба или пилястры.

Квиринал — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим.

Кельты (галлы) — древние индоевропейские племена, обитавшие на территории современной Франции, Бельгии, Швейцарии.

Квинкункс — 5/12 асса (монета) или 136,44 грамма (вес).

Легион — римское воинское соединение, насчитывающее при Ромуле 3 тысячи человек и триста всадников; впоследствии легион стал чисто пехотным соединением, делящимся на 10 когорт или 30 манипул или 60 центурий.

Либурны — либурнийские корабли (от названия пиратского племени либурнов в Иллирии), отличались легкостью и быстроходностью; их заимствовал Август и использовал для военных целей.

Лупанар — публичный дом.

Лигуры — древние племена, населявшие северо-западную Италию и юго-восточную Галлию.

Манипула — подразделение римского легиона из 120 человек.

Митра (Мифра) — древнеиранский мифологический персонаж, выступающий как бог Солнца, а также

обозначающий такие понятия, как «договор», «соглашение», «мир»; часто изображался с головой льва.

Матрона — почтенная замужняя женщина.

Миллиарий — мильный столб, которым отмечалась каждая римская миля (равная 1,48 км).

Марк Аврелий (121-180) — римский император с 161 г. из династии Антонинов; опирался на сенаторское сословие, представитель позднего стоицизма (философское сочинение «Наедине с собой»).

Мандрагора — род многолетних трав семейства пасленовых; корни иногда напоминают человеческую фигуру, в связи с чем в древности ей приписывали магическую силу.

Нум (Нун) — в египетской мифологии олицетворение первозданного водного хаоса.

Нумидиец — житель Нумидии, области в Северной Африке (современная восточная часть Алжира).

Нимфа — женское божество природы, живущее в горах, лесах, морях, источниках.

Номенклатор — раб, на обязанности которого лежало знать и называть своему господину имена граждан города и всех рабов в доме, а также провозглашать названия подаваемых кушаний.

Осирис (Озирис) — в египетской мифологии бог производительных сил природы, царь загробного мира; в греко-римскую эпоху культ Осириса широко распространился в Западной Азии и в Европе, включая Северное Причерноморье.

Оникс — минерал, разновидность агата.

Паразит — сотрапезник-прихлебатель.

Псалтериум — многострунный щипковый инструмент типа гуслей.

Палладий — культовое изображение Афины Пал-

лады со щитом и поднятым копьём, гарантировавшее безопасность городу, в котором оно находилось. Это изображение должно быть небесного происхождения. Гелиогабал распорядился перенести Палладий в храм бога Гелиогабала.

Приап — в античной мифологии божество производительных сил природы (изначально собственно Фаллос). В римскую эпоху культ Приапа достигает наивысшего расцвета, он был включен в круг римских божеств плодородия.

Пилястр(а) — плоский вертикальный декоративный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены.

Патриций — пожизненное почетное звание.

Преторианцы — охрана полководцев, императорская гвардия, состоящая из наемников.

Пантеизм — религиозное учение, отождествляющее бога и мировое целое, «бог во всем».

Политеизм — многобожие.

Палатин — один из центральных холмов Рима, аристократический квартал, впоследствии застроенный императорским дворцом.

Примицерий — один из высших сановников.

Префект — в позднейшую эпоху командующий легионом.

Паллиум — греческое одеяние, в которое завертывались, как в мантию, на груди застегивали булавкой.

Палестра — места, где обучали искусству борьбы.

Портик — галерея на колоннах перед входом.

Порок Онана — онанизм (по имени библейского персонажа Онана).

Pulchre (лат.) — «красиво».

Ра — в египетской мифологии бог Солнца (дневного) в отличие от Атума — вечернего и Хепри — утреннего.

Строфиум — женский пояс, который носили на рубашке для поддержания груди.

Серapis (Сарапис) — один из богов эллинистического мира; его культ был распространен в Египте. Серapis — бог плодородия, повелитель стихий и явлений природы, а также бог мертвых.

Соль — в скандинавской мифологии олицетворяет Солнце. Боги за гордыню отправили Соль на небо, где она правит двумя конями, впряженными в ее колесницу, и освещает землю. Перед концом света гигантский волк проглотит Соль.

Сигилларии — «праздник фигурок»; в последние дни Сатурналий римляне обменивались различными подарками, первоначально — глиняными фигурками.

Сполиарий — помещение в амфитеатре, где добивали тяжелораненых и раздевали убитых гладиаторов.

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский политический деятель, философ и писатель, представитель стоицизма.

Септимий Север (146-211) — римский император с 193 г.

Структор — раб, накрывающий на стол.

Саламандры — семейство хвостатых земноводных.

Скифы — древние племена Северного Причерноморья.

Сабинянка — родом из италийских племен сабинов, коренных обитателей Рима.

Сафический стих — строфа, часто использовавшаяся дневнегреческой поэтессой Сафо (7-6 вв. до н. э.) и названная в ее честь.

Туника — белая длинная рубашка с короткими рукавами.

Трирема — боевое гребное судно с тремя рядами весел, расположенными один над другим в шахматном порядке.

Тифон — в греческой мифологии чудовищный сын земли Геи и Тартара; многоголовый, с огромными змеями вместо ног.

Термы — бани.

Тарквиний (Гордый) (534/533 — 510/509 гг. до н. э.) — согласно римскому преданию последний царь Древнего Рима.

Таблинум — комната в глубине атрия (центрального зала), служившая кабинетом хозяину дома.

Тиара — так называли головные уборы восточных народов.

Тимпан (литавры) — ударный музыкальный инструмент.

Тога — римская гражданская одежда, обычно белая.

Тога-претекст — тога с пурпурной каймой, ее носили высшие сановники и дети полноправных римлян.

Триклиний — зал, палата.

Турма — конный отряд из 30-32 человек (толпа, группа).

Фригадарий — часть бань, где принимали холодные ванны.

Фиал — кубок, чаша.

Фибула — застежка, пряжка.

Фаллос — мужской половой орган (см. Приап).

Фециал — жрец, наблюдавший за точностью выполнения обрядов и заключением договоров.

Хель — в скандинавской мифологии хозяйка царства мертвых.

Халдеи — общераспространенное в античности прозвище астрологов и колдунов.

Хаос — в греческой мифологии беспредельная первобытная масса, из которой образовалось впоследствии все существующее.

Химера — мифологическое чудовище с головой и телом льва, туловищем козы и хвостом дракона.

Центурион — командир подразделения (центурии) в легионе.

Цикута — род многолетних водных и болотных трав семейства зонтиковых, ядовита, наиболее часто употребляемый яд в это время.

Целий — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим.

Черный Камень (Черный Конус) — см. Эмес.

Элагабал (Гелиогабал (204-222) — римский император с 218 г. Первоначальное имя Гелиогабала было Варий Авит. Официально он именовался как Цезарь Марк Аврелий Антонин, сын божественного Антонина (Каракалла), внук божественного Севера. Как наследственный жрец бога-покровителя Эдессы Элагабала, он назывался также Элагабалом, т. е. «бог-Солнце».

Эмес — бог-покровитель Эмесы почитался в виде упавшего с неба черного конусообразного камня.

Эфеб — юноша, достигший возмужалости (после 16 лет, а в Афинах — после 18), с этого возраста они

вносились в списки полноправных и совершеннолетних граждан.

Эсквилин — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим.

Энеатор (энатор) — музыкант, играющий на медных инструментах.

Янитор — привратник, сторож.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Книга первая	10
Книга вторая	174
Книга третья	318
Глоссарий	453

А 10 Византия. Пер. с французского —
М.: «БУК», «ИЗДАТЕЛЬ», 1994. —
464 с. (Исторический роман)

ISBN 5-87988-006-0

Роман «Агония» — один из незаслуженно забытых гениальных шедевров мировой литературы, который мы с огромным удовольствием возвращаем читателю.

Подписано в печать 11.01.94. Формат 84x108/32. Тип № 2.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Физ.п.л. 15.
Усл.п.л. 25,2. Тираж 100 тыс. экз. Заказ 2862. Переплет 7Б.
Цена договорная

«БУК», «ИЗДАТЕЛЬ».
141008, Мытищи Московская область, ул. Мира, 2а.

Отпечатано в АП «Курск»
305007 г. Курск, ул. Энгельса, 109.

